

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Юбилей удался как нельзя лучше. Сначала юбиляр был сконфужен и даже прослезился, но наконец (нужно думать, что он уже окончательно был под влиянием торжества) до того освоился с своим положением, что обратился к чествующим и во всеуслышание произнес: «Господа! благодарю вас! но думаю, что если бы вы потрудились взглянуть в ревизские сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые, если не больше, то, по крайней мере, столько же, как и я, заслужили право быть чествуемыми. И, следовательно, все это юбилей...»

И так далее. Затем юбиляр зарыдал, и многим послышалось, что он сквозь всхлипывание произнес слово: «наплевать!» После чего мы разошлись по домам.

Впрочем, за исключением этой маленькой неловкости, все шло как по маслу.

Юбилей, о котором идет речь, был устроен нами в честь нашего департаментского помощника экзекутора (кажется, что он в то же время пользовался титулом главноуправляющего клозетами). Нынче вообще в ходу юбилей. Сначала праздновали юбилей генералов, отличавшихся в победах неодолением, потом стали праздновать юбилей действительных статских советников, выказавших неустрашимость в перемещениях и увольнениях, а наконец, дошла до нас весть, что департамент «Всеобщих Умопомрачений» с успехом отпраздновал юбилей своего архивариуса. Вот тогда-то мы, чиновники департамента «Препон», и решили: немедленно привлечь к ответственности по юбилейной части почтеннейшего нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьянов, по правде сказать, совсем даже позабыл, что 15 июля 1875 года минет пятьдесят лет с тех пор, как он облачен в вицмундир министерства «Препон и Неудовлетворений», и тридцать с той минуты, как он доверием начальства был призван на пост помощника экзекутора, к обязанности которого главнейшим образом относился надзор за исправным содержанием департаментских клозетов. Для него было, в сущности, все равно, что пять, что пятьдесят лет, ибо клозеты, или заменяющие их установления, одинаково существовали как в первое пятилетие его государственной деятельности, так и в последнее. Он даже не помнил, точно ли он когда-нибудь в первый раз надел на себя вицмундир и не был ли он облачен в него в тот достопамятный день, когда сенатский регистратор Морковников и жена корабельного секретаря Огурцова воспринимали его от купели. Севастьянов был старик угрюмый и застенчивый, на лице которого было, так сказать, неизгладимыми чертами изображено, что он вырос в уединении клозета. В справедливости этой мысли в особенности удостоверено то, что он весь, то есть все незакрытые части его тела, поросли волосами, так что издали он казался как бы подернутым плесенью сырого места. Волоса выступали у него на выпуклостях щек, на пальцах, закрывали почти весь лоб, вылезали из носа и из ушей, а борода его, даже в те дни, когда он ее брил, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельного цвета, глаза большие, слезящиеся, как у человека, давно отвыкшего от дневного света. Так что когда ему сказали, что в честь его готовится юбилей, то он смутился и покраснел. Да говоря по совести, и было от чего покраснеть, ибо тридцатилетие его состояния в должности помощника экзекутора как раз совпадало с тридцатилетием же реформы клозетов в департаменте «Препон» (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласием предполагаемого юбиляра, мы отправили депутацию к директору департамента, который не только одобрил наше намерение, но даже обещал, к середине обеда, прислать поздравительную телеграмму. С своей стороны, вице-директор заявил, что лично примет участие в юбилейном торжестве и пригласит к тому же всех начальников отделений. Тогда, на живую руку, был составлен краткий церемониал следующего содержания:

1. 15-го сего июля имеет исполниться пятьдесят лет со времени состояния помощника экзекутора департамента «Препон», Максима Петровича Севастьянова, на службе в офицерских чинах. В ознаменование сего события устраивается обеденное торжество в одной из зал Палкинского трактира (на углу Владимирской и Невского проспекта).

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

2. Чины департамента «Препон», с вице-директором во главе, в 5 часов пополудни, соберутся в общем зале Палкинского трактира и будут там ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляр прибудет, то вице-директор, подав ему руку, поведет в предназначенный для торжества зал, где участников будет ожидать роскошно сервированный стол.

4. По вступлении в зал, приступлено будет к закуске, а по удовлетворении первых позывов аппетита, вице-директор предложит юбиляру за обеденным столом президентское место, сам же сядет по правую его руку.

5. По левую руку юбиляра займут место старший из начальников отделений, а напротив экзекутор, как непосредственный юбиляра начальник, лицо которого, тоже не чуждое клозетов, должно непрестанно напоминать виновнику торжества об истинном характере его заслуг на пользу отечества. Прочие члены займут за столом места по пристойности.

6. Во время обеденного торжества имеют быть предлагаемы тосты, произносимы речи и прочитываемы поздравительные телеграммы, причем, однако ж, из пушек палимо не будет.

7. По окончании обеда, участвующие в торжестве перейдут в соседний зал, где им будут предложены кофе, чай и ликеры. С этой минуты торжество принимает характер семейный, и правила какого бы то ни было церемониала перестают быть обязательными.

Сверх того, были приняты меры, чтоб из провинций, от подчиненных мест и лиц, присланы были ко дню юбилея поздравительные телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляр восседал на президентском месте, вице-директор по правую руку его и т. д. После ботвиньи прочтен был адрес от имени департаментских чиновников, в котором, однако ж, о клозетах не упоминалось, а говорилось о деятельном участии юбиляра в великой реформе замены курьерских тележек пролетками. По выслушании этого адреса, вице-директор встал с своего места и торжественно провозгласил, что, вместо громких слов, он публично целует любезного виновника торжества, желая тем заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушным к его служебным подвигам. Затем, по мере разнесения блюд, прочитываемы были поздравительные телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: «Поздравляю любезного старичка и надеюсь, что усердным исполнением обязанностей он и впредь не вынудит меня к принятию против него мер строгости. Директор Дуботолк-Увольняев». Телеграмма из Конотопа выражалась: «Поднимаю бокал за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вот уж два дня, как наш прекрасный Конотоп горит. Начальник конотопских «Препон» Свирепов».

Телеграмма из Лаишева: «С бокалом в руке шлю привет почтеннейшему Максиму Петровичу. Вчера сгорела половина Лаишева. Исправляющий должность начальника лаишевских «Препон», помощник его Гвоздилло». Телеграмма из Обояни: «Один на один с бокалом вина возглашаю ура и многая лета высокочтимому юбиляру. Сегодня с утра здесь свирепствует пожар; до сих пор сгорело около ста домов. Известный вам Скулобоев». А под самый конец обеда пришла телеграмма из Феодосии, которая удивила всех своею загадочностью и именем подписавшегося под нею. Содержание ее было следующее: «При отличнейшей погоде (сiju в одной рубашке), в виду плещущего моря, с бокалом в руках, восклицаю: да здравствует! и никогда да не погибнет! Здравствуйте, почтеннейший Максим Петрович! никогда не забуду вашего содействия по доставлению мне драгоценнейших матерьялов к истории русских клозетов, первый корректурный лист которой уже лежит передо мною. Пишу вашу биографию и помещу ее в приготавливаемом мною сборнике "биографий отличнейших русских людей. Два выпуска готовы. Подписал: Вёдров, старый воробей, один из тех (спасшийся чудом), к хвостам коих великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11 июля поют) привязала зажженный трут и таким образом сожгла древний Коростень. За телеграмму уплочено из моей собственности восемь рублей, кои благоволите в непродолжительном времени возратить».

– Так вот вы с какими знаменитостями знакомство ведете? – пошутил вице-директор, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

– А много-таки этому господину Вёдрову лет! – заметил старейший из начальников

Начали считать, сколько прошло лет со времени сожжения Коростеня, но как учебника русской истории г. Погодина под руками не было, то ничего определительного сказать не могли.

– Стар-стар, а как был воробей, так воробьем и остался! – со вздохом сказал экзекутор.

Замечание это вызвало сначала общий смех, а потом и серьезные размышления о том, чем достославнее быть: старым ли воробьем или молодым, да орлом. И так как, во время этого орнитологического разговора, вице-директор постоянно делал иносказательные движения руками (как бы расправляя молодые крылья), то было решено, что удел молодого орла достославнее, нежели удел старого воробья, хотя бы последний был и из тех, которых на мякине не обманешь.

– Сколько я на свете ни живу – ни одного путного воробья на своем веку не видел! – сказал экзекутор, – сюда порхнет – клюнет, туда порхнет – клюнет... клюнет и чирикнет, словно и невесть какое добро нашел! А чтобы основательное что-нибудь затеять – никогда! Я даже так думаю, что он и сам не понимает, что клюет и об чем чирикает?

Такой суд над воробьями все нашли справедливым, и, дабы подтвердить это заключение самым делом, сейчас же провозгласили здоровье вице-директора, который, в ответ, окончательно расправил крылья и обнял юбиляра.

Наконец обед кончился, и участники торжества перешли, согласно церемониалу, в другой зал, где их ожидали чай, кофе и ликеры. Тут, чувствуя себя уже достаточно выпившими, все единодушно приступили к юбиляру с просьбой, чтоб он порассказал кое-что из виденного и слышанного им в течение многолетней служебной карьеры. Некоторое время юбиляр находился в недоумении, как бы спрашивая себя: да что же бы я, однако, мог видеть и слышать? Но потом, сделавши над собой некоторое усилие, он отыскал в памяти несколько очень интересных воспоминаний, которыми и поделился с нами.

– Скажу вам, господа, – так начал он, – что все мои начальники были, так сказать, на одно лицо: все – генералы и все начальники. Одно только отличие вижу: прежнее начальство как будто проще было, а потом, чем дальше, тем все больше и больше ожесточалось.

– Надеюсь, однако ж, любезнейший, что замечание ваше не относится до нынешнего начальства? – перебил вице-директор, несколько обиженный этим вступлением.

– Про нынешнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще – это действительно, что в старину начальники были обходительнее.

– Очень любопытно. Например, генерал-майор Беспортошный-Волк? ха-ха! – иронически заметил вице-директор.

– Ваше превосходительство! по человечеству-с! – нимало не робея, возразил почтенный юбиляр, – конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадет на язык, то и выкинут, – да ведь тогда это в моде было. И на парадах, и на смотрах, везде эти слова допускались-с! Зато, когда, бывало, опять в свой вид войдут, то даже очень обходительны были. Скажу, например: любили они, этот самый генерал Беспортошный-Волк, спину себе чесать, а об стену неловко-с: неравно мундир замарают. Вот и кликнут, бывало: Севастьянов! встань, братец! Ну, встанешь это, они прислонятся к плечу, свое дело потихоньку об косяк справят... где, смею спросить, такого обхождения нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, так вот Анисим Иваныч (экзекутор) – живой человек, может сейчас засвидетельствовать.

– Это так точно, при мне, ваше превосходительство, сколько раз бывало! – поспешил подтвердить Анисим Иваныч.

– Так вот оно и помянешь добром старину! – продолжал юбиляр, делаясь более и более словоохотливым, – многие после того были, которые тоже на слова внимания не обращали, а таких, чтоб с подчиненным обхождение иметь, таких уже не было!

– Расскажу вам, например, такой случай про того же Беспортошного-Волка, – вновь начал он. – Купил он в ту пору себе арапа в услужение, а супруга ихняя, как на грех, возьми да и роди, через десять месяцев после того, сына – черного-пречерного! Туда-сюда, как да почему – к кому, как бы выдумали, он в этом важном фамильном случае за утешением обратился? – А вот к этому самому Севастьянову, который имеет честь вашему превосходительству докладывать! Да-с! призывает это меня: «Севастьянов, говорит, мне сына-арапчонка жена принесла! как ты думаешь, отчего?» Ну, я, знаете, обробел было, да уж, видно, сам бог мне внушение свыше послал. – Должно быть, говорю, их превосходительство какой-нибудь табачной вывески, во время беременности, испугались? А тогда, знаете, у всех табачных магазинов такие вывески были, на которых был нарисован арап с предлинным чубуком в руках. Ну-с, хорошо-с. Выслушали они меня и смотрят во все глаза, словно понять хотят. «Стой! – говорят, наконец, – как же это так? на вывесках арапы с чубуками представлены, а мой-то арапчонок без чубука?» Ну, как он это сказал, так я уж увидел, что дело в шляпе. – Ежели только за этим, ваше превосходительство, дело стало, говорю, так ведь чубук не дорогого стоит, сейчас же можно купить и младенцу в ручку вложить! – И что ж бы вы думали? Постоял он это, постоял, подумал, подумал: «ну, говорит, будь ты проклят, купи чубук!» Только всего и сказал, и хотя, быть может, и понял, что тут дело не одним табаком пахнет, однако тем только и удовольствовался, что арапа в дальнюю деревню сослал, а кучерам приказал, чтоб на будущее время барыню мимо табачных магазинов отнюдь не возили.

Рассказ этот возбудил бы общую веселость, если бы не вице-директор, который нашел, что он только компрометирует начальство и вовсе не относится к делу.

– Вы говорили о какой-то снисходительности, – сказал он, – но в чем тут снисходительность – решительно не понимаю!

– А как же, ваше превосходительство! В таком, можно сказать, фамильном деле – и какое доверие! А ведь нам как это доверие дорого, ваше превосходительство! ах, как дорого!

– Не понимаю... Ну, а других историй у вас нет?

– Расскажи-ка нам, как тебя барон Эспенштейн на коленях богу молиться заставлял!
– вступился Анисим Иваныч, иронически прищуривая в нашу сторону одним глазом.

– Заставлял – это точно, что заставлял. Доложу вашему превосходительству, что этот самый барон Эспенштейн, до поступления в наш департамент, губернатором состоял и был лютеранин. И случись ему однажды на усмирении в одном помещичьем имении быть, и узнай он от господина помещика, что главный науститель всей смуты есть местный священник. Хорошо. Не долго, знаете, думая, созвал он сельский сход, послал за священником, и как только тот явился: вlepить, говорит, ему двести! Не успели это оглянуться: ах-ах-ах, – ан рабу божьему что следует уж и отпустили! И точно, как только мужички увидели, что пастыря их в новый чин пожаловали, сейчас же и бунт прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиков – словом, все как следует. Едет наш барон обратно в губернию, едет и радуется, что ему удалось кончить дело миром. Да вдруг, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что ведь он, собственно говоря, духовное лицо телесному-то наказанию подверг! Вспомнил и обробел. как быть? как делу пособить? Думал-думал, да и выдумал. Приехал домой и притворился, что чуть жив. День лежит, а на другой, говорят, уж и при смерти. И было, сказывают, ему тут видение. Явился будто бы к нему муж светлый и сказал: Карл Иваныч! прими православную веру! Сейчас – к архиерею, а тот натурально рад: легко ли, какую красную рыбу в сети изловил! Однако рад, а процедуру свою все-таки исполнил: поехал к болящему и просил его не спешить, а обдумать дело хорошенько. Подумайте, говорит, ваше превосходительство! ведь с старой-то верою расставаться не то чтоб что! Это – не сапоги! – Так куда тебе! Вскочил наш больной с постели, как встрепанный, да сам же всех торопит! увидите, говорит, ваше преосвященство, что с меня эта ересь как с гуся вода соскочит! Ну, после этого, в одночасье и окрутили милостивого государя! Только покуда все это делалось, а поп между тем трюхи-трюхи, да тоже в губернию явился. Приехал и прямо к архиерею. Да не тут-то было. Не только архиерей никакой защиты ему не оказал, а на него же разгневался. «Тебя, говорит, провидение орудием такого дела избрало, а ты, говорит, еще жаловаться смеешь!»

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
На этом месте рассказчика прервал взрыв смеха, в котором удостоил принять участие и вице-директор.

– Ну-с, так вот этот самый барон Эспенштейн, вскоре после своего присоединения, и назначен был к нам директором. И поверите ли, ваше превосходительство, такой из него вышел ревнитель, что, пожалуй, почище другого православного. Самое первое распоряжение, которое он сделал, в том состояло, чтоб чиновники каждый день к ранней обедне ходили, а по субботам и ко всенощной. И ходили-с, потому что он все приходы, где кто жил, переписал и всем церковным причтам о распоряжении своем сообщил для наблюдения. Мало этого: созвал департаментских чиновников и объявил, что впредь за всякую вину у него такое наказание будет: виноват – становись на колени. И действительно, чуть что, бывало, – сейчас звонит: позвать такого-то! – и тут же, при себе в кабинете, и поставит поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потом обошлось. И ведь знаете, ваше превосходительство, поставит он на поклоны, а сам сидит и считает: раз – два, раз – два. Грешный человек, мне таки больше всех доставалось: я и в департаментском кабинете, и на квартире у него чуть не во всех комнатах стаивал. Бывало, чуть запахнет – сейчас: Севастьянов! чем пахнет? Ну, иной раз сробеешь, не так объяснишь – а! говорит, посмотрим, как ты своего бога любишь! И таким манером жили мы с ним пять лет, покуда до самого государя об его чуделесиях не дошло. Ну, натурально, в отставку подать велели. И что ж бы вы думали, ваше превосходительство! до того он этою верою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже – взял да через два года в раскол ушел! Потом попом раскольничьим, сказывают, сделался – так в скитах и умер!

– Отлично! бесподобно! ура юбиляру! ура! – воскликнул вице-директор, подавая знак к общему восторгу.

Веселой толпой подбежали мы к виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать в воздухе. По окончании этого чествования, он, натурально, сделался еще словоохотливее, и когда вице-директор сказал ему:

– А жаль, что вы не пишете своих мемуаров! очень-очень жаль! Я полагаю, что ни в одной стране... Да, именно, ни в одной стране ничего подобного этим мемуарам не могло бы появиться! – то он, уже никем не вызываемый, усладил нас еще новым рассказом из служебной практики.

– А вот я вам, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча доложу, – начал он. – При нем, знаете, эта реформа клозетная в первый раз была введена – ну, а он, признаться сказать, сначала не понял, думал, что в том и реформа состоит, чтобы как есть в одеже, так и... Вот только однажды слышим мы крик, гам преужаснейший: «Севастьянов! Севастьянова сюда! Мерзавец! говорит, всегда у тебя по службе неисправности!» Бегу, знаете, оправдываюсь, показываю – ну, понял! «Извини, братец», говорит.

– Хо-хо! – разразился вице-директор.

– Ха-ха! – грянули мы.

Что потом было, я решительно не помню. Кажется, что юбиляра раз пять качали на руках и что он после каждого чествования рассказывал новую историю. Вино лилось рекой, тосты следовали за тостами. И вдруг, в ту самую минуту, когда все чувствовали себя как нельзя лучше, юбиляр совершенно неожиданно начал говорить какие-то странные речи.

– Господа! – обратился он к нам, – очень я вам благодарен. Утешили вы старика. И обед, и все такое...

– Урррааа! – подхватили мы.

– Только вот что сдается мне: если бы вы заглянули в ревизские сказки любой деревни, то, наверное, сказали бы себе: сколько есть на свете почтенных людей, которые все юбилейные сроки пережили и которых никто никогда и не подумал чествовать! Никто, господа, никогда!

На этом месте юбиляр остановился и заплакал.

– И, стало быть, все ваши юбилеи, – продолжал он сквозь всхлипывания, – все ваши

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
юбилей – одна собачья комедия... Да, именно так! Все эти юбилеи... коли вы, например, не цените истинных заслуг... все эти, значит, юбилеи... не стоят выведенного яйца! И значит, надо плюнуть на них да растереть!..

И он плюнул направо и растер левой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краев наполненный винными парами, и тотчас же лег в постель. Вероятно, впрочем, заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатление, потому что она некоторое время мешала мне заснуть и потом дала содержание тем сновидениям, которые тревожили меня в последующую ночь.

В самом деле, думалось мне, сколько есть на свете людей, существующих как бы для того только, чтоб имена их числились в ревизских сказках? И сколько между ними есть лиц, вполне почтенных и добродетельных, которые и понятия не имеют о том, что за штука «юбилей»? Об них ни в газетах не пишут, ни в трубы не трубят; но этого мало: сами сограждане их, то есть односельчане, смотрят на них, как на людей обыкновенных, и ни во что не вменяют им их добродетелей, как будто добродетель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умирают эти люди в забвении, не слышав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынче все русские помещики, занимающиеся раскладыванием гранпасьянса, разумеют себя таковыми) жестоки и недальновидны. Они считают ни во что этот бесконечный муравейник, который кишит у их ног, за пределами культурного слоя, или, лучше сказать, считают его созданным для того, чтоб быть попираемым культурными ногами. И в то же время они едва ли даже понимают, что каждый из членов этого муравейника живет своею отдельною жизнью, имеет свои характеристические особенности, свои требования, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убедились бы, что их собственная культурная жизнь именно от того делается все более и более скудной, что для нее закрыт целый мир явлений, стоящих вне всякого культурного наблюдения. Сколько узнали бы мы благороднейших биографий! скольких отличнейших подвигов могли бы мы быть свидетелями! И как расширился бы наш умственный горизонт! И много ли нужно, чтоб достигнуть этого? – Нужно только почаще заглядывать в ревизские сказки и от времени до времени делать начальственные распоряжения о праздновании юбилеев. Тогда перед нами обнаружатся вещи неслыханные и невиданные, и мы воочию увидим героев, о которых не имели понятия... Повторяю, ткните пальцем в любое место ревизских сказок, и вы, наверное, попадете в человека, о котором гораздо больше можно порассказать, нежели даже об Севастьянове.

Я знаю, мне скажут, что народ не следует баловать – согласен! Но разве это баловство? – нет, это только справедливость! Секите – слова нет! Но будьте же и справедливы! Ибо, в противном случае, получится односторонность, которая может произвести сначала уныние, а потом, пожалуй, и ропот...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни? – Увы! всегда даже в тех странах, где действительно существует культура, и там несправедливость преследует внекультурного человека. Вам показывают разные запустелые шлоссы, в которых когда-то жил культурный человек и оставил следы своего культурного существования. В этих шлоссах дондесь благоговейно сохранены все подробности канувшей в вечность жизни, лучи которой некогда согревали вселенную. Вот комната, в которой такая-то маркграфиня занималась оргиями с своими любовниками, вот знаменитая тем-то постель, вот часовня, в которой та же маркграфиня, утомленная оргиями, искупала свои грехи, носила вериги (вот и самые вериги), бичевала себя, проводила ночи на голом полу (вот ее покаянная спальня), обедала с восковыми куклами, представляющими святых (и куклы эти уцелели); вот, наконец, подземелье, в которое сажали нагрубивших подданных, – прекрасно! Знание домашнего быта канувших в вечность маркграфинь, конечно, имеет свой исторический интерес; но спрашивается, почему же представители культуры так ревниво сохранили, во всей их неприкосновенности, старые дворцы и замки и не позаботились о сохранении хотя одного экземпляра мужицкого жилища, современного этим дворцам и замкам?

Но на этот вопрос я уже не дал ответа, ибо мгновенно заснул...

Мне снилось, что я присутствую на сходке в селе Бескормицыне и что мужики обсуждают, не следует ли отпраздновать юбилей старика Мосеича, которому 15 июля

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru имеет исполниться ровно пятьдесят лет с тех пор, как он несет рабочее тягло. Впрочем, собственно говоря, мысль об юбилее принадлежит не крестьянам, а местному сельскому учителю Крамольникову и местному же священнику (из молодых) Воссияющему, которым немалых-таки усилий стоило пустить ее в ход и настолько заинтересовать мужичков, чтоб по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольников, и Воссияющий были соединены узами умеренного либерализма и питали сладкую уверенность, что слова «потихоньку да полегоньку» должны быть написаны на знамени истинно разумного русского прогресса. Рядом каждодневных дружеских бесед, в которых принимала сочувственное участие и молодая попадьа, они пришли к убеждению, что почтенное крестьянское сословие до тех пор не займет принадлежащего ему по праву места в государственной организации, покуда в нем не развито чувство самоуважения. Отсутствие этого чувства влечет за собой целый ряд прискорбных административных явлений, каковы: рылобитие, скулобитие, зубосокрушение, неряшливое употребление непечатных слов и т. д. Отчего становой пристав никогда не позволит себе назвать благородного человека курицыным сыном? Оттого, что у благородного человека, так сказать, на лице написано, что он уважает себя! Тогда как у мужика, при современной его неразвитости, и спина, и лицо составляют как бы посторонние вещи, на которых всякий может собственноручно расписываться. И это многих приводит в соблазн и служит источником дурных административных привычек, которые, при частом повторении, могут дискредитировать самую власть.

Следовательно, прежде всего нужно воспитать в мужике чувство самоуважения, а потом уже постепенно переходить к развитию чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затем сам собой возникает вопрос: как возбудить это чувство самоуважения, от которого в столь значительной степени зависит будущее всего крестьянского сословия? Словесными ли внушениями и теоретическими беседами или какими-нибудь символическими действиями, которые, так сказать, практически давали бы почувствовать мужику, что за ним числятся известные заслуги перед государством?

Сообразив и взвесив доводы pro и contra, [1] Крамольников пришел к тому заключению, что следует отдать предпочтение последнему способу, как наиболее доступному для мужицкого понимания и притом безопасному.

– Понимаете? – объяснил он Воссияющему, – разговаривать много не следует: во-первых, об разговорах становой пронюхать может; а во-вторых, и мужик на слова не очень понятлив; а надо так устроить, чтоб мужик сам, из сцепления обстоятельств, уразумел, в чем суть. Понимаете?

– Очень даже понимаю, – отвечал Воссияющий.

И вот, на первый раз, Крамольников предложил устройство юбилейных торжеств в пользу таких крестьян, которые отличились долголетнею твердостью в бедствиях, а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить к ней еще: непоколебимость в уплате недоимок и неукоснительность в исполнении начальственных требований, хотя бы даже и лишенных законного основания.

– Чудесно! – воскликнул Воссияющий, – а ежели к сему присовокупить прилежание к церкви божией, то, кажется, уже ничего предосудительного не будет!

Именно таким субъектом, который в одном своем лице соединял и непоколебимость в уплате недоимок, и безответность, и набожность, представлялся старик Мосеич. Он никогда не выигрывал сражений, пятьдесят лет сряду неумоимо обрабатывал свой земельный участок, самоотверженно выплачивал подушные, был бит и не роптал, раза три в жизни сидел в тюрьме и никогда не поинтересовался даже узнать, за что он посажен, пять раз замерзал, тонул и однажды был даже совсем задавлен. И за всем тем – отдышался. Одним словом, это был такой человек, по случаю которого самая подозрительная административная фантазия не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этом выборе и заручившись сочувствием молоденькой попадьи, оба друга прониклись таким энтузиазмом, что начали целоваться и порешили приступить к делу, по возможности, внезапно, дабы становой пристав ни под каким видом не мог его расстроить.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– А впрочем, ежели придется и пострадать, – в восторге воскликнул Воссияющий, – то и пострадать за такое дело не стыдно! Так ли, попадья?

– Я, батя, за тобой – всюду! В Сибирь, так в Сибирь... что ж! – ответила попадья, зарумянившись под влиянием мысли, что и она нечто значит в механике, затеваемой двумя друзьями.

Один только человек приводил друзей в некоторое смущение: это – волостной писарь Дудочкин. Это был закоренелый консерватор, который, сверх того, подозревался в тайных сношениях с становым приставом, по делам внутренней политики. И действительно, сношения эти существовали, и он не только не скрывал их, но не однажды имел даже гражданское мужество прямо произнести слово: донесу! Но что было в нем всего опаснее – это то, что он все свои доносы обуславливал преданностью консервативным убеждениям (он кончил курс в уездном училище и потом служил писцом в уездном суде, где и понабрался кое-каких слов).

– Наш народ – неуч! всё одно: что стадо свиней, что народ наш! – беспрестанно повторял он, и притом с таким торжеством, как будто обстоятельство это и невесть какой бальзам проливало в его писарское сердце.

На сочувствие этого человека надеяться было невозможно, но необходимо было, по крайней мере, добиться, донесет он или не донесет. Но едва Крамольников изложил ему (и притом в самом невинном и даже административно-привлекательном виде) предмет своего предприятия, как Дудочкин тотчас же загалдил.

– Неуч наш народ! свинья наш народ! не чествовать, а пороть его следует!

– Но... не преувеличиваете ли вы, Асаф Иванович? – как-то неуверенно возразил Крамольников.

– Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо! – утвердился на своем Дудочкин.

Как ни безнадежны были эти мнения, но Крамольников уже и тому был рад, что Дудочкин, высказывая их, оставался на теоретической высоте и ни разу не употребил слова «донос». Разумеется, друзья наши как нельзя лучше воспользовались этим обстоятельством. Не выводя спора из сферы общих идей, они прибегали к той остроумной тактике, которая всегда отлично удавалась умеренным либералам, а именно: объявили Дудочкину, что хотя мнений его не разделяют, но тем не менее не могут его не уважать.

– Главное дело в мнениях – искренность, – деликатно заметил Крамольников, – и вот это-то драгоценное качество и заставляет нас уважать в вас противника добросовестного, хотя и неуступчивого. Но позвольте, однако, сказать вам, почтеннейший Асаф Иванович: хотя действительно у всех благомыслящих людей цель должна быть одна, но ведь пути к достижению этой цели могут быть и различные!

– То-то, что ваши-то пути глупые! – отрезал Дудочкин.

– Отчего ж бы, однако, не попробовать?

– Пробуйте! мне что! вы же в дураках будете!

– Так, стало быть, пробовать не возбраняется?

Вопрос был сделан настолько в упор, что Дудочкин на минуту остался безмолвным.

– То есть, вы... это насчет доноса, что ли? – произнес он наконец.

– Нет, не то чтоб... а так... искренность убеждений, знаете...

– Ну, да уж что тут! Сказывай прямо, донесешь или не донесешь? – вступился Воссияющий, который с некоторым нетерпением относился к политиканству своего друга.

– Эх, господа, пустое вы дело затеяли! – вздохнул Дудочкин.

– Ты не вздыхай, а говори прямо – донесешь или не донесешь? – настаивал

Дудочкин некоторое время уклонялся от ясного ответа, но когда друзья вновь повторили, что уважают в нем противника искреннего и добросовестного, то он не выдержал напора лести и обещал. Однако уже и тогда Воссияющий заметил, что, давая слово не доносить, он, яко Иуда, скосил глаза на сторону.

Заручившись обещанием писаря, друзья немедленно приступили к пропаганде своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему – от всех получили один ответ: Мосеич – мужик старый. Тогда настояли на том, чтоб в ближайшее воскресенье, после обедни, была созвана сходка для обсуждения на миру предложения о введении между крестьянами села Бескормицына обычая празднования юбилеев.

В воскресенье, за обедней, Воссияющий сказал краткое поучение о пользе юбилеев вообще и крестьянских в особенности.

– Отличнейшая польза, от юбилеев происходящая, – сказал батюшка, – несомненна и всеми древними народами единодушно была признаваема. Юбилеи возвышают душу чествуемого, ибо они предназначаются лишь для лиц воспрославленных и знаменитых, а чья же душа не почувствует парения, ежели познает себя прославленную и вознесенную? Но, возвышая душу чествуемого, юбилеи в то же время возвышают и души чествующих, ибо, чествуя чествуемого, мы тем самым ставим и себя на высоту высокостоящего и делаемся сопричастниками прославлению прославляемого. Итак, братие, потщимся и т. д.

После обедни состоялась и сходка. На нее, в качестве сторонников юбилея, явились Крамольников и Воссияющий, но тут же присутствовал и противник торжества, Дудочкин, по обыкновению своему восклицая:

– Неуч – наш народ! Свинья – наш народ!

Сходка, впрочем, шла довольно вяло, во-первых, потому что крестьяне не понимали самого предмета сходки, то есть слова «юбилей», а во-вторых, потому что, по-видимому, они даже и не интересовались понять его.

– Юбилей, господа, есть торжество, имеющее значение коммеморативное, – начал Крамольников.

– В воспоминание творимое, – пояснил Воссияющий.

– Ну, да, в воспоминание; и ежели, например, лицо даже крестьянского сословия известно своими добродетелями, или повиновением начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

– Или же усердно посещают церковь божию, творит добро ближнему, почитает божиих угодников, – добавил Воссияющий.

– Ну да, и угодников; и ежели он все это неослабеваючи выдерживает в течение известного периода времени...

– Периодом называется определенное число лет, например пятьдесят. Но не возбраняется праздновать юбилеи даже через пятьсот и через тысячу лет.

– Ну да; так вот ежели кто все вышесказанное в течение пятидесяти лет выдержал...

– И не возроптал...

– То сограждане этого человека устраивают в честь его торжество, чествуя, в лице этого человека, добродетель, труд и безнедоимочную уплату податей.

– «Торжество» – или, лучше сказать, трапезу; «сограждане» – или, лучше сказать, односельчане...

– Ну да, односельчане. Затем, господа, дело заключается в следующем: через два дня одному из ваших сограждан, или односельчан, почтеннейшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесят восемь лет жизни. В этот самый день, будучи осмнадцатилетним юношей, вступил он в законный брак с почтеннейшей

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
супругой своей, Ариной Тимофеевной и тем самым возложил на плеча свои рабочее
тягло.

В течение этих пятидесяти лет он ни разу не отступил от правил истинной
крестьянской жизни и беспрекословно принимал все ее невзгоды. Всегда в трудах,
всегда в поте лица добывая хлеб свой...

– И памятуя церковь божию...

– Он прокармливал семью свою, не щадя ни сил, ни крови своей...

– И ложе супружеское нескверно содержа...

– Никогда не задерживал податей, три раза сидел в остроге без законного повода,
был истязуем и бит... одним словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое
в совете судеб предопределено для крестьянина...

– В чем я, как пастырь, всегда готов засвидетельствовать...

– Так вот, в этот-то достопамятный день пятидесятилетия, говорю я, не худо бы
нам, собравшись за братской трапезой, от лица всего мира засвидетельствовать
почтеннейшему Ипполиту Моисеевичу то уважение, которое мы все, и каждый из нас в
особенности, питаем к его добродетели. По теплomu нынешнему времени, трапезу
эту, я полагаю, приличнее всего было бы устроить на вольном воздухе.

По окончании этой речи в толпе произошел смутный говор. Мужики недоумевали.
Во-первых, им казалось странным, почему добродетельный мужик Мосеич, пятьдесят
лет сряду работая без отдыха и самоотверженно платя казенные подати, всегда был
в загоне, а теперь, когда он от старости уже утратил способность быть
добродетельным, вдруг понадобилось воздавать ему какую-то честь. Во-вторых, они
опасались, не было бы чего от начальства за то, что они будут на вольном воздухе
добродетель чествовать.

– Нонче во всем от начальства притеснение пошло, – говорили одни, – книжку у
прохожего для ребетенков купишь – сейчас в острог сажают! Никогда прежде этого
не бывало!

– Да и не до праздников нам!.. – говорили другие, – шестьдесят восемь лет
Мосеичу – легко ли дело! Тягло с него снимут – вот и праздник! На печи будет
лежать – пусть и празднует там!

Одним словом, дело непременно приняло бы неблагоприятный оборот, если бы
Дудочкин, своим легкомысленным вмешательством, не поправил его. По своему
обыкновению, он был груб и не дорожил словами.

– Не чествовать, – кричал он во все горло, – а пороть их надо! поррроть!

Крестьяне смолкли и искоса поглядели на беснующегося писаря.

– Да; порроть! – не унимался он, – а вы думали что? Неуч – народ! Свиньи –
народ! Нашли кого чествовать!

Мужики обиделись окончательно.

– Ты чего, ворона, каркаешь? – обратились к писарю некоторые смельчаки.

– Поррроть, говорю! ничего вам другого не надобно!

– А мы разве за то тебе жалованье платим, чтоб ты нас свиньями обзывал?

– Жалованье я не от вас, а из конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое
заслуженное. А что вы свиньи – это всякий скажет! И начальство вас так понимает...
да!

– То-то «да»! Дакало нашелся! вот мы тебе жалованье-то прекратим – и посмотрим
тогда, как ты будешь дакать да в кулак свистать!

– Так вас и спросили! «Жалованье прекратим»! Ах, испугали! Сдерут, голубчики! не

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
посмотрят!

– Православные! да что ж он над нами куражится! Ах ты, собачий огрызок! Нелюди мы, что ли, в самом деле?

Общественное мнение вдруг сделало крутой поворот. Предложение Крамольникова и Воссияющего, которое готово было захапнуть, совсем неожиданно получило все шансы успеха.

Воспользовавшись колебаниями, вызванными писарем, из толпы выскочил «ловкий человек» (впоследствии он был привлечен к делу, как пособник) и сразу сорвал сходку.

– Православные! – крикнул он, – что на крапивное семя глядеть! согласны, что ли?

– Что ж, коли ежели Мосеич два ведра выставит... – пошутил кто-то.

Но на этот раз шутка не имела успеха. Под влиянием горькой обиды, нанесенной писарем, мужички раскуражились. Даже умудренные опытом старики – и те, обратясь к Дудочкину, сказали: тебе бы, прохвосту, надобно нас на добро научать – ан ты, вместо того, что сделал? – только мир взбунтовал!

И несмотря ни на какие противодействия и угрозы писаря, сходка определила: предложение Крамольникова принять, но с тем, чтоб в трапезе он лично принял участие вместе с священником, а в случае чего, был за всех в ответе, как смутитель и бунтовщик.

– Праздновать так праздновать – хуже мы, что ли, людей! – говорили мужички, – только уж ежели что, вы нас, господа, не оставьте! Мосеич! милости просим! Просим, почтенный!

Мосеич прослезился и отвечал, что он от мира не прочь.

– Что мир прикажет, я все исполнить должен, – сказал он, – и ежели, например, мир велит...

– Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! Раскошеливайтесь, господа! Покуда еще что будет, а выпить смерть хочется! – крикнул кто-то.

Через минуту послышалось звяканье медяков, а через две – бойкий кабатчик, со штофом в одной руке и стаканом в другой, уже порхал между рядами крестьян и поздравлял сходку с благополучным решением дела.

Крамольников и Воссияющий шли со сходки по направлению к поповской усадьбе. Первый был задумчив и как будто даже недоволен.

– Подгадили-таки под конец! – сказал он печально, – ну, что бы, кажется, отнести к почину великого дела крестьянского самоуважения трезвенно, с достоинством, благородно? Нет, нужно же ведь было об этой проклятой водке вспомнить!

– Да, таки не забыли, – усмехнулся Воссияющий.

– Так это горько! так это горько, батюшка! за прогресс в отчаяние прийти можно!

– Ну, бог милостив. И всегда первую песенку зардевшись поют! Какое дело в начале не прихрамывает!

– Нет, батюшка, если они уж теперь ведро потребовали, то что же пятнадцатого июля будет?

– Никто как бог! загадывать вперед нечего, а вот об чем подумать, да и подумать надо: как бы и в самом деле Дудочкин не донес, что мы превратными толкованиями народ смущаем!

Крамольников как-то подозрительно и в то же время грустно взглянул на Воссияющего.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ослабеваеете, батюшка? – спросил он слегка взволнованным голосом.

– Ослабевать не ослабеваю, а из-за пустяков тоже... Попадью жалко, Иона Васильич!

Подозрения, высказанные Воссияющим относительно Дудочкина, дают новый полет моей сонной фантазии. Она незаметно переносит меня на край села Бескормицына, в небольшую, но довольно опрятную избу, в которой, судя по отсутствию двора и хозяйственных пристроек, должен жить одинокий человек. И действительно, здесь, в узенькой горнице, за столом, закапанным каплями чернил и сала, при слабом мерцании нагоревшей свечи, сидит волостной писарь Дудочкин.

Увы, он не выдержал и строчит в эту минуту такого сорта бумагу:

«Г-ну приставу 2 стана NN уезда. Волостного писаря Бескормицынской волости, Асафа Иванова Дудочкина доношение.

Случилось сего числа в нашем селе Бескормицыне происшествие, или лучше сказать, образ мыслей, имеющий свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Иона Васильев Крамольников, и священник Стефан Матвеев Воссияющий, и прежде сего замеченные мною в частных толкованиях, возымели намерение совратить в свою пагубу и некоторых из здешних крестьян. А именно: кроме установленных правительством воскресных и табельных дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродетели и другим мужицким якобы качествам. Для чего избрали крестьянина здешнего села, Ипполита Моисеева Голопятова, в лице которого добродетель будто бы преимущественное действие свое оказала. И хотя, на предложение означенных Крамольникова и Воссияющего присоединиться к их образу мыслей, я формально отозвался, и даже им с приказательностью советовал от сего отстраниться и жить тихо, согласно с правилами, правительством в разное время изданными, но они в намерении своем остались непреклонными и только просили о сем вашему благородию не доносить. Я же от исполнения таковой их просьбы воздержался. И затем, собрав оные лица в селе нашем, сего числа, самовольную сходку из наиболее буйных и известных закоренелостью крестьян, делали им о той добродетели явное предложение, причем не было ли намерения к поношению предержавших властей, как и был уже подобный случай в газетах описан, что якобы некто, мывшись в бане с переодетым, или, лучше сказать, раздетым жандармом, начал при оном правительстве хулить и получил за сие законное возмездие. Каковое предложение о добродетели и прочих мужицких свойствах сходка приняла с благосклонностью, ассигновав на празднование два ведра вина, а съестное и хлеб каждый должен принести с собою по силе возможности. И 15-го сего июля должен быть у нас сей новый праздник, «добродетелью» называемый, и чем оный кончится и в чем будет состоять – того заранее определить нельзя. А как ваше высококородие строжайше изволили мне наказывать, чтоб в случае появления в нашей волости образа мыслей, немедленно о сем доносить, то сим оное и восполняю, опасаясь, как бы от праздников сих не произошло в нашем селе расколов и тому подобных бесчинств, как уже и был тому пример в прошлом году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, уверяя, что оно есть то самое, которым подлинная воля подписана, и тем положила основание новой секте, «пёрушниками» называемой. И мое мнение таково, чтоб мужикам потачки не давать, но дабы они впоследствии не могли отговориться невинностью, то дать им покуражиться и весь упомянутый образ мыслей выполнить, а потом и накрыть с поличным по надлежащему.

Волостной писарь Асаф Иванов Дудочкин».

Сон продолжается...

Полдень. В затишье, на огороде избы богатого бескормицынского крестьянина, Василия Егорова Бодрова, расставлено несколько столов, за которыми сидит человек до тридцати домохозяев, чествующих своего односельца Ипполита Моисеевича Голопятова. Голопятов президентствует; по правую руку его сидит Крамольников, по левую – сельский староста Иван Матвеев Лобачев, напротив – хозяин дома и сотский. Воссияющий воздержался; он явился к началу трапезы, благословил яствие и питье и удалился под предлогом, что не подобает пастыреви вмешиваться в дела мира сего (впоследствии, когда началось дело о злоумышленниках он, по священству, так и показал следователю, что пустяжных мыслей о чествовании добродетели никогда не имел и между крестьянами не распространял, а что, ежели

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru говаривал, что святых угодников не чтить – значит бога не любить, – то в этом виновен).

Мужички чинно хлебают из поставленных перед ними чашек. Хлебают и, в то же время, оглядываются и прислушиваются. Виновник торжества, словно бы перед причастием, надел синий праздничный кафтан и чистую белую рубашку; прочие участники тоже в праздничных одеждах. Неподалеку от пирующих, у соседней анбарушки, собрались старухи крестьянки и гуторят между собой; из-за огородного плетня выглядывает толпа ребятишек, болтающих в воздухе рукавами; с улицы доносится звон хороводной песни.

Долгое время молчание царствует за столами, как будто над сотрапезниками тяготеет смутное опасение. Уклончивость Воссияющего всеми замечена, и многие видят в ней недобрый знак. К великой собственной досаде, и Крамольников не может свергнуть с себя иго неловкого безмолвия, сковавшего уста и умы присутствующих. Он было приготовил целую речь, но думает, что в начале трапезы произнести ее еще преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую беседу, и Крамольников знает, что достигнуть этого очень легко: стоит только пустить в ход подходящее слово, но этого-то именно слова он и не находит. Наконец, однако ж, он убеждается, что долее ждать невозможно.

– Жать, Василий Егорыч, начали? – обращается он к хозяину огорода таким тоном, словно бы ему клещами давили горло.

– Мы-то вчерась зажали, а другие хотят еще погодить, – отвечает Василий Егорыч, не без гордости оглядывая собравшихся.

– Чего ж бы, кажется, годить! На дворе жары стоят – самая бы пора за жнитво приниматься!

– С силами, значит, не собрались, Иона Васильич. У кого силы побольше, тот вперед ушел; у кого поменьше силы – тот позади остался.

– Это, ваше здоровье, так точно, – подтверждает и староста, – коли ежели у кого сила есть, у того и в поле, и дома – везде исправно. Ну, а без силы ничего не поделаешь.

– Что без силы поделаешь! – отзывается сотский.

– А вы, Ипполит Моисеич, как? скоро ли думаете начать жать? – втягивает Крамольников в беседу виновника торжества.

– Надо бы, сударь, – скромно отвечает Моисеич, – вчерась в поле ходили: самая бы пора жать!

– У нас же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перепусти, ан, глядишь, третье зерно на полосе осталось, – объясняет Василий Егорыч, еще гордее оглядывая присутствующих и как бы говоря им: зевайте, вороны! вот я ужо, как у вас весь хлеб выйдет, с вас же за четверик два возьму!

– Не пойму я тут вот чего, – недоумевает Крамольников, – вы ведь землю-то по тяглам берете; сколько у кого тягол в семье, столько тот и земли берет – стало быть, по-настоящему, сила-то у каждого должна быть ровная.

– То-то, что не ровная: у одного, значит, одна сила, а у других – другая.

– Это так точно, – подтверждает староста.

– Воля ваша, а я это не понимаю.

– А в том тут и причина, что у меня, значит, помощью вчера жали. Купил я, например, мужикам вина, бабам пива – ко мне всякий мужик с радостью бабу пришлет. Ну, а как у другого силы нет – и на помощь к нему идти не весело. Он бы и рад в свое время работу сработать – ан у него других делов по горло. Покуда с сеном вожжается, покуда что – рожь-то и утекает.

– Страсть, как утекает!

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Опять и то: теперича, коли ежели я в засилие вошел – я за целое лето из дому не шелохнусь. А другой, у которого силы нет, тот раза два в неделе-то в город съездит. Высушит сенца, навьет возок и едет. Потому, у него дома есть нечего. Смотришь – ан два дня из недели и вон!

В рядах пирующих проносится глубокий вздох.

– Так-то, ваше здоровье, и об земле сказать надо: одному она в пользу, а другой ею отягощается. У меня вот в семье только два работника числится, а я земли на десять душ беру: пользу вижу. А у Мосеича пять душ, а он всего на две души земли берет.

Крамольников вопросительно взглядывает на виновника торжества.

– Действительно... – скромно подтверждает последний.

– Странно! ведь ему бы, кажется, еще легче с малым-то количеством справиться?

– То-то, сударь, порядков вы наших не знаете. Коли настоящей силы нет – ему и с огородом одним не управиться. Народу у него числится много, а загляни к нему в избу – ан нет никого. Старый да малый. Тот на фабрику ушел, другой в извозчиках в Москве живет, третьего с подводой сотский выгнал, четвертый на помощь, хошь бы примерно ко мне, ушел. Свое-то дело и упадает. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, ан глядишь – его бабы у меня зажинали.

– Зачем же они на стороне работают, коли у них и своя работа не ждет?

– Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы наших порядков не знаете.

Так-таки на том и утвердились: не знаете наших порядков – и дело с концом.

Беседа на минуту упадает; но на этот раз уже сам Василий Егорыч возобновляет ее.

– А я вот об чем, ваше здоровье, думаю, – обращается он к Крамольникову, – какая тут есть причина, что батюшка к нам не пришел?

Право, не знаю, – нерешительно отвечал Крамольников.

– А я полагаю: не к добру это! Сам первым затейщиком был, да сам же и на попятный двор, как до дела дошло. Не знаю, как вашему здоровью покажется, а по-моему, значит, неверный он человек.

– Признаться сказать, – вступается староста, – и я вчерась к батюшке за советом ходил: как, мол, собираться или не собираться завтра мужикам?

– Ну?

– Чего! и руками замахал: «Не знаю, говорит, ничего я не знаю! и что ты ко мне пристал!» Сказано, неверный человек – неверный и есть!

Крамольников потупился: поступок Воссияющего горьким упреком падает на его сердце.

– Он у нас, ваше здоровье, и до воли самый неверный человек был! – говорит кто-то из толпы, – признаться, напоследях-то мы не в миру с помещиком жили. Вот и пойдут, бывало, крестьяне к батюшке: как, мол, батюшка, следует ли теперича крестьянам на барщину ходить? ну, он и скосит это глазами, словно как и не следует. А через час времени – глядим, он уж у помещика очутился, уж с ним шуры да муры завел.

– Так уж ты смотри, Иона Васильич! – предупреждал Василий Егорыч, – коли какой грех – ты в ответе!

– Да чего вы боитесь? что мы, наконец, делаем? – пробует ободрить присутствующих Крамольников.

– Ничего мы не делаем; так промежду себя собрались; а все-таки, какова пора ни мера, нас ведь не поглядят.

– За что же?

– А здорово живешь – вот за что! Никогда, мол, таких делов не бывало – вот за что! Мужуку, мол, полагается, в своей избе праздники справлять, а тут ну-тка... вот за что! Писаренок вот тоже: давеча, от обедни шедши, я с ним встретился – и не глядит, рыло воротит! Стало быть, и у него на совести что ни на есть нечистое завелось!

В это время на улице раздается свист.

– А ведь это он, это писаренок посвистывает! Гляньте-ко, ребята, не едет ли по дороге кто-нибудь?

– Чего глядеть! Я на колокольню Минайку сторожа поставил: чуть что, говорю, сейчас, Минайка, беги! – успокоивает общество староста.

– Так ты уж сделай милость, Иона Васильич! просим тебя: как ежели что, так ты и выходи вперед: я, мол, один в ответе!

Крамольникову делается грустно, и слова Воссияющего «не стоит из-за пустяков» невольно приходят ему на мысль. Но он еще бодрится, и даже самое негодование, возбуждаемое маловерием крестьян, проливает какую-то храбрость в его сердце.

– Сказал, что один за всех в ответе буду – и буду в ответе! – говорит он твердым и уверенным голосом, – и не боюсь! никого я не боюсь, потому что и бояться мне нечего.

– А если ты не боишься – так и слава богу! И мы не боимся – нам что! когда ты один в ответе – стало быть, мы у тебя все одно как у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокоиваются и словно бодрее принимаются за ложки. На столах появляется вторая перемена хлеба и по стакану вина. Крамольников подмигивает одним глазом Василию Егорычу, который встает.

– Ну, Мосеич, будь здоров! – провозглашает он, – пятьдесят лет для бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

– Мосеичу! Палиту Мосеичу! – раздается со всех сторон, – пятьдесят лет здравствовать!

Винючник торжества видимо взволнован, хотя и старается казаться спокойным. Бледное старческое лицо его кажется еще бледнее и словно чище: он тоже встает и на все стороны кланяется.

– Благодарим на ласковом слове, православные! – произносит он слегка дрожащим голосом, – а чтоб еще пятьдесят лет маяться – от этого уже увольте!

– Нет, нет, нет! Пятьдесят лет да еще с хвостиком! – настаивают пирующие.

Здесь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную речь, но он рассчитывает, что времени впереди еще много, и потому решает предварительно проэкзаменовать юбиляра. С этой целью он делает ему точь-в-точь такой же допрос, какой ловкий прокурор обыкновенно делает на суде подсудимому, которого он, в интересах казны, желает подкузьмить.

– А что, Ипполит Мосеич, – говорит он, – много-таки, я полагаю, вы на своем веку видов видели?

– Всего, сударь, было, – просто и скромно отвечает юбиляр.

– Он у нас и в огне не горит, и в воде не тонет! – подсмеивается староста.

– Как и все, Иван Михайлыч.

– Ну-с, а скажите, правду ли говорят, что вы несколько раз замерзали? – продолжает Крамольников.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Было, сударь, и это.

– А скажите, пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

– То есть как это «чувство»?

– Ну, да, что вы чувствовали, когда с вами это случилось?

– Что чувствовать? Поначалу зябко, а потом – ничего. Словно бы в сон вдарит. После хуже, как оттаивать начнут. Я в Москве два месяца в больнице пролежал – вот и пальца одного нет.

Он поднимает правую руку, на которой, действительно, вместо третьего пальца, оказывается дыра.

– Как же вы работаете с такой рукой? ведь, я думаю, неспособно?

– Приспособился, сударь.

– Нам, ваше здоровье, нельзя не работать, – вставляет свое слово Василий Егорыч, – другого и всего болезнь изломает, а все ему не работать нельзя.

– Мы на работе, сударь, лечимся, – отзывается какой-то мужичок из толпы, – у меня намеднись совсем поясница отнялась; встал это утром – что за чудо! согнись – разогнуться не могу; разогнись – согнуться невмочь. Взял косу да отмахал ею четыре часа сряду – и болезнь как рукой сняло!

– Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется, – поясняет староста, – ежели одну работу работать неспособно – другая есть. Косить не можешь – сено с бабами вороши; пахать нельзя – боронить ступай. Работа завсегда есть.

– Как не быть работе! – откликаются со всех сторон.

– А вот, говорят, что вы однажды чуть не утонули, – вновь допрашивает Крамольников: – Что вы при этом чувствовали?

– Тоже в сон вдаряет, – отвечал юбиляр, – сначала барахтаешься в воде, выпрыгнуть хочешь, а потом ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые в глазах – неловко словно.

– По какому же случаю вы тонули?

– С подводой в ту пору гоняли. Под солдат, солдаты шли. Дело-то осенью было, паводок случился, не остерегся, стало быть.

– Ну, а пожары у вас в доме бывали?

– Бывали, сударь. Раз десяток пришлось-таки власть божью видеть.

– У него, ваше здоровье, даже сын в пожар сгорел, – припоминает кто-то из толпы.

– И какой мальчишка был шустрый! Кормилец был бы теперь! – отзывается другой голос.

– Как же это так? Неужто спасти не могли?

– Ночью, сударь, пожар-то случился, а меня дома не было, в Москву ездил...

– Прибегают, это, мужички на пожар, – говорит староста, – а он, сердечный, мальчишечко-то, стоит в окне, в самом значит, в полыме... Мы ему кричим: спрыгни, милый, спрыгни! а он только ручонками рубашонку раздувает!

– Не смыслил еще, значит.

– И вдруг это закружился...

При этом рассказе Мосеич встает и набожно крестится. Губы его что-то шепчут. Все присутствующие вздыхают, так что на минуту торжество грозит принять печальный

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru характер. К счастью, Крамольников, помня, что ему предстоит еще кой о чем допросить юбиляра, не дает окрепнуть печальному настроению.

– А вот в тюрьме вы за что были? – спрашивает он.

– Так, сударь, богу угодно было.

– Мы ведь в старину-то бунтовщики были, – поясняет Василий Егорыч, – с помещиками всё воевали. Ну, а он, как в своей-то поре был, горячий тоже мужик был. Иной бы раз и позади людей схорониться нужно, а он вперед да вперед. И на поселение сколько раз его сослать хотели – да от этого бог, однако, миловал.

– Не допустил царь небесный на чужой стороне помереть!

– А беспрременно бы его сослали, – договаривает староста, – коли бы ежели сами господа в нем нужды не видели.

– Вот что!

– Именно так. Лесником он у нас в вотчине служил. Леса у нас здесь, надо прямо сказать, большущие были, а он каждый куст знал, и чтоб срубить что-нибудь в барском лесу без спросу – и ни-ни! Прута унести не даст! Вот господам-то и жалко. Пробовали было, и не раз, его сменять, да не в пользу. Как только проведает мужики, что Мосеича нет, – смотришь, ан на другой день и порубка!

– Ну-с, а помещики... хорошо с вами обращались? – продолжает допрашивать Крамольников.

– Бывало... всякое... – отвечает юбиляр уже усталым голосом. Очевидно, что если бы не невозмутимое природное благодушие, он давно бы крикнул своему собеседнику: отстань!

– У нас, ваше здоровье, хорошие помещики были: шесть дней в неделю на барщине, а остальные на себя: хошь – гуляй, хошь – работай! – шутит староста.

– А последний помещик у нас Василий Порфирыч Птицын был, от которого мы уж и на волю вышли, – говорит Василий Егорыч, – так тот, бывало, по ночам у крестьян капусту с огородов воровал! И чудород ведь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, мол, вы, Василий Порфирыч, этак-то делаете? Ну, он ничего, словно с гуся вода: что ты! что ты! говорит, ничего я не делаю, я только так... И сейчас это марш назад, и даже кочки, ежели которые срезал, отдаст!

– Болезнь, стало быть, у него такая была! – отзывается кто-то.

– Ну-с, Ипполит Моисеич, а расскажите-ка нам теперь, как вы женились? – как-то особенно дружелюбно вопрошает Крамольников и даже похлопывает юбиляра по коленке.

– Что же «женился»?! Женился – и всё тут!

– Нет, уж вы по порядку нам расскажите: как вы склонность к вашей нынешней супруге получили, или, быть может, ваш брак состоялся не по любви, а под влиянием каких-либо принудительных мер? Знаете, ведь в прежнее время помещики...

– Года вышли; на тягло надо было сажать... Известно – жених.

– Нет, вы уж, сделайте одолжение, по порядку расскажите!

– Года вышли – ну, староста пришел. У Тимофея, говорит, дочь-девка есть. – Ну – женился.

– У нас, ваше здоровье, не спрашивали, любя или не любя девка. Тягло чтоб было – и весь разговор тут! – объясняет староста.

– Так-с, а подати и оброки вы всегда исправно платили?

– Завсегда... ни единой, то есть, полушки... И барщина, и оброк... как есть! – отвечает юбиляр и словно даже приходит в волнение при этом воспоминании.

– И, вероятно, тяжелым трудом доставали вы эти деньги?

Юбиляр молчит. Ясно, что его уже настолько задели за живое, что ему делается противно. Но староста оказывается словоохотливее и, по мере разума своего, удовлетворяет любознательности Крамольникова.

– Это насчет тягостей, что ли, ваше здоровье, спрашиваете? – говорит он, – и не приведи бог! Каторжная наша жизнь – вот что! Вынь да положь – вот какая у нас жизнь! А откуда вынь – никому это, значит, не любопытно. Прошлый год я целую зиму сено в Москву возил: у помещиков здесь по разноте скупал, а в Москве продавал. И боже ты мой! сколько я тут мученья принял! Едешь, этта, тридцать верст целую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебе слепит, и ветром лицо жжет – смерть! Ну, цалковый-рупь выгадаешь, привезешь из Москвы. А вашему здоровью со стороны-то, чай, кажется: вот, мол, мужичок около возочка погуливает!

– Ну, нет, мне... я ведь и сам...

– Знаем, что не дворянской крови, а все-таки... вы из приказных, что ли?

– Отец мой был канцелярским служителем... и тоже...

– Тоже, чай, по кабакам мужикам просьбы писал – что ему? В кабаке светло, тепло... Сидит да пером поскребывает! Ну, а наше дело почище будет! И ведь чудо это! Маемся мы маемся, а всё как будто гуляем!

– Наша должность такая, что всё мы на вольном воздухе, – скромно поясняет юбиляр, – оттого и кажется, будто гуляем.

– Косим – гуляем, сено ворошим – гуляем, пашем – гуляем! – отзывается кто-то.

– А ты сочти, сколько верст хоть бы на пашне этого гулянья на наш пай достанется. В летний день мужику, это бедно, полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по-твоему, верст будет?

– Да верст двадцать с лишком.

– Ты вот двадцать-то верст в день порожнем по гладкой дороге пройдешь, и то запыхаешься, а тут по пашне иди, да еще наляг на соху-то, потому она неравно выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольников тоже облакачивается рукой об стол и ерошит себе волосы. Он чувствует, что теперь самое время произнести юбилейную речь.

– Неприглядное ваше житье, господа! – говорит он.

– Какого еще житья хуже надо!

Крамольников встает, держа в руке стакан с вином. Он, видимо, взволнован; лицо бледно, плечи вздрагивают, руки трясутся, волосы стоят почти дыбом.

– Господа! – говорит он, задыхаясь, – пью за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчас показания почтенного юбиляра, вы слышали свидетельство и других, не менее почтенных и сведущих лиц, – и из всех этих показаний и свидетельств явствует одно: горькое, трудное житье русского крестьянина! Можно сказать даже больше: его жизнь полна таких опасностей, которые неизвестны никакому другому сословию. Чтобы убедиться в этом, проследим судьбу его с самого начала. Он родится, и с первых минут своей жизни уже составляет не радость и утешение, но бремя для своих родителей! Да, бремя, ибо ежели впоследствии те же родители будут иметь в народившемся малютке кормильца и поддержку их старости, то вначале они видят в нем только лишний рот и обременительную заботу, отвлекающую от выполнения главной задачи их жизни: поддержки того бедного существования, которое, так или иначе, они обязываются нести. Ребенок беспомощен; он требует ухода и попечений; но какой же уход может дать ему его бедная мать? Согбенная под лучами палящего солнца, она надрывает свои силы над скудной полосой ржи; покрытая перлами пота, она ворошит сено и

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru помогает достойному своему мужу навить его на воз; она встает с зарею и для всей семьи приготавливает скудную трапезу; она едет в лес за дровами, в луг за сеном, задает корм скотине, убирает ее... И все это время ребенок остается без призора, мокрый, без пищи, ибо можно ли назвать пищу прокислую соску, которую суют ему в рот, чтоб он только не кричал? Упомянуть ли о болезнях, которые, вследствие всего этого, так часто поражают крестьянских детей? Удивляться ли смертности, необходимой спутнице этих болезней? Круп, скарлатина, оспа, головная водянка – все бичи человечества стерегут злосчастных малюток и нередко похищают у жизни целые поколения!.. Нет, не болезням, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдельные единицы, которые, по счастливой случайности, остаются жить. Жить – для чего? Для того, господа, чтоб и дальнейшее их существование продолжало быть искупительной жертвою, приносимую на алтарь отечества! Проходит год, два, три, крестьянский малюток настолько вырос, что может уже стоять на ногах и лепетать кой-какие слова. Какие попечения окружают его в этом нежном и опасном возрасте? Мне больно, господа, но я должен сказать, что ничего похожего на уход тут не существует. Та нужда, которая с раннего утра выгоняет из дома родителей ребенка, косвенным, но очень решительным образом отражается и на нем самом. Он делается, так сказать, гражданином деревенской улицы, товарищем птиц и зверей, которые бродят по ней, настолько же лишенные призора, насколько лишен его и крестьянский малюток. Сообразите, сколько опасностей ожидает его тут? Хищный волк, бешеная собака, прожорливая свинья – всё находит его беззащитным, всё угрожает ему безвременной смертью! Еще на днях у нас был такой случай, что петух выклюнул глаз у крестьянской девочки. Где, спрашиваю я, в каком сословии может случиться что-нибудь подобное? Но крестьянский малюток живуч; он бодро идет вперед по усеянной тернием жизненной тропе и посмеивается над жалом смерти, везде его преследующим, везде готовым его настичь. Поднявши рубашонку, шлепа по грязи или возясь с непокрытой головой в дорожной пыли под лучами палящего солнца, он растет... Я хотел бы сказать, что он растет, как крапива у забора, но, право, и это было бы слишком роскошно для него, ибо едва ли найдется в целой природе такой злак, которого возрастание могло бы быть приведено здесь, как мерило для сравнения. Тем не менее, он растет и крепнет, и восьми лет делается уже бесполезным членом своей семьи. Он помогает родителям в более легких работах, он пестует своих малолетних сестер и братьев, наконец, в некоторых случаях, он даже приносит семье известный заработок. Этот заработок – святой, господа! Вы, вероятно, слышали от священника вашего о лепте вдовицы и, конечно, умилились над рассказом об ней! Но сообразите, во сколько раз святее и умилительнее эта другая лепта, которую я назову лептою русского крестьянского малютки? Древле Авраам, по слову господню, готовился принести в жертву сына своего Исаака, и ангел господень остановил руку его. Русское крестьянство каждый день приносит эту жертву, и увя! останавливающий руку ангел не прилетает к нему! Древле пророк, оплакивая судьбы святого города, восклицал в смятении души своей: да будет забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме! Ныне я, как учитель детей крестьянских, проведенный сладчайшие минуты жизни своей в общении с ними, во всеуслышание восклицаю: дети! русские дети! Да будет забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные с вами! Господа! пью за здоровье крестьянских русских детей!

Голос Крамольникова прервался; он был до того взволнован, что едва держался на ногах. Старушки, приблизившиеся к пирующим, чтоб послушать, что учитель гуторит, стояли пригорюнившись, а некоторые и прослезились. Мужики говорили: ну, вот, и спасибо тебе, ваше здоровье, что ребятишек наших вспомнил! Через несколько минут, однако ж, Крамольников настолько успокоился, что мог продолжать.

– Я не буду представлять вам здесь, господа, – сказал он, – полную картину перехода русского крестьянского ребенка от ребячества к юношеству. Это заняло бы у нас слишком много времени, недостаток которого заставляет меня останавливаться лишь на самых характеристических подробностях предмета, нас занимающего. Итак, перейдем прямо к крестьянину-юноше, и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одном имени русской крестьянки, и сжимается тем больше, что часть тех тяжелых вериг, которые выпали на долю ее, идет от вас самих, господа. Я знаю, что в этом факте не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводом для круговой поруки несчастья, а не для притеснения одних несчастных посредством других. Пора бы подумать об этом, господа. Пора сказать себе: мы несчастны, следовательно, наша обязанность подать друг другу руку, а не раздирать друг друга. Нет ничего безотраднее, даже беспримечнее существования русской крестьянки. Начать с того, что у нее почти нет девичества. То, о чем поется в

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
песня под именем девической воли, продолжается не более нескольких месяцев, то есть от конца летней страды до январского мясоеда, в котором обыкновенно венчаются крестьянские свадьбы. Летом – она была отроковица, зимою – она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногим русским крестьянкам удастся ценою долголетнего искуса страданий купить себе в старости почтенное положение главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нее и совсем нет их. Крестьянин все-таки отлучается на заработки, следовательно, видит свет божий, чувствует себя действующим и ответственным лицом. Крестьянка – на всю жизнь прикована к семье, на всю жизнь осуждена на безответность. Сознайтесь, господа, что ваше обращение с женами и матерями потому только не заслуживает названия жестокого, что оно слишком уже вошло в нравы. А между тем, не будь в домах ваших этих вековых печальниц, этих неумолимых охранительниц бедного крестьянского двора – вы не имели бы даже и тех скудных жизненных удобств, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имеют вид человеческих жилищ, если в них светло и тепло, то и этот свет, и эта теплота исходят исключительно от нее, от этой загубленной русской женщины, об которой недаром русская песня поет:

День – денная ты печальница,
Ночь – ночная богомолица!

Вековечная сухотница.

Если вы не умираете с голоду, ежели видите дворы свои нерасхищенными, ежели не пропадают, как ничтожное бытие, ваши дети – этим вы обязаны всё той же вековечной сухотнице! История отметила много видов геройства и самоотверженности, но забыла об одном: о геройстве и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это – скромное беспримерное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабевающее: ни при первом крике петела, ни при третьем. Это геройство, замкнутое в тесных пределах крестьянского двора, но всегда стоящее на страже и готовое встретить врага. Не забудьте, что женщина, по самой природе своей, – существо слабое, существо, обреченное на болезни; но русская крестьянка, в этом случае, составляет как бы исключение: для нее не существует ни болезней, ни слабости, не потому, чтоб она их не чувствовала, но потому, что она не имеет права чувствовать. Я сейчас упоминал о случае, когда петух выключил глаз девочки Матрешки. В это время мать ее, Надежда Петровна, была в лесу, верст за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тем не менее она бегом пробежала эти пять верст, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякий понимал, что именно так должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о том, что ваши женщины суть устроительницы домов ваших, что работы, которые они несут, немногим легче тех, которые вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще более горькое, более безотрадное. Они разделяют все тяготы ваши, все неудачи, невзгоды и несчастья – и никогда не делят ваших радостей или удовольствий. Вы имеете хоть какие-нибудь внесемейные интересы, вы встречаетесь с новыми людьми, с новой обстановкой, вы, наконец, как я уже сказал раз, можете, за ваш личный страх, бороться с невзгодой. Крестьянка лишена всех этих преимуществ. Она даже бороться не может, а может только втихомолку проливать слезы. В продолжение всей ее жизни у нее постоянно что-нибудь да отнимают. Замужество отнимает у нее мать и отца, заработки – мужа, рекрутчина – сына, совершеннолетие дочери – дочь. И на все эти притязания слепой судьбы она может ответить только слезами! Кто видит эти слезы? Кто слышит, как они льются капля по капле, подтачивая драгоценнейшее человеческое существование? Их видит и слышит только русский крестьянский малютка, но в нем они оживляют нравственное чувство и полагают в его сердце первые семена любви и добра. Школа материнских слез – добрая школа, господа, и не утратит веры в свою силу тот, кто воспитался в этой школе. Но вы, господа, – я обращусь теперь уже к вам, – вы, главы крестьянских семейств, что дали вы вашим женам и матерям, взамен их самоотверженности и любви? Видели ли вы их слезы, знаете ли об них? Я знаю, вы настолько совестливы, что не нужно даже ждать вашего ответа на мой вопрос: этот ответ, наверное, осудит вас. По этому поводу позвольте мне еще раз возвратиться к уже высказанной мною прежде мысли. Господа! вас ожесточает горе и вечно преследующая нужда, и, конечно, это в значительной степени облегчает вашу вину, но знайте, что, в кругу одинаково несчастных людей, горе и нужда должны быть сплывающим звеном, а не семенем раздора. Иначе самое существование делается невозможным, и исчезнет всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнее в слова мои, проверьте их судом собственной совести, и вы, наверное, сами придете к тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрение к ней, а ласку и покровительство. Вот почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтоб возгласить тост за улучшение участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи! ура!

Громкое «ура» отвечает на вызов Крамольникова. Несмотря на некоторую витиеватость его речи, крестьяне поняли сущность ее. А крестьянки даже весело улыбались и громко выражали свое удовольствие учителю за урок, данный мужьям и сыновьям. Ободренный успехом, Крамольников продолжал:

– Теперь приступаю к главному предмету моей беседы с вами – к русскому крестьянину. Из объяснений почтенного вашего односельца, которого мы ныне вкупе чувствуем, вы сами видите, сколько он поднял трудов и скольким подвергался опасностям. Увы! этот пример не единственный и не исключительный: вы все находитесь в том же положении, как и почтеннейший Ипполит Моисеич. Я не говорю уже о крепостном праве, порождавшем помещиков, которые, злоупотребляя своим положением, требовали от крестьян шестидневной изнурительной барщины, для которых телесное наказание было обычной формой отношений к крестьянину, которые, наконец, доходили до такого малодушия, что по ночам воровали из крестьянских огородов овощи. Крепостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манию державного освободителя, цепи рабства спали с вас, освободились ли вы от тех тягостей и опасностей, которые на каждом шагу осаждают существование русского крестьянина? Из слов Ипполита Моисеича видно, что он не раз был на один волос от смерти: он замерзал и тонул. Своей ли охотой и для своих ли дел он рисковал в этих случаях жизнью? Нет, он, конечно, предпочел бы остаться дома в тепле, чем тащиться с подводой в зимнюю вьюгу и в весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его из домашнего тепла. Но этого мало: Ипполит Моисеич сравнительно даже немного рисковал, ибо, по самому роду своих занятий, он мог подвергаться только опасностям известного характера и притом хотя с трудом, но все-таки отвратимым. А есть занятия, которым предается всё то же почтенное крестьянское сословие и при которых риск жизнью составляет, так сказать, обыкновенную и почти неизбежную принадлежность. Стоит побывать летом в любом городе, чтоб увидеть штукатуров и маляров, висящих на воздухе в утлых садках, кровельщиков, ползающих по крышам четырехэтажных домов, каменщиков, стучащих молотом на необозримой высоте, носильщиков, взбирающихся с тяжелою ношей по выстроенным на живую нитку лесам. Стоит постранствовать по нашим деревням и болотам, чтоб увидеть землекопов, роющихся в недрах земли, торфяников, работающих по пояс в воде. Стоит посетить первую попавшуюся фабрику, чтобы увидеть целый муравейник людей, снующий между колесами машин, из которых каждое в одно мгновение может превратить человека в массу крови и мяса. Малейшая неловкость, ничтожнейшее неосторожное движение – и человек перестал существовать. Но этого мало, что он умирает: он не просто умирает, а умирает бесследно. Ибо это даже не человек: при жизни – это рабочая единица, часто неизвестная и по имени; по смерти – это «мертвое тело». Выбыла рабочая сила из строя – не пройдет мгновения, как она уже заменена другою. Киньте камень в воду – пустое пространство, которое при этом образуется в массе воды, конечно, немедленно заплывает, но все-таки вы видите некоторое время на поверхности круг, который свидетельствует, что здесь нечто произошло. Смерть крестьянина, зарабатывающего свой хлеб и свои подати на чужбине, даже этого круга не оставляет по себе... Ни дел, ни памяти... Спрошу у всех честных людей: чье существование может сравниться с этим безмолвным геройством, наградой которому служит одно забвение? Нам часто приводят в пример жизнь солдата и те опасности, которыми она окружена. Я согласен, что существование солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится, по малой мере, сто пожертвованных крестьянских жизней! И не забудьте при этом, что солдат все-таки знает характер угрожающей ему опасности, что он жертвует собою, понимая, что эта жертва должна принести известные плоды. Крестьянин – ничего этого не знает. Он идет вперед, потому что идти ему больше некуда, идет вперед – и никогда не имеет уверенности, разверзнется или не разверзнется под ним земля... Но, скажут мне, случайные опасности не могут же служить мерилем для оценки чьей бы то ни было жизни. Случайности могут встретиться везде, и удар грома одинаково поражает человека, к какому бы званию он ни принадлежал. Прекрасно. Но возражение это, очевидно, теряет всякую силу там, где опасность, так сказать, составляет краеугольный камень всего человеческого существования, где она настагает человека до того легко, что представляется уже не случайностью, а как бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Удар грома, конечно, безразлично убивает человека всякого звания, но каждому понятно, что, например, пастух, проводящий целые дни в поле и в лесу, легче подвергается опасности быть убитым грозой, нежели человек, который во всякое время может укрыться от непогоды под кровлей надежного жилища. Но допустим, однако, что это возражение, само по себе неправое, должно быть уважено. Оставим мир случайностей и взглянем на быт русского крестьянина вне

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru этой сферы, в кругу таких занятий, которые уж никак не могут быть названы случайными, но представляют собой естественную обстановку всей его жизни. Занятия эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлеба, сенокос, отвозка сельских произведений на базар для продажи и т. д. Все эти занятия, как справедливо выразился один из почтенных наших односельчан, имеют издали вид гулянья, но спросим себя по совести, так ли это? Нет, это – не гулянье, ибо для того, чтоб вспахать полдесятины земли (обыкновенный дневной крестьянский урок), нужно пройти пешком не меньше двадцати верст по почве, в которой вязнут ноги, пройти, упираясь всем телом в соху. Это – не гулянье, ибо для того, чтоб скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урок), нужно сделать бесчисленное количество взмахов косы, причем напряжение человеческих мышц равняется, по малой мере, напряжению, делаемому при поднятии двухпудовой тяжести. Это – не гулянье, потому что, во время сопровождения воза до базара, стужа захватывает дыхание, снег лепит глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбежна при наших расстояниях и которая не полагается ни во что. А рубка дров? а пилка теса и досок? а земляные работы? Одним словом, куда бы я ни обратил взоры, как бы ни старался отыскать крестьянское занятие, сколько-нибудь льготное, – я ничего не нахожу, кроме самой горькой, никогда непрерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя он сам почтил этим наименованием только летнее время. Нет, не только летом (лето – это крестный путь крестьянина), но круглый год, и зиму, и осень, и весну, – никогда он не освобождался от ига страды. О, господи! я – человек уже в летах, и мне стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступают к глазам моим! Они грозят прервать мою речь в самом начале ее, ибо передо мной стоит еще вопрос громадной важности, которого я до сих пор не коснулся, – вопрос о том, какие радости, какие удобства и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?

.....

К сожалению, окончание речи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо с этой минуты сновидения мои приняли резко хаотический характер. Я помню, что кто-то стремглав прибежал и голосом, исполненным ужаса, крикнул: едут! едут! Я помню, что за этим криком последовала невообразимая паника, среди которой один Крамольников остался невозмутимым, и мне показалось даже, что на его губах играла улыбка. Я помню звон колокольчика, и потом еще чей-то голос: а, голубчики! бунтовать!.. Затем всё исчезло...

Утром я встал с головною болью, и первую мою мысль было: а нет ли еще какого-нибудь помощника архивариуса или главноначальствующего над курьерскими лошадьми, которого бы тоже можно было подкузьмить по части юбилейных торжеств?

ДЕТИ МОСКВЫ

В каком ты блеске ныне зрима,

Княжений, царств великих мать!

Москва! России дочь любима!

Где равную тебе сыскать!

.....

Твои сыны, питомцы славы,

Прекрасны, горды, величавы,

А девы – розами цветут...

И. Дмитриев

Г

Немногое, сказанное в этих стихах, исчерпывало почти все содержание моего отрочества. С самых ранних лет я тяготел к Москве, чувствовал себя сыном ее. Здесь я получил первые впечатления бытия, здесь же заложены были во мне начальные основания русской грамматики по Востокову. С наслаждением, полным благоговения, декламировал я стихи Ивана Ивановича Дмитриева, не упуская при этом из вида, что автор их, сам сын Москвы, был в свое время министром юстиции. Меня не смущала даже странность, оказывавшаяся при синтаксическом разборе

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru первого четверостишия, а именно, что, по своеобразной генеалогии, придуманной поэтом, Россия, будучи матерью Москвы, становится бабушкой относительно княжений и царств. Напротив, это казалось даже трогательным. Ежели мать – баловница по ремеслу, то для бабушки и придумать другое занятие трудно. Каких желать лучших условий для процветания княжений!

Княжения! это слово, изданное Карамзиным в двенадцати томах (в то время еще у всех в свежей памяти), наполняло мою душу восторгом. Казалось, что и на меня, сидящего в четырех стенах «заведения», падает оттуда какой-то луч, и что, не признай я за этим волшебным словом освещающего значения, я немедленно утону в безрассветной тьме, а вместе с тем утрачу и право именовать себя «питомцем славы». А для меня это право было очень важно, ибо оно давало в будущем возможность, умалчивая о не весьма славных чинах, вроде коллежского регистратора или отставного корнета, прямо подписываться: «к сему заемному письму питомец славы такой-то року приложил».

Вообще я был юноша восторженный, любящий и благодарный. Я всех благодарил: великого князя Святослава – за то, что он ел конину, спал под открытым небом и имел свидание с Иоанном Цимисхием; великую княгиню Ольгу – за то, что она искусно отомстила древлянам смерть Игоря; великого князя Владимира – за то, что он сказал: веселие Руси есть пити (я уже в то время догадывался, что слова эти предвещали вольную продажу вина); царя Иоанна III – за оказанную им распорядительность относительно Новгорода; царя Иоанна IV – за то, что он покорил Казань и принял под свою державу богатую Сибирь («Богатая Сибирь, наклоньшись над столами»)… Но в особенности я был благодарен учителю русского языка за то, что он на все эти темы заставлял нас писать «сочинения», в которых я с гордою настойчивостью употреблял выражения вроде: «стольный град», «стогны», «дружина», «стяг» и проч. И по какому-то странному психическому процессу, все эти признательности сердца приурочивались мной всецело, исключительно – к Москве. Даже Святослав, Ольга, Владимир неразрывно связывались с представлением о Москве, хотя, разумеется, они и в помыслах держать не могли, что где-то на севере, в отдаленном будущем, явятся «собиратели» и будут, подобно гоголевской коробочке (с значительной, впрочем, примесью чичиковской изобретательности), класть в одну кучу и мед, и пух, и сушеные грибы, и даже мертвые души. Хорош был славный город Новгород, но он омрачил себя вечевою неурядицей; еще лучше был стольный город Киев, но и он омрачил себя, подпав под иго иноверца; одна Москва ничем себя не омрачила, и за это удостоилась высшей в мире награды: именовать сынов своих «питомцами славы» (тогда мне казалось, что звание это представляет собой что-то вроде общедоступного камер-юнкерства, для получения которого не требуется протекции).

Москва! как много в этом слове
Для сердца русского слилось! –
всечасно восклицал я, и опять, по тому же странному психическому процессу, рядом с этими стихами припоминались мне и слова великого князя Святослава: не посраммим земли русский, но ляжем костью, мертвые бо срама не имут!

Умрем! ляжем костью! – вот слова, которые пламенем горели в моей благородной душе, как будто и тогда уже чувствовалось, что смерть есть единственное в своем роде благо, которому предназначено в будущем освобождать «питомцев славы» от уз срама.

Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника), я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург. И тут продолжала меня преследовать Москва, и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов. Я до сих пор не могу забыть споров о том, где больше кондитерских, в Москве или в Петербурге, и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтоб отстоять хотя в этом отношении славу «порфиноносной вдовы» перед выскочкой Петербургом. Я припоминал и о кондитерской Тени на Арбате, и еще о какой-то кондитерской у Никитских ворот, и, благодаря тому, что политические мои противники игнорировали большую часть равносильных кондитерских, которыми изобиловали Мещанские, Мастерские, Офицерские и проч., выходил из споров победителем. Этого мало: когда мы, москвичи (а нас было в «заведении» довольно), разъезжались летом на каникулы, то всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского, затем вылезали из экипажа и целовали землю, воспитавшую столько отставных корнетов, в просторечии именующих себя «питомцами славы».

Так шло дело вплоть до упразднения крепостного права. Я вышел из «заведения», поступил на службу и, как говорится, жил – не тужил. Себя называл «питомцем славы», а на отечество и его историю смотрел с точки зрения маневров Ходынского поля. Быть может, читатель не поверит, но это было именно так: будучи уже балбесом лет двадцати пяти, я все еще сны наяву видел. Россия представлялась мне месторождением сказочных витязей, «прекрасных, гордых, величавых», а история ее – каким-то светозарным кругом, в котором княжения сменяли друг друга, не оставляя после себя ничего, кроме славы. Слава! слава! слава! восторженно твердил я наяву и во сне:

Грозные полки идут.
Золотое вьется знамя.
На штыках играет пламя,
Ба-ррабаны громко бьют,
Грррромко бьют! [2]

И что еще удивительнее: все это не мешало мне в то же время и «заблуждаться», что в ту пору (да, кажется, и теперь) было строго воспрещено. Вот как странно перебиты и перепутаны были тогдашние сновидения «питомцев славы»!

Даже тогда, когда под стенами Севастополя совершилась искупительная жертва и когда, вслед за тем, в обществе начали ходить слухи о предстоящих реформах, – и тогда я не вдруг освободился от угнетавшего меня угара, но все продолжал верить, что никакие силы в мире, никакое волшебство не в состоянии разжаловать меня из «питомцев славы» в не помнящие родства (а о пришествии «червонных валетов» я даже и не подозревал). Ничто не казалось страшным потомку тех витязей, которые, менее полувека тому назад, побывали в Париже и всю Европу наполнили громами побед и славы. Реформы! – но ведь это только добавочный луч к тому солнцу славы, в котором мы, «питомцы славы», и без того искони утопали! Реформы! – ведь это лишь новый вариант на тему «разумейте языцы», которая и прежде, с юных лет, составляла излюбленное содержание наших сновидений! Над чем же тут задумываться? И я не только не задумывался, но отвлеченная, лучезарная точка зрения и на этот раз осталась во мне преобладающею. Ничто практическое, будничное не смущало парения моей мысли. Мысль сделалась нетерпеливою, нервной; она даже не довольствовалась единичною какою-нибудь реформою, но стремилась вперед и вперед, прозревая в близком будущем целый ряд преуспеваний. Сперва – воля крестьянам, потом – воля вину, затем – начатки самоуправления: хочешь – чини мосты, хочешь – нет, хочешь – на пароме переезжай, хочешь – вплавь переправляйся! – и, наконец, открытые настежь двери в суды: придите и судитесь, сколько вместить можете! Все это уже заранее прозревала моя мысль, и все это именно так и случилось...

Свершилось! добрая весть о падении крепостного права в один день облетела всю Россию. Самоотверженность, с которою «питомцы славы» принесли на алтарь отечества свои «права» (теперь я позабыл, в чем они состояли, но тогда не только помнил, но даже по пальцам их перечислял), наполняла меня гордостью, а безграничные перспективы, которые при этом открывались, приводили в восторг. Все художественные инстинкты моей души были разом взбудоражены, я не загадывал, не примеривал, не определял, я только метался. В увлечении своем я даже того не понимал, что мои новые восторги служат косвенным укором моим старым восторгам. Я был так рад, что могу наконец говорить, что, действительно, говорил много и с убеждением, говорил с утра до вечера, волнуясь, радуясь, негодуя... Но что всего ужаснее и чего я в то время совсем не заметил: по мере того как «разговор» овладевал мною, я совершенно нечувствительно договаривался, договаривался и наконец договорился до того, что начал изображать прежнюю «славу» в несколько смешном виде.

Клянусь, я сделал это «так», без ясного разума, но, во всяком случае, это была очень горькая ошибка с моей стороны. «Смешной вид» – вещь очень опасная, особенно если он служит подспорьем для подкрепления восторгов и притом является орудием в руках «питомца славы», и без того одержимого художественными инстинктами. «Смешной вид» берет человека в полон и иногда сразу решает спор, над которым не худо бы и призадуматься. При том, прибегнув к «смешному виду», я вовсе не решался рассчитывать с прошедшим и выйти из заколдованного круга отвлеченных понятий о «славе»; нет, я упорно пребывал все в том же круге, но только бесконечно расширил пределы его. «Слава» по-прежнему продолжала оставаться моим девизом и питать мои идеалы, но слава, до того уже лишенная границ, что я не мог ни указать на центр ее, ни определить ее содержание иначе, как с помощью сопоставлений и картин. Вот тут-то и сослужило мне службу прошлое,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru но уже не в виде примера для подражания, а в форме архивной справки, в которой все, и слог, и содержание, все представляло сплошной «смешной вид».

Не знаю, надеялся ли я при этом сохранить за собой наименование «питомца славы», но кажется, что не только надеялся, но даже во имя этого наименования и творил чудеса критики и разоблачения. Откровения сыпались за откровениями. Сколько веков мы твердили о силе – и оказались слабыми; сколько веков мнили себя богатыми – и оказались бедными. А между тем и богатство и сила состояли вне всяких сомнений (иначе на чем же основывалось бы наше представление о «славе?»), но только неизвестно было, где, в каких недрах они лежат. Свидание Святослава с Иоанном Цимисхием не давало по этому предмету никаких разъяснений, а потому гораздо более целесообразным представлялось свидание кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым. Уж они-то наверное знают, где раки зимуют! Стрелов! Дерунов! Прожженные! Идите и проповедите, како на обухе рожь молотить!

Все это было и великодушно, и «славно», а отчасти даже и справедливо. Но каким образом я не догадывался, что, возлагая на Стрелова, Дерунова и прочих «непомнящих» обязанность строить будущую славу России, я тем самым устранял самого себя от всякого участия в строительстве, – этого я решительно не берусь объяснить. Последствия доказали, однако ж, что «смешной вид», вместе с незнанием, в каких недрах скрываются сила и богатство России, были первым шагом к обезличению «питомцев славы» и что за сим, как ни упорны были их усилия продолжать именовать себя таковыми, но в ближайшем будущем их уже ждала иная кличка, более соответствующая «смешным» веяниям времени, а именно кличка «червонных валетов».

Дальнейшим испытанием моих представлений о «славе» явились выкупные свидетельства. Не могу не сознаться, что даже в самый разгар моих симпатий к меньшей братии надежда на выкупные свидетельства никогда не оставляла меня. Язык говорил: до последней капли крови! а тайный голос шептал: дадут же, однако, что-нибудь! И действительно, выкупные свидетельства были отпечатаны... и я не имел силы отказаться от них! Не мог же, однако, я не понимать, что самоотверженность, эта обязательная спутница «славы», по самому существу своему, безвозмездна! И не настолько же я неразумен, чтоб рассчитывать на такое счастливое стечение обстоятельств, которое поможет мне и капитал приобрести, и «славу» соблюсти!

И как диковинно мы – не я один, а все мы, «питомцы славы», – поступили с этими выкупными свидетельствами! Одни, увлекшись учением об искусстве на обухе рожь молотить, накупили плугов, молотилок, веялок, в чаянии утратить ими недра земли; другие, более верные чистым принципам «славы», разделили выкупную ссуду по равной части между трактирами: московским, новотроицким и саратовским. То была последняя вспышка доказать, что представление о «славе» еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки – про то знает только грудь да подоплёка!

Во всяком случае, ни армии, ни флоты, ни кадетские корпуса, одним словом, ничто из всего цикла учреждений, составлявших когда-то необходимую обстановку «славы», – при этом не выиграли. Из целой массы выкупных свидетельств ни одного клочка не было дано на поддержание славы действительной, той, которая позволяла нам с полным основанием восклицать: с нами бог! никто же на ны! Все сполна было истрачено па покупку устрашающих машин, тотчас же оказавшихся негодными, и на бесчисленное количество рюмок водки, на дне которых все больше и больше выяснялся образ «червонного валета» с бубновым тузом на спине.

Эти первые эмансипационные рюмки привели за собой множество других. Вслед за крестьянскою волей объявлена была воля вину, и в природе произошло нечто неслыханное. Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом не производили таких восторгов. Бесконечный лиризм охватил больших и малых, сильных и слабых. Слепые прозрели, чающие движения воды нзяли под мышку одр и на рысах побежали в кабак. Даже торжественных од не предостало надобности сочинять, потому что каждый кабак, в эту всерадостную минуту, был сам по себе воплощенной торжественной одой, освобождавшей «питомцев славы» от непосильных витийственных упражнений.

«Повреждение нравов», признаки которого были уже замечены при первых выдачах выкупных свидетельств, приобрело тем большую яркость, что усложнилось повреждением умов. Пьяный лиризм, охвативший сердца при известии о падении откупов, мало-помалу улегся и уступил место пьяному эпосу. Создалось особое

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пьяное ремесло, тяжелое, мрачное, от которого пахло самоубийством. Прежде люди предавались кутежам, как бы отбывая повинность молодости и в расчете со временем остепениться; теперь – они делались пьяницами навек, без всякой надежды на вытрезвление. Прежде, при слове «пьяница», воображению представлялось нечто вроде особенного сословия, ряды которого преимущественно наполнялись между приказными; теперь это название сделалось всесословным, почти всенародным. В таком положении застали нас земские учреждения.

Но так как, под влиянием «упойительных напитков», мы уже не могли в это время отличить воды от суши, дороги от забора, то очевидно, что подобная же неясность должна была закрасться и в наши понятия о своем и чужом. Начали пропадать земские деньги. Ничто не спасало: ни коллегиальные порядки, ни контроль властей, ни замки. От «хладных финских скал до пламенной Колхиды», повсюду слышалась одна и та же до назойливости однообразная песня: унесли! Правда, что и тут еще замечались проблески представления о «славе» – унесенные деньги, собственно говоря, не были украдены, а только разделены поровну между трактирами: патрикеевским, лопа-шовским и Эрмитажем, – но за эти проблески начали уже сажать в тюрьму.

«Червонный валет» созрел, вышлифовался и выработался окончательно.

И что всего прискорбнее – месторождением его оказалась та самая Москва, сыны которой еще так недавно с гордостью именовали себя «питомцами славы». Оставалось только ждать толчка, который выдвинул бы это порождение новых веяний времени из укромных углов, в которых оно скрывалось, и представил на суд публики в целом ряде существ, изнемогающих под бременем праздности и пьяной тоски, живущих со дня на день, лишенных всякой устойчивости для борьбы с жизнью и не признающих иных жизненных задач, кроме удовлетворения вожделений минуты.

Обязанность эту приняли на себя новые гласные суды.

II

Что такое вор? какого рода художественный образ представляет собой человек, имеющий о чужой собственности понятия, очевидно, недостаточные и запутанные? в какой форме могут установиться отношения между «вором», с одной стороны, и обывателями и полицией, с другой? – вот вопросы, которые на первом же шагу встречают современного человека при вступлении на поприще жизни.

Классические традиции отвечают на эти вопросы довольно определенно, но как-то чересчур уж голо, и непременно с подчеркиванием. Для классиков не существовало той сложности мотивов, которая нынче, как свои пять пальцев, известна самому простодушнейшему из прокуроров и адвокатов. Сверх того, классики, в своих представлениях о воре, строго придерживались принципа сословности: доблестями высшего разбора (верность, самоотвержение, любовь к престолу и проч.) и таковыми же пороками (измена, коварство, кровосмешение и т. д.) наделяли особ высшего сословия, а доблестями и пороками низшего разбора – наделяли чернь.

Со словом «вор» классическое предание соединяло понятие, не имеющее ничего общего с идеей о «питомце славы». Вор представлялся чем-то отвратительным, заклеянным самой природой. Фаталистически осужденный на присвоение чужой собственности, он, в согласность с этим предопределением, так и устраивал всю свою жизнь. Детство и отрочество употреблял на то, чтоб изодрать прирожденную склонность к воровству непрерывными практическими упражнениями; когда же приходил в совершенный разум, то делал из нее для себя ремесло. Понятно, что при подобном художественном воззрении на вора нельзя было вообразить себе его иначе, как в виде человека, непрерывно воруемого, очень часто излавливаемого, заключаемого в участковый клоповник и, по недостатку улики, обратно оттуда для воровства выпускаемого. Словом сказать, если верить классическим воззрениям, вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге – в доме Вяземского, в Москве – в доме Шилова; человек, постоянно живущий под угрозой переломания ребер, ради кошелька, нередко заключающего в себе не больше двух двугривенных, и, несмотря на эту угрозу, бессознательно влекущийся к этому кошельку, единственно во имя целей, составляющих провиденциальное его назначение. На картинках вора писали (и ныне нередко так пишется) очень типично: в подлой, запятнанной одежде, в рваных сапогах, с гнусной физиономией, явственно говорящей о принадлежности к низкому званию и испещренной ссадинами и синяками, с понурыми взорами, хищнически устремленными на чужой карман, с руками, свидетельствующими о цепкости и проворстве, которое было бы выше всяких похвал,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru если б применялось на пользу ближнему, и которое награждается карой закона и тумачами частных лиц, коль скоро применяется к взлому запертых помещений. Таков классический образ вора, образ до того незатейливый и строго определенный, что самый простодушный из будочников мог прямо отыскать его в толпе, взять за шиворот и вести в участковый клоповник.

Классические представления о «мошеннике» хотя несколько тоньше, но тоже далеко не исчерпывают всей полноты содержания этого типа. Классический «мошенник» уже смотрит опрятнее. Он прилично одет и, судя по наружному виду, успел выбиться из «простого звания». Вот уступка, которую сделало классическое воззрение относительно людей этой корпорации. Зато, во всех прочих отношениях, мошенник так незрело, почти по-детски скомпонован, что питать к нему доверие нет никаких средств. Уверовать в этого человека может только или слепенькая старушка, которая любит, чтоб ей оказывали небольшие услуги безвозмездно, ради одной почтительности, или очень молоденькая девица, только что кончившая культурное воспитание, для которой и то уже благо, что не успела она на улицу выйти, как уж навстречу ей кавалер идет. Но люди, мало-мальски одаренные здравым смыслом, сейчас же заметят: а) что у мошенника платье хотя и «хорошее», но все-таки поношенное, с чужого плеча; б) что лицо у него, не без намерения, нарисовано наперекоски и в) что ноги выгнуты колесом, ступни несоразмерно длинны, а руки без перчаток и красны, как у лапчатого гуся. Сверх того, ни один художник-классик никогда не отказывал себе в удовольствии надеть «мошенника» озирающимся видом, который так и говорит: а вот погодите, какую сейчас с вами штуку сыграю. Очевидно, однако ж, что никакой штуки он не сыграет, ибо с озирающимся видом и вывернутыми ногами никто его до большого дела не допустит. Напротив того, обыватель самый смиренный и тот, насмотревшись вдоволь на классического «мошенника», не только не устрашится, но улыбнется и скажет: хорош «мошенник», но это не тот, которому суждено когда-нибудь надуть меня!

Классическое представление о казнокраде уже значительно полнее, и причина этому очень понятная: самое занятие казнокрадством предполагает известную внешнюю облагороженность. На картинках, посвященных изображениям казнокрады, мы, по большей части, встречаем жуира, с полным брюшком, предвещающим толк в кушаньях и винах, с заплывшими, но лукаво смеющимися глазками, с несколько масляным (все-таки признак подлого происхождения!), но открытым лицом, на котором написано безграничное гостеприимство. Вообще говоря, концепция эта и остроумна, и не лишена жизненной правды; но все дело портит тот исключительно провиантско-комиссариатский характер, который слишком уже густо ложится на всю обстановку картины. Зачем, например, эти лампадки, которые горят перед образами в дорогих окладах? зачем этот угол окованного сундука, выглядывающий из глубины картины? зачем эти ключи, которыми вооружены руки казнокрады, в знак того, что он сейчас только опустил украденное сокровище на дно сундука и теперь благодарит своего создателя за ниспосланный ему насущный хлеб? Все это, коли хотите, довольно затейливо, а быть может, даже и умно, но умно как-то по-детски. Вам нужно видеть «всего» человека, а вы видите только профессиональную, провиантскую его обстановку, да и то не всю, а только ту часть ее, за которую казнокрад несомненно должен пойти под суд. Невольно приходит на ум вопрос: неужели это кругленькое брюшко составляет необходимое последствие и как бы тавро казнокрадства? неужели этот человек только тем и занимается, что опускает в сундук украденное сокровище, и потом, совсем по-дурацки, благодарит создателя, держа в руках ключи? Нет, это не так. Наверное, у него есть семейство, в котором он являет себя примерным мужем и отцом; есть начальники, относительно которых он являет себя примерным исполнителем предначертаний и почтительным подчиненным; есть подчиненные, между которыми в двух словах сложилась его репутация: строг, но справедлив; есть приятели, быть может даже вовсе не причастные казнокрадству, которые его любят, потому что он, во всякое время, готов «одолжить». Наконец, он служит гласным в городском или земском собраниях, состоит членом благотворительных обществ, и во всех этих собраниях и обществах его мнение имеет вес, как согласное с обстоятельствами дела и притом почти всегда либеральное. Конечно, должны быть у него минуты, когда он прячет украденное сокровище, но, во-первых, для этого, по нынешнему времени, совсем не нужен окованный сундук, а во-вторых, это именно только минуты, и притом до того исключительные, что их-то, наверное, никто у него подметить не мог. Странное дело! даже жена казнокрады досконально не знает, откуда идет добыча и как она велика, и только догадывается, что бог нечто послал, а художник, изволите видеть, все видит и знает! Да и не только думает, что знает, а все-таки прямо и рекомендует почтеннейшей публике: вот, дескать, человек, который сейчас украл!

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Такая простота в обращении с внутренним естеством человека свидетельствует о несомненной и великой простоте нравов. Времена процветания классических традиций, очевидно, совпадали с мифологическим золотым веком, когда, с одной стороны, не существовало науки о том, как на обухе рожь молотить, а с другой – не было ни выкупных свидетельств, а следовательно, и повреждения нравов, ни вольной продажи сивухи, а следовательно, и повреждения умов. Мошенники действовали просто, то есть ловили обывателей арканами, а их столь же просто брали тогдашние будочники за шиворот и отправляли в часть.

Нынче хищничество всех видов и форм (вот что значит примесь элемента «питомцев славы»: даже новое слово «хищник» придумали, взамен старого и столь определенного слова «вор»!) до того усложнилось, или, лучше сказать, слилось с всевозможными ремеслами, из которых одни положительно ставятся в пример благонамеренной деловитости, другие же хотя и не ставятся в пример, но слыт в обществе под именем милых шалостей, – что даже очень тонкий наблюдатель вряд ли сумеет в точности определить, где кончается благонамеренность и где начинается «хищничество». Я, по крайней мере, нимало не буду удивлен, ежели будочники усомнятся, как им в данном случае поступать, то есть брать ли воров за шиворот, согласно указаниям дореформенной практики, или делать под козырек, согласно с правилами вежливости, установившимися вследствие вольной продажи вина? В самом деле, это очень трудно, ибо все в данном случае запутано, темно, загадочно. Кто знает, быть может, в образе каких-нибудь арканщиков скрываются совсем не мошенники, а упраздненные иомудские и каракалпакские принцы (их развелось так много, благодаря успехам русского оружия), которые, ловя арканами обывателей, выражают этим способом тоску по родине и утраченному величию? или, быть может, это какие-нибудь «питомцы славы», которые, во имя «славы», вчера разменяли в Москве, в гостинице «Крым», последние выкупные свидетельства, а сегодня, преследуемые тем же представлением о «славе», нагрянули на беззащитных обывателей, дабы, обременив себя добычей (ведь все заправские средневековые рыцари так поступали), вновь возвратиться в гостиницу «Крым» и там уже окончательно утонуть в лучах солнца славы, то есть предварительно попасть в острог, а оттуда, быть может, и в места не столь отдаленные?

Вот эта-то всесословность действий, предвиденных такими-то статьями уложения о наказаниях, и представляет собой источник великой современной полицейской скорби. Дело идет не об том, как поступить с мошенником низкого звания, с гнусною физиономией и в запятанном пальто (какого можно и должно прямо брать за шиворот), а о том, как подойти к тоскующему иомудскому принцу, о помолвке которого с дочерью концессионера Губошлепова на днях объявлено, или к «питомцу славы», еще вчера дирижировавшему танцами на балу у предводителя дворянства?

Но этого мало: современное воровство, утратив кастовый характер и странным образом перепутавшись с благонамеренностью, пошло и еще далее, усложнилось до того, что сделалось неосязаемым, не допускающим мысли ни о поличном, ни об ответчике. Господа «арканщики» слишком добры: их арканы все-таки еще могут, от времени до времени, фигурировать на столе вещественных доказательств в зале заседаний суда; но что сказать об аркане духовном, который невидимо и недосязаемо парит над современным человеком и в то же время самым реальным и грандиозным образом заявляет о своих хищнических свойствах? кто этот новоявленный, загадочный «вор»? какие отличительные его признаки? какие меры представляет жизнь для обороны против него?

На эти вопросы ни современный суд, ни современная жизненная практика, ни современное искусство просто-напросто не дают никакого ответа. Суд хотя и выбрасывает ежедневно в публику целую массу фактов, но сам, в большинстве случаев, действует на основании классических традиций, то есть карает «мерзавца» заведомого и нимало не разъясняет представления о «мерзавце» невидимом, но всеми явственно уже чувствуемом. Жизнь и искусство успели взбудоражить сомнения, пробудили в современном человеке чувство тупого беспокойства, но, в конце концов, тоже указали только на пустое пространство...

Классические традиции упразднены, как недостаточные и, видимо, не удовлетворяющие современному уровню цивилизации, а новых учений о «новом воровстве» не издано, кроме разве упомянутого выше учения о том, как на обухе рожь молотить, каковое, однако ж, тоже в счет нейдет, потому что признается не только незазорным, но и обещающим несомненные прибыли для тех, кто принял твердое намерение следовать его указаниям. Таким образом, все утрачено: и надежда спокойно спать, положивши деньги на текущий счет, и руководящая нить в

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
различении мазуриков, которые украдут лишь столько, сколько успеют, от таких, которые, как говорится, не оставят и синь пороха, да, сверх того, заставят бесплодно метаться и взывать: господи! да что ж это! да каким же это образом... всё, всё, всё!

Воспитанный в лоне классицизма, я до сих пор относился к сословию воров поверхностно и в различении их руководился исключительно наружными признаками. Я не боялся ни за мой кошелек, ни за мою шкатулку, ибо был уверен, что покуда я живу в мире с будочником, который вообще мною заведует, – он оградит меня во всех путях моих. Он знает, говорил я себе, всех воров не только по наружному виду, но и по имени и отчеству, и, стало быть, ежели вор полезет ко мне ночью в окно, то он крикнет: эй, Ванька! сегодня в этом доме не воруй, а воруй вон там, по соседству! Но теперь, когда внешние признаки перепутались и стерлись, когда воруют не по ночам, а среди бела дня, когда вор-мошенник, как каста, перестал быть опасным, а явился угрозой в виде тонкого начала, насыщающего атмосферу, когда сами будочники остановились в недоумении перед величием реформы, превратившей «питомца славы» в «червонного валета», – признаюсь, я струсил!

Каждый день вынимаю я из шкатулки последнее мое выкупное свидетельство, смотрю на него и никак не могу взять в толк, мне ли оно принадлежит или какому-то Иксу, которого я даже назвать по имени не могу. Мысль эта до такой степени мутит меня, что иногда просто хочется, чтоб у меня поскорее украли это злосчастное выкупное свидетельство. Ведь, сравнительно, это все-таки более благоприятный исход, нежели покончить жизнь в духовном аркане, брошенном верною, но невидимую рукой!

Представление об этом духовном аркане, разжигаемое почти ежедневными повествованиями газет то о «червонных валетах», то о банкротствах самых несомненных столпов, сделалось до такой степени обыкновенным, будничным, почти обязательным, что незаметно вошло в мой ежедневный обиход.

Я присутствую на бале, смотрю на выходки милых молодых людей, которые так ловко танцуют и так убедительно объясняют своим дамам, между второй и третьей фигурами кадрили, что прелюбодеяние есть одна из привлекательнейших форм современного общежития, – и не могу свободно отдаться наслаждению, которое возбуждает во мне и эта ловкость, и эти умные разговоры, и этот соединенный блеск свечей и женских бюстов. Мысль, что у меня лежит в кармане бумажник и что покуда я зеваю по сторонам, а этот очаровательный юноша делает в пятой фигуре соло, он, этот бумажник, словно волшебством, может очутиться совсем в другом кармане, – эта горькая мысль отравляет все мои радости. Конечно, я не только не имею прямых оснований указать на кого-либо из этих обворожительных молодых людей, как на причину этой отравы, но даже самому себе сознаться в своей подозрительности стыжусь, – но и за всем тем, не могу унять расхोлившегося чувства самосохранения, не могу не страдать! И зачем только я этот бумажник с собой брал! в сотый раз мысленно укоряю я себя, – оставил бы его дома... Но ведь и дома... ах, как отлично подделывают нынче ключи! точно ассигнации или векселя: и не узнаешь фальшивого от настоящего!

Другой случай. Я прихожу в Казанский собор, с твердым намерением испросить себе «ангела верна», без которого, по нынешнему строгому времени, шагу ступить нельзя. Но едва начинаю я заводить глаза и отлагать житейское попечение, как рядом со мной становится почтенного вида мужчина, на которого я невольно заглядываюсь. Он так благообразен в ореоле своих сединок, так скромно вошел в божий храм и стал на место, так смиренно поклонился на все стороны, так вкусно сотворил первое крестное знамение и затем с таким сердечным сокрушением пал на колена, что я просто-напросто думаю: вот милый старикашка! чай, и грехи-то у него куриные, а он так беспокоит себя! Подумавши это, я, конечно, вновь обращаюсь к молитве и помаленьку опять начинаю отлагать житейское попечение. И вдруг, чувствую, что меня что-то кольнуло в бок. В сущности, однако ж, меня ничто не кольнуло, а только вспомнилось, что в кармане моем лежит бумажник. Опять эта проклятая идея! И где же, в виду кого! В виду этого почтенного, благообразного, убеленного сединами мужчины, который... Каюсь: я сто раз, тысячу раз не прав; но разве терзания, которые я в эту минуту испытываю, не служат достаточным возмездием за несправедливые подозрения, которые родились во мне при виде благоговейно склонившегося старца?

Третий случай. Я сижу в итальянской опере и, в ожидании поднятия занавеса, думаю: так как мы, «питомцы славы», рождены для вдохновений, то уж теперь-то я досыта наслушаюсь соловьиных трелей, которые изведут мою душу из темницы

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru паскудной действительности и перенесут ее в мир «сладких звуков и молитв». Но едва раздалась первые аккорды увертюры, как я уже ощущаю беспокойство, сначала смутное, а потом все более и более отчетливое, и опять-таки преимущественно сосредоточивающееся около того пункта, где находится мой бумажник. Я начинаю озираться (вот кому приличествует озираться, господа классики! не мошеннику, а тому, который имеет основание трепетать перед мошенником!), я не могу спокойно усидеть на месте и беспрестанно вглядываюсь в физиономии моих соседей по креслу. Я отлично понимаю, что в эту минуту и в этом месте бояться мне нечего, – и исе-таки боюсь. Не реального чего-нибудь, а волшебства. Зачем я его взял с собой! тоскливо спрашиваю я себя: ведь здесь нужен только двугривенный, чтоб отдать за сохранение шубы... и эта шуба! ах, эта шуба, где-то она теперь?! Между тем аккорды, один другого слаще, следуют своим чередом. Занавес бесшумно взвизгивает, и целый гром рукоплесканий возвещает, что началось производство трелей. Но я ничего не слышу, все думаю: а что, если этот старичок, у которого глаза бегают и нос крючком, – что, если он и есть тот самый волшебник и маг, который в совершенстве постиг тайну обращать чужие кредитные рубли в старую газетную бумагу и, наоборот, свою собственную газетную бумагу – в кредитные рубли? Гонимый этою мыслию, я с трудом досаживаю до конца первого действия, и едва успевает застыть в воздухе последняя трель, как я уже вскакиваю с кресла и бегу в коридор: шуба! где моя шуба?!

Наконец, четвертый случай: я захожу в гастрономическую лавку. Я облюбовал фунт семги и фунт винограду, товар мой уже свешен и завернут, остается, стало быть, заплатить и уйти. Но едва протянулась моя рука к карману, в котором лежит мой бумажник, как я припоминаю, что мне следует уплатить всего каких-нибудь рубль пятьдесят копеек, а в бумажнике у меня целых сто рублей. Между тем в лавке людно, один покупатель сменяет другого, во всех углах раздаются чавканье, и нет никакой надежды, чтоб этот гомон хоть на минуту переমেжился. Я тревожно всматриваюсь в пеструю толпу и решительно ничего не могу различить. Все люди как люди, у всех лица одинаково напоминают стертые пятиалтынные старого чекана, ни на одном не написано: сия физиономия принадлежит вору, но ни на одном, однако ж, не видно и ясного ручательства, что чужой кошелек – святыня! И вот я решаюсь выждать, пока толпа отойдет; жду полчаса, жду час. Это становится настолько оригинальным, что приказчики начинают от времени до времени взглядывать на меня, а один даже довольно развязно напоминает: вот, господин, ваша покупка! Но я все еще креплюсь, перехожу от одного лакомства к другому, словно надумываюсь, что бы еще купить, как вдруг в публике происходит шепот, и до ушей моих долетает странное слово, от которого краска бросается мне в лицо. Наконец старший приказчик подходит ко мне и говорит:

– Господин! коли ежели вы действительно... так извольте взять ваши покупки за благодарность! и пожалуйста в следующий магазин!

Представьте себе! и публика, и приказчики приняли меня за шш... то бишь за члена торговой полиции!

Положим, что моя подозрительность преувеличена до болезненности, положим, что под влиянием процесса московского ссудного банка и рассказов о подвигах «червонных валетов» я сделался нервен и раздражителен, но ведь не всё же в моих опасениях представляется плодом расстроенного воображения! есть же и в них какое-нибудь реальное основание, коль скоро они до того неотступно преследуют меня, что доводят почти до состояния ясновидения! Да и одного ли меня? О, ты, читающий эти строки, ты, от рождения своего беспечно думавший, что жизнь среди «питомцев славы» навсегда освобождает тебя от обязанности запираяться на ключ и спускать шторы всякий раз, как приходится вынимать деньги на расход кухарке, – разве не вопиял ты на все лады: караул! унесли! – когда, подобно трубному звуку, разразилась над тобой весть о крушениях московского банка, Баймакова, Лури и проч.? Разве не метался ты, восклицая в бессильном недоумении: да как же это! да неужто же в самом деле! да почему же, наконец, правительство, начальство, полиция?! Не клялся ли ты, что впредь никогда, никогда...

Да, основание для опасений есть, и притом не фиктивное, а вполне реальное. Спрашивается, однако ж: в каком положении должен находиться принцип собственности, когда со всех сторон несется один и тот же вопль, когда один и тот же трепет обуял все сердца? Что он посрамлен и поруган – в этом, конечно, нет сомнения, но что всего жестче, он посрамлен и поруган не одними «червонными валетами», но и мною с тобой, благосклонный читатель. Ибо и мы с тобою не по поводу принципа собственности вопием и мечемся, а исключительно по поводу того,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что у нас украли столько-то рублей. Так что если бы у нас украли в десять раз меньше, мы в десять раз меньше же метались бы, а если бы украли только гривенник, то, пожалуй, даже и пошутили бы: вот так дурак! на гривенник польстился! А ведь, по-настоящему-то, это не так; по-настоящему, мы должны метаться не только за себя и за други своя, но и преимущественно за принцип. Вот как мечутся, например, прокуроры – безмездно, но в чаянии получить повышение, и адвокаты гражданских истцов – за определенное, по цене иска, вознаграждение.

Предположим, впрочем, что принцип собственности еще как-нибудь да прорвется сквозь облаву, устроенную «червонными валетами», и найдет себе охрану в своде законов (ведь там, собственно говоря, и находится действительное его местожительство), но что наверное и на многие годы останется посрамленным и лишенным всякой охраны – это человеческая мысль, додумавшаяся, под гнетом испуга, до серьезного убеждения, что отныне вся задача человеческого существования должна быть сосредоточена на защите рубля.

Вопли, наполняющие вселенную, по поводу волшебных исчезновений рубля, не только назойливы своим однообразием, но и прямо паскудны. Мало того, что у меня «отнимают», но еще заставляют ломать голову над вопросом: откуда наскочило это отнятие? Да и этого мало: положительным образом удостоверяют, что и завтра повторится тот же процесс отнятия, а за ним и опять последуют те же тщетные усилия выбиться из-под гнета вопросов: как, зачем, почему? И таким образом будто бы пройдет вся жизнь. Эти скверные вопросы оцепили все мое существование, взяли в полон мою душу, отучили меня мыслить, отбили от дела, от всего, что сообщало моей жизни мало-мальски порядочный смысл. Я – маленький человек, но если мне суждено с каждым днем все больше и больше сокращать мою порцию, то я хочу, по крайней мере, знать, ради чего наслано на меня это насильственное сокращение и как называется та бездна, которая притягивает к себе все соки и ничего назад не отдает?

Да, это именно бездна, а не лично тот или другой «червонный валет». «Червонный валет» подвернулся тут только для прилику, как *corpus delicti*, [3] к которому можно признаться, чтоб отвести глаза и приличным образом выйти из затруднения. С единичным «червонным валетом» не трудно управиться (да и управляются: все места не столь отдаленные кишат этою новою человеческою разновидностью), но против неумирающего червонного валета – я бессилён. Ввиду этой неумираемости я должен сложить оружие. Ибо я не могу существовать, если в уме моем безвыходно мечется мысль, что на меня ежеминутно откуда-то надвигается нечто загадочное, непредвиденное, могущее вконец меня подорвать. Я не могу ни предусматривать, ни производить, ни накоплять, ни распределять – зачем? для чего? К чему ведут все извороты и усилия ума, на что нужны труд, талант, аккуратность, умеренность, если завтра, сейчас, через миг покажется из-за угла медузина голова и...

Я знаю, что когда этот миг настанет, когда все уже совершится, тогда явится прокурор и примет мой хладный прах в свое заведование. Он все взвесит, все разберет и за все отомстит. Отомстит – кому? Лично вот этому «червонному валету», который унес у меня столько-то рублей? Помилуйте! да неужто же я до того мелочен, непонятливо зол, чтоб не уразуметь, что во всей этой истории «червонный валет» ни при чем, что он только вещественный знак тех невестественных отношений, перед которыми самые похвальные усилия прокуроров и их товарищей разобьются, как волна разбивается о гранитный утес?

Но допустим даже, что я мелочен и зол и что личная месть могла бы удовлетворить меня, однако и этот крохотный результат едва ли уж так несомненно достигим, как это можно предположить с первого взгляда. Легко сказать: прокурор отомстит, но ведь не соло же он будет выделять на суде, а выйдет навстречу ему адвокат, вынет из кармана святое Евангелие (он уж с неделю назад его в синодальной лавке купил и все рылся: плевелы... плевелы... плевелы... а! вот, наконец, нашел!) и проклянет час своего рождения, убеждая вселенную вообще и господ присяжных в особенности, что истинный виновник постигшего меня умертвия не сей «питомец славы», велениями судеб превратившийся в «червонного валета», а я сам, дурак и простофиля, введший его в соблазн.

Кто устоит в неравном бое?

III

Тоска! некуда деваться, не к чему приступить, не об чем думать! Стучаться в запертую дверь – бесплодно; ломиться в нее – надорвешь силы. Вышла было линия –

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направлению к скамье подсудимых. Даже коренные, прожженные хищники и те удивляются: воруют, а никак-таки наворованное к рукам пристать не может – все, словно сквозь сито, так и плывет, так и плывет... куда?

– У меня, брат, третьего дня деньги унесли, – говорю я, вместо привета, входящему ко мне Глумову.

– А у меня – вчера унесли, – приветствует меня и он в свою очередь.

– У меня Сидор Кондратьич унес, а у тебя кто?

– У меня? а прах их знает! Говорят на Ивана Иваныча, да я не верю. Впрочем, и ты, любезный друг, на Сидора-то Кондратьича клеветешь, кажется.

– Как клевету! Сказывают, что за день перед тем, как объявиться, он сто тысяч унес, веселый такой был!

– Не в том дело. Ведь и мой Иван Иваныч третьего дня уйму денег унес, а сегодня все-таки ни ему, ни семье его жрать нечего!

– Черт знает, однако, что ты говоришь! Куда же он деньги девал?

– Угадай, любезный, подумай! Ты ведь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки... ну, и потрудись!

– Да и тебе, пожалуй, не мешает подумать!

– Нет, брат, я давно уж думать оставил. Живу просто... ну, живу – и шабаш! Глумов остановился против меня, пристально взглянул мне в глаза и запел: ah! ah! que j'aime les milimilimilitairres![4]

– Вот как я нынче живу! – прибавил он, – и вчера в «Буффе» был, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братец, я, люблю эту французскую беспардонность, ибо подобие земного нашего странствия в ней вижу!

Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я человек аккуратный и счет деньгам знаю. Сверх того, я понимаю (очень многие этого не понимают, а женщины – сплошь и рядом), что если у меня нет в кармане расходных денег, то мне, пожалуй, и обедать не дадут. Так что, ежели я, проснувшись утром, замечаю исчезновение дробы, которую я накануне вечером считал законом предоставленной мне собственностью, то это меня огорчает. А тут, представьте себе, не дробы, а прямо целые числа пропадают, обращаются в нули – каково же должно быть мое огорчение! Да, вдобавок еще, начнешь жаловаться, вопиять – а тебе в упор плоские шутки отпускают, говорят, что Сидор Кондратьич здесь ни при чем! Ведь покуда я был уверен, что третьеводнишние мои деньги именно Сидор Кондратьич украл, – все-таки как-то легче мне было! Думалось: можно будет и поприжать молодца! посидит с месяц в Тарасовке (я уж в общую складчину и на кормовые пожертвовал) – смотришь, ан копеечек по десяти и выдавит из себя! А еще с месяц посидит – и еще по десяти копеечек выдавит! Помаленьку да полегоньку, да с божьей помощью, в одном месте давнут, в другом диагностику сделают – гляди, полтина-то и набежала! Полтина... ведь это почти что куш! Полтина... гм... однако ж, только полтина! а другая-то полтина куда же девалась?

Должно быть, много скорби вылилось на моем лице под влиянием этих дум (в особенности же последней), потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моим горем.

– Копил, чай? – сказал он голосом, полным участия.

– Как же, братец! Жена, дети... предусматривал тоже... черт знает что такое! Теперь пристают: вот, папаша, всегда вы так делаете! А прежде приставали: папаша! да отчего же вы Сидору Кондратьичу ваших денег не отдадите? ведь он на текущий счет из восьми процентов берет!

– Да, друг, понимаю я это: тяжко! Давеча утром, ни свет ни заря, ко мне совсем неизвестный генерал прибежал; я еще спал, так разбудить велел. Выхожу: что вашему превосходительству угодно? спрашиваю. – Помилуйте! говорит, дедушка мой

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru копил, батюшка-покойник копил, я сам... да-с, сам-с! копил-с! И вдруг какой-то проходимец в одну минуту все это в трубу выпустил! И весь, знаешь, трясется, брыжжет, руками машет: до государя, говорит, дойду! – Жаль, говорю, что ваше превосходительство так, в один миг... да я-то тут при чем? – А вы, говорит, тоже в числе кредиторов значитесь, так не угодно ли на кормовые пожертвовать, чтоб ему, негодяю, впредь неповадно было?

– Ты... подписал?

– И не подумал. Ивана-то Иваныча – в долговое?! Этакого умнейшего, обстоятельнейшего... словом сказать, финансиста?! Ведь я, десять лет сряду, в него, как в провидение, веровал! в церковь не ходил – всё к нему! шептался с ним! перемигивался! душу перед ним выкладывал! Иной раз на сотню выложишь, в другой – на целую тысячу! И чтоб я стал мины под этого человека подводить! Напротив! я все утро сегодня убеждал, что первый наш долг – об семье его позаботиться... и убедил!

– Ну, нет! мы своего Сидора Кондратьича запрятали-таки. И я на кормовые подписался.

– Что ж – и это ничего! правильно! Вы – «правильно» поступили, а мы – великодушно! но ни мы, ни вы одинаково ничего не получим. Зато, кабы ты видел, какой в нем, в Иване-то Иваныче, переворот вдруг сделался, когда он об решении-то нашем узнал! Все воровство вдруг соскочило, одно просветление осталось! И слезы-то, и смеется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки, однако, не протягивает: понимает, что недостойн!), и лепечет... Все! говорит, вся моя жизнь, все до последней капли крови – все отныне принадлежит кредиторам! И ежели, говорит, я всего, до последней копейки... о, господи!

– Тсс... А кто его знает, может быть, и в самом деле отдаст!

– Нет уж, что уж! Я, брат, говорил с ним об этом. – Вот, говорю, дружище, в новую жизнь вступаешь! – В новую, говорит. – Ведь это, говорю, все равно что снова с коллежского регистратора начинать... трудно! А впрочем, не ропщи, ежели с усердием да с терпением – пожалуй, и опять в тайные советники произведут – Ах, говорит, не для себя я, а для господ кредиторов... Господи! кабы только силы да разумения!.. И вдруг – опять слезы, опять губы трясутся, опять просветление. – Отдашь? говорю. – Вот как перед истинным!.. как на исповеди, так и теперь... послал бы только бог силы да разумения... – Ну, да уж где! не отдаст – это верно. Губы он как-то облизывает и глазами врозь смотрит, когда у бога силы и разумения просит. Да и не расчет ведь ему отдавать-то.

– А ты уверен, что у него ничего не спрятано? что семье его, действительно, нечего есть?

– Куска нет – верное слово тебе говорю. Я и об этом с ним разговор имел. – Куда ж, братец, ты деньги девал? спрашиваю. – Ну, и он тоже меня спрашивает: а вы верите, говорит, что я честный человек? – Верю, говорю. – Так вот, говорит, суди меня бог и государь, ни копейки у меня на совести нет! – Подумай, однако, говорю, может, и вспомнишь! – Ничего я не вспомню, и не знаю, и не понимаю! на неосторожность сослаться – не могу, потому что я всегда достаточно осторожен был... Мотать тоже не мотал, так чтоб уж слишком... Известно, квартира была, экипаж держал... ну, повара нанимал! Сами посудите, при моих делах – как же иначе?

– Да, иначе нельзя! Он ведь на биржу ездил, действительных статских кокодесов обедами кормил – нельзя без обстановки ему обойтись!

– Вот ты и суди! Ни неосторожности, ни мотовства – а в трубу вылетел! И даже сам не может объяснить, куда все подевалось!

– Ну, он-то знает!

– Говорю тебе, не знает. Он, брат, ведь глуп. Вот мы с тобой и досужие люди, а в центре попасть не можем – так ему уж куда! Он всю жизнь словно во сне прожил, благо в заведенное колесо попал. Сегодня на биржу, завтра на биржу, сегодня – купить-продать, завтра – купить-продать: вот и премудрость его вся. Мысли – никакой, итоги – по двойной бухгалтерии сведены. Так-то, брат!

– Чудеса!

– Такие чудеса, что вот я, человек уж искушенный, возьму в руки рубль и не разберу, что у меня: полтинник, четвертак или кусочек третьеводнишной афишки. Покажешь извозчику – тот уверяет: рупь! Ну, и слава богу!

– Да, извозчики покуда еще выручают. Крепкий это народ, достоверный!

– Кнут им бог в руки дал – вот они и думают, что, не кормя, на одном кнуте, и невесть куда доедут!

– И доедут. Потихоньку да полегоньку, тут подпругу подтянут, в другом месте шлею подправят, в третьем – просто хвосты подвяжут: эй вы, соколики!

Сказал я это и задумался. «А как вдруг, со всех четырех ног...» внезапно представилось мне, да так живо представилось, что со всеми подробностями, во всей, так сказать, художественной образности. И круча, и слабосильные разбитые лошади, несущиеся в весь карьер, и гнилой мостишко впереди, и овраг... «Угодят они на мост, или не угодят?» – словно молния блеснуло перед моими глазами, и я совершенно явственно ощутил, как волосы шевельнулись у меня на голове.

– Что задумался? пари держу, что образ какой-нибудь художественный сию минуту воспроизвел? – прервал Глумов мою художественную производительность.

– Помилуй! с какой стати!

– Чего уж – вижу ведь я! И руками уперся, и напряжился, весь корпус в комок собрал... боишься?

– Да как бы тебе сказать...

– То-то я вижу, что ты словно изловчаешься, как бы головой об столб не угодить... Ничего, брат, бог милостив!

– Милостив-то милостив, а денег нам все-таки не отдадут. Плакали наши денежки! и куда они девались... господи! да куда ж они, в самом деле, девались?

– Куда все прочее деваается, туда и они. Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал – понял что-нибудь?

– Гм... да... нет, воля твоя, а у Ландау денежки есть!

– Ты как об этом узнал?

– Должны быть у Ландау деньги, должны! Полянский – тот заплакал, а Ландау... есть у него деньги? есть! Это... это, я тебе скажу... Вот как теперича день на дворе, так и это... Нет, этак нельзя!

Я разгорячился и вскочил с места. Коварство Ландау было так очевидно, так осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, так и металась у меня перед глазами. Полянский – тот, по крайней мере, заплакал, а Ландау...

– Нельзя так! нельзя! нельзя! нельзя! – почти грозно восклицал я.

– Чудак ты, братец! Вдруг закричал, точно из ляписного раствора промывательные ему поставили! А ты образумься, пойми! ведь и у твоего Сидора Кондратьича небось на молочишко осталось, так что ж: копеечку, что ли, на рубль тебе получить хочется?

– Нет, тут не об копеечке речь, а о принципе! Нельзя так! нельзя!

– Нельзя да нельзя – что нельзя-то?

– Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-с, запрещается-с!

– Запрещается – а воруют! Нет, уж ты выйди лучше на площадь, закричи «караул» – может, и полегчит!

Слова эти как будто отрезвили меня, но не вдруг, однако. Некоторое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышал, как в ней урчало: нельзя! Но так как я человек впечатлительный, то минуты через две мне уж самому казалось несколько странным, с чего я вдруг так разгорячился. Как будто и в самом деле до того уж меня ущемило от того, что на днях какие-нибудь три-четыре цифры, по недоразумению, обратились в нули! Пожалуй, со стороны могут еще подумать, что я жадный... Я-то жадный! Я-то!.. да вот у меня выкупное свидетельство осталось – два их было, да одному Сидор Кондратьич на днях другое назначение дал – ну, хотите, я это самое выкупное свидетельство сейчас же, сию минуту...

На мое счастье, Глумов прервал течение моих мыслей и не дал совсем уже созревшему порыву самоотвержения вылететь из груди.

– Ну, вот, теперь у тебя восторженность какая-то в лице явилась, – сказал он, – опять, должно быть, художественную картину воспроизвел!

– Ах, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка – выражение лица подглядывать!

– Зачем подглядывать – прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричал бы: «Человек! шампанского!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты об «червонных валетах» имеешь понятие?

– Знаю.

– Так вот, по-моему, отличнейший наглядный пример. Полянский, Ландау – это, положим, загадочные люди, а в «червонных валетах» даже загадочности никакой нет. Все известно: и сколько наворовали, и где сколько истратили, – все есть! Только одного не видать: каким образом тысячные документы в десятирублевые бумажки превращались.

– Ну, как не видать?

– Именно не видать. Украл он, положим, облигацию или документ в тысячу рублей выманил – ну, известно, первым делом в трактир наведалься, документ за буфет разменять послал, просидел три-четыре часа за полштофом – смотрит, ан у него в руке только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!

– Наел да напил, может быть?

– Нет, и этого не было, потому что у них ведь водка главную роль играет – куда же тут тысячу рублей рассорить! А так вот: один взял с него куртажные, другой – за «поворованное» учел (как прежде за постоянное да за полежалое брали), третий – за то взял, что у таких парней и бог не велел много денег оставлять, четвертый – за то, что воров князьями да графами величал, пятый – за то, что в участок не препроводил... Так она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый дух ее разнес.

– Да, но ты все-таки можешь объяснить себе, куда она разошлась. Эти первый, второй, третий, которых ты сейчас назвал, – все-таки они воспользовались!

– Нет, и они не воспользовались, потому что и с каждым из них та же история завтра повторится. Опять пойдут и куртажные, и за «поворованное», и за величание... А послезавтра уж с тех возьмут, которые вчера взяли... И выйдет на поверку, что из тысячи-то рублей – на сто, много на двести пропито да проедено, а прочее всё на различные незначительные статьи изведено.

– Так что в результате окажется, что вор для того только и ворует, чтоб издержки воровства покрыть? Это, что ли, ты хочешь сказать?

– Именно. А сверх того, еще и то, что ежели бы воры понимали, из-за какой малости они беспокоят себя, так, право, девять десятых из них давно бы эту привычку кинули.

– Да ты, никак, даже жалеешь их?

– Да, заправских воров, тех, которые, со взломом или без взлома, но во всяком

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
случае рискуют своими боками и заранее знают, что не попасть им в места не столь отдаленные нельзя, – тех жалею. А об тех, которые крадут невидимо, которые занимаются только тем, что мой рубль, с божьей помощью, обращают в полтинник, – об тех ничего не говорю: еще не вник.

– А по-моему, так и в заправском воре ничего достойного симпатии нет.

– Ремесло у него тяжелое – вот что. Украсть на полтинник, а измучиться на сто рублей – разве это не каторга? Особенно ежели кто еще не забыл, что он в благородном пансионе воспитание получил.

– Например, твой Иван Иванович?

– А как бы ты думал! Вот я тебе давеча говорил, что у него даже руку кредиторам подать смелости не хватает! у него, которому не дальше как третьего дня стоило только пальцем поманить, чтоб вся эта ватага, сложивши на груди руки крестом, в умилении внимала, как он, понюхивая табачок, бормочет: купить-продать, продать-купить! Нет, пропасть еще в нем совести, пропасть! Уж по одному этому, по одной этой несмелости, ты можешь угадывать, какую он ночь должен был провести накануне того дня, как ему «объявиться» пришлось! Чай, и детство-то всё, и невинность вся прошлая, и папенька и маменька, и первая любовь (он за «нею» двадцать тысяч взял, и тут же их, вместе с прочими, ухнул) – всё, всё перед глазами его пронеслось! Это уж не художественные инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь к этому: он даже не украл, в строгом смысле слова, а только не оправдал доверия... Почему же он совестится и держит себя так, как будто в самом деле украл?

– Да, да, в благородном пансионе воспитывался, похвальные листы получал... Вот и «червонные валеты», и они тоже...

– И их две трети из «питомцев славы» – знаю я и это. Помнишь Дмитриева:

Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы – розами цветут.

– Как же! Как же! Перед приходом твоим только что вспомнил! А помнишь ли, как ты последний стих переделал: И девок розгами секут? Видно, мы уж с малолетства «славу»-то в смешном виде любили представлять!

– Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого уж нет: ни девы розами не цветут, ни девок розгами не секут. Разве под пьяную руку на Козихе, да и то – что за радость, как на мировую пятьдесят рублей сдерут!

– Да, некрасивая это штука – «червонные валеты», и не поздоровится от нее «питомцам славы»! А для меня, признаюсь, еще того прискорбнее, что на скамье подсудимых опять будут фигурировать дети Москвы. Давно ли сидели струсберговцы, давно ли гремели адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди, дети Москвы, и что иных детей Москва отныне и производить не может, – и вот, точно еще недоставало для полноты картины: опять дети, да вдобавок еще... «червонные валеты»!

– И заметь, что если относительно струсберговцев нужно было еще доказывать, что они – дети Москвы, то тут даже доказательств никаких не потребуется. Прямо валяя стихами:

В каком ты блеске ныне зрима! –
всякий присяжный заседатель чутьем поймет.

– И представь себе, что ведь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь...

– А теперь собирает «червонных валетов»? – представляю! Но, во-первых, такому городу, который сам себя называет «сердцем России», надо же что-нибудь собирать, а во-вторых, опять-таки повторю: я и вообще ничего против господ воров не имею, а «червонных валетов» – даже люблю. Русские парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у них на первом плане, а выдумка и смешной вид – где, в какой другой стране ты это найдешь? И притом скромны... ну, право же, скромны! украдет красненькую, четвертную – и будет! И сейчас же спешит из этой красненькой уделить рубль тому, кто его графчиком назовет! Спроси-ка об них у трактирных

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
половых, у извозчиков – все в один голос скажут: душевные господа – первый сорт господа! Нет! право... не знаю, как ты, а я чем больше с ними знакомлюсь, тем чаще говорю себе: хорошо с такими парнями недельку-другую пожить – утешат!

– Ну, меня не особенно к ним тянет!

– Это оттого, что ты в Петербурге засиделся, освежаться редко ездешь. А в сущности, что такое Петербург? – тот же сын Москвы, с тою только особенностью, что имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами. Особенность, может быть, и пользительная, да живется при ней как-то уж очень невесело.

– А по-твоему, лучше в Москве? по-твоему, весело, как над тобой, как над дураком, утешаются, да тут же, с хохотом и с визгом, и существование твое к стати подрывают?

– Дураком никому не весело быть – это я знаю, да ведь не в том и задача веселых русских «выдумок», чтоб «дураку» было весело, а в том, чтоб вот у них, разымчатых парней, сердце играло, да и посторонние чтоб не очень обижались, что в их глазах с прохожего человека пальто снимают. Русский человек любит смешной вид и многое за него прощает – как ты хочешь, а что-нибудь это да значит!

– А именно?

– Да хоть бы то, что русский человек не видит мирового события в явлении, которое само по себе ломаного гроша не стоит; не кричит, не мстит, не хранит затаенной злобы, а может быть даже, – инстинктивно, разумеется, – связывает с этим явлением своего рода внутренний вопрос... Согласись сам, можно ли сердиться, например, на такую выдумку, об которой я на днях от одного москвича слышал. Встречается «червонный валет» в трактире или в другом публичном месте с иностранцем и, разумеется, как малый общительный, вступает с ним в разговор. Не забудь, что «червонный валет» хоть и «вор», но это отнюдь не мешает ему быть обворожительным молодым человеком. Манеры у него – прекрасные, разговор – текучий, и при этом такие обстоятельные сведения о Москве, об ее торговле, богатствах, нравах, обычаях и прочее, которые прямо свидетельствуют о всестороннем и очень добросовестном изучении. Иностранец тем более очарован, что с этими манерами и сведениями соединяется безграничный досуг и чисто славянская готовность услужить, успокоить человека, находящегося вдали от родины, среди чужих. Мало-помалу – конечно, не в один и не в два дня – очарование приносит желаемый плод: иностранец, в свою очередь, делается излиятельным. Происходит обмен мыслей, произносятся жалобы на обилие за границей капиталов, делающее помещение их до крайности затруднительным, и в результате оказывается, что Россия есть единственная в мире благословенная страна, в которой капитал, без труда (ежели не украдут), может приносить очень серьезный процент. Как только разговор установился на этой почве, так «червонный валет» уж смотрит на своего собеседника, как на «фофана». И вдруг – мысль! продать этому «фофану» казенные присутственные места. Сказано – сделано. Весь клуб «червонных валетов» в движении: один бежит к экзекутору присутственных мест и предупреждает его, что на днях его посетит знатный иностранец, интересующийся вопросом о чижовках вообще и московских в особенности; другой – наскоро нанимает помещение и устраивает в нем псевдонотариальную контору; третий – спешит щегольнуть такими фальшивыми документами, чтоб лучше настоящих были; четвертый – готовится разыграть роль владельца-продавца; пятый, шестой – просто радуются и думают: вот-то удивится «фофан»! Словом сказать, все заняты и всем весело. В назначенный день происходит осмотр; экзекутор, как истинно гостеприимный хозяин, показывает: вот чижовка! вот еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валет служит при этом переводчиком, стучит кулаком об стену и говорит: милорд! посмотрите, какая толщина! Потом едут к нотариусу, получают с иностранца задаточные деньги, провозжат его в гостиницу, и затем – все исчезает. Ни нотариуса, ни очаровательного молодого человека, ни владельца дома – ничего. Остаются лицом к лицу: экзекутор, который еще раз готов казенные чижовки лицом показать, и знатный иностранец, который никак не может втолковать экзекутору, что он этот дом купил и надеется получать на свой капитал не меньше десяти процентов... Скажи по совести: будь ты в числе присяжных заседателей, неужели ты мог бы рассердиться на такую «выдумку»?

– Да ведь сердиться и не требуется; требуется только сказать, совершенно ли мошенничество, о котором идет речь, или не совершенно?

– То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопрос ответить: виновен ли такой-то в совершении мошенничества или невиновен?

– Конечно, виновен! тут и сомнения не может существовать!

Признаюсь, я сказал это хоть и бойко, но насколько было в этой бойкости искренности – это еще вопрос. Как ни странно это может показаться, но рассказ Глумова о продаже здания присутственных мест произвел во мне некоторое раздвоение: с одной стороны, представлялась законопреступность деяния, с другой – выдумка. Ежели первая стояла вне всяких сомнений, то вторая... можно ли, при обсуждении дела, в котором главную роль играет «выдумка», обойти эту «выдумку»? справедливо ли исключить ее из счета обвиняемого? На всякий случай предположите, например, что, по беспримерной снисходительности суда, в числе прочих вопросов, предложенных на разрешение присяжных, значит следующий: «заключает ли в себе выдумка об отчуждении здания казенных присутственных мест настолько завлекательности, чтоб заинтересовать людей, коих природное веселонравье в значительной степени возвращено и выхолено полученным в благородном пансионе воспитанием?» – что могут ответить на него присяжные?

По моему мнению, тут может произойти одно из двух: или присяжные, убоясь скандала, попросят их от ответа уволить, или же они сойдут в глубины своей совести и, не найдя там ничего, кроме веселости, вынесут ответ: «Да, выдумка достаточно завлекательна». Это будет, конечно, скандал, но скандал ведь и в первом случае неминуем, потому что самое отступление перед трудностями разрешения доказывает ясно, что вопрос только по форме представляется скабрёзным, а по существу затрагивает самые чувствительные струны человеческого существования.

Но, возразит мне читатель, присяжные ведь могут ответить и так: «Нет, ничего завлекательного в выдумке «червонных валетов» не видится». Да, они несомненно могут и так ответить, но клянусь, что подобным ответом они все-таки отнюдь не избегнут скандала. Ибо, кроме официальных присяжных, в зале суда присутствует еще целая толпа присяжных неофициальных, которые, наверное, найдут вынесенный приговор не только противоречащим веяниям времени, но и прямо кляузным. «Суди, да не засуживай!» – вот общий голос, который вынесется навстречу мертворожденному решению, и я, право, не знаю, насколько выиграет от этого «институт» присяжных.

– И их, разумеется, поймали? – продолжал я, обращаясь к Глумову.

– Разумеется, поймали, и притом со всеми онёрами: с раскаянием, с разоблачениями, с детскими противоречиями. Но ты вот что сообрази: во-первых, они взяли со знатного иностранца за свою выдумку не больше четырех-пяти тысяч рублей, что, при разверстке между членами братства и за исключением издержек, дало не более полутора – двухсот рублей на человека; во-вторых, они всё дело вели почти открыто, и не только не замечали своих следов, но, наверное, отпраздновали свою победу над «фофаном» самым шумным образом и притом непременно в таком месте, куда самая простодушная полиция – и та получила свободный доступ. Разве таковы признаки настоящего мошенника? Мошенника современного закала, например, который прямо из кармана не ворует, а невидимо превращает рубль в полтинник, не оставляя за собой ни поличного, ни ответчиков, ни даже истцов?

– Хорошо, оставим на время «червонных валетов». Какое же, по-твоему, средство избавиться от того невидимого вора, о котором мы сейчас упомянули? Каким образом так устроить, чтоб хоть завтрашний-то день, благодаря ему, не стоял перед нами угрозой?

– Ты это насчет того, что ли, чтоб завтра было что дать на расход кухарке? ну, на это и без экстренных мероприятий средства еще найдутся.

– Нет, ты не шути, тут не о кухарке речь, а вообще... Жить сделалось неловко – вот что! Деньги – какие-то загадочные сделались, кредита – нет... Прежде вот «портфель» был, ну, «баланс» тоже, а теперь, сказывают, и «портфель», и «баланс» – всё потеряли.

– На этот счет я могу тебя успокоить: обращено внимание!

– Славу богу! Ты разве слышал что-нибудь?

– Достоверно знаю. Вчера, как из собрания кредиторов шел, – Левушку Коленцова встретил. «Поздравь меня, говорит, я уж в Семиозерск не еду!» – Что так? говорю, то охотился, а теперь вдруг... «Другая миссия представляется, говорит. Entre vous soit dit, [5] на днях имеет быть возбужден... ну, вот, насчет этого «портфёля»... так я»... И назвал мне такую миссию, и с таким, братец, содержанием, что я, от удовольствия, пальцем его прямо в живот ткнул!

– Ну, хорошо... ну, будет, положим, комиссия... что же эта комиссия сделает?

– Да печаль твою рассеет – и то хорошо. «Портфёль» отыщет, «баланс» подведет...

– Поди, чай, опять сто один том «Трудов» издадут?

– Уж это само собой!

– Прескверная эта привычка у наших комиссий... Да притом и «Труды»-то... представь себе, ведь Левушка Коленцов участие в них принимать будет!

– Доверия, что ли, в тебе он не возбуждает? – напрасно! Не знаю, как насчет «баланса», а насчет «портфёля» ему бог такой разум дал, что он любого финансиста за пояс заткнет!

– То-то, что только насчет «портфёля»!

– А ты не торопись! сперва пускай «портфёль» сыщет, а потом догадается, что и без «балансу» нельзя – и «баланс» поднесет.

– То-то на экономических обедах радость будет! Только, воля твоя, а у меня эти сто один том «Трудов» из головы не выходят. Покуда они потрошат, да соображают, да округляют...

– А мы будем жить, время проводить. Вот об струсберговцах еще забыть не успели, а уж «червонные валеты» грядут! И не увидим, как время пролетит!

– Но ведь ты сам сейчас говорил, что в общественном смысле, как знамение времени, значение «червонных валетов» – неважное!

– И все-таки! Конечно, в громадном процессе отнятия и исчезновения, охватившем вся и всё, роль этих молодых людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что большая часть их еще очень недавно называла себя «питомцами славы», «детьми Москвы» и другими звонкими именами, какие нынче даже и адвокату на язык не вдруг взбредут. Ведь это тоже чего-нибудь да стоит! Так вот ты и займись ими, пока Левушка Коленцов будет «портфёль» и «баланс» отыскивать. А о прочем не тужи и, главное, не копи денег, потому что Сидор Кондратьич, коли захочет, – всё равно отнимет!

Я решился последовать совету Глумова. Хоть я и уверен, что все идет к лучшему в лучшем из миров и что не только «портфёль» с «балансом», но со временем даже и «стыд» будет отыскан (недаром Глумов говорит: стыд – это главное! покуда «стыда» не будет – ничего не будет!), но, в ожидании этих благ, время все-таки проводить надо. Так я и поступаю. Сегодня – окриляюсь надеждами; завтра – увядаю. Один день читаю в газетах: усилия г. Коленцова, по-видимому, близки к осуществлению, и есть надежда, что не только портфёль будет отыскан, но и баланс подведен. А на другой день в тех же газетах читаю: с появлением на сцену новых действующих лиц, гг. Бритнева и Юханцева, надежды г. Коленцова рассеялись как дым. Портфёль вновь исчез, и на этот раз, кажется, безвозвратно...

А время между тем идет да идет. И все, слава богу, живы.

ПОХОРОНЫ

Скучно жить на свете, господа!

Гоголь

Мы уныло шли за траурными дрогами, изредка только перебрасываясь отрывочными замечаниями. Быть может, нам не об чем было беседовать друг с другом (хотя почти все, составлявшие печальный кортеж, были по профессии литераторы), но, может

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемония, располагала к угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русского литератора, не особенно знаменитого, но и не вовсе неизвестного – так, средней руки. Хоронили на счет семидесяти пяти рублей, которые ассигновал Литературный фонд, предварительно, впрочем, удостоверившись, что покойный пил водку только перед обедом и «не предаваясь». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившим морозам, на улицах было сухо и слегка скользко; низко, почти над самыми домами, стояла непроглядная масса серых облаков, из которых попархивал первый снежок. Близких по крови у Коршунова не было, из близких по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудников газеты, в которой, под конец жизни, участвовал покойный. Эти последние ближе жались к гробу, но и их горесть формулировалась как-то чересчур несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: вот и умер! Вообще весь кортеж состоял из пятнадцати – двадцати человек, разбившихся по группам. Всем было не по себе, все шли понуривши голову, как будто каждый думал: вот скоро надорвусь и я... да и над чем надорвусь!! Только какой-то проворный газетчик, ликуя под впечатлением успешной розничной продажи, порхал от группы к группе и таинственно сообщал всем, и хотевшим, и не хотевшим слушать: вчера разошлось двадцать восемь тысяч номеров!

На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство, отслужили литию. Сам покойный пожелал этого и накануне смерти говорил: пускай хоть по поводу моего переселения в лучший мир совершится сближение литературы с цензурой! Во время литии цензурный сторож пронес в ворота ведро алых чернил, и кто-то громко, без предварительной цензуры, сострил: вот писательская кровь, невинно пролившаяся! Но и эта острота ни в ком не вызвала отголоска, и затем кортеж убийственно медленным шагом потянулся дальше.

Чувство бесконечной отчужденности и наготы овладевало всяким при взгляде на эту бедную обстановку. Думалось, что везут какого-то отщепенца, до которого никому из «публики» дела нет (а он именно для «публики»-то и жил, и ради «публики» безвременно зачах и сошел в могилу). Да и своих не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» уж давно освоились с могилами. Даже больше, чем просто «отщепенство», тут виделось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердию допущена эта бедная церемония, предметом которой служила совершенно особенная и притом не вполне безопасная человеческая разновидность, именуемая русским писателем.

По мере того как дроги приближались к месту назначения (Митрофаниевское кладбище), кортеж, и без того немногочисленный, постепенно редел. Одни разбрелись по попутным кондитерским и кухмистерским, обещавшись «нагнать», – и не нагнали; другие окончательно возвратились по домам, мотивируя свое отсутствие спешностью предстоящей срочной работы. У Обводного канала оказалось налицо не больше шести-семи человек, которые прежде не догадались, а теперь уж совестились улизнуть. Обстоятельство это, однако ж, послужило к оживлению кортежа; оставшиеся скучились, и беседа между ними пошла бодрее. Но предметом этой беседы служил не Пимен Коршунов («он умер» – этим все было сказано), а то, что наболело на душе у каждого, что у всех на памяти свело в могилу десятки надорвавшихся людей, что каждого из переживших преследовало по пятам, устранив всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь от ига жгучей боли.

О, литература! о, змея-мачеха всех этих отщепенцев! ты, постылая! ты, напоющая оцтом и желчью сердца своих деятелей! ты, ты была предметом их внезапно ожившегося собеседования! Много сетований, много гнева слышалось в их речах, но еще больше бесконечной любви к постылому ремеслу и какой-то детской уверенности, что все-таки только тут, на этом тернистом пути, кишат всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумеется, начали со слухов, имевших ближайшее прикосновение к современности. Какое отношение может иметь эта животрепещущая современность к литературе? чего нужно ждать? будет ли лучше? Все эти вопросы как-то искони фаталистически тяготеют над литературой, а по временам врываются в нее с особенной назойливостью. Естественно, что они перенеслись и сюда. Кто-то из собеседующих высказался, что лучшие времена недалеко и что ввиду этого требуется только осторожность и терпение; но остальные отнесли к этим надеждам скептически, хотя терпеть соглашались, потому что «не терпеть» – нельзя. Один даже такой выискался, который прямо объявил, что надеяться можно только на розничную

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru продажу, а больше ни на что; что современные условия литературного ремесла таковы, что самое существование литератора представляется чем-то несомненным с здравыми традициями о внутреннем убеждении; что вообще, если относительно массы смертных принято говорить: благо живущим, то в применении к русским писателям правильнее выразиться так: благо умирающим, и еще большее благо – умершим. Высказавши это, он указал рукой на колебавшийся впереди на дрогах гроб, и это напоминание невольно вызвало у некоторых чуть заметную дрожь.

– Я не говорю уже о том, – продолжал расхившийся оратор, – что мы терпим от глада и труса, что мы живем чуть не в засаде, но мы не знаем даже, для чего и для кого мы пишем. Кто нас слышит и что извлекает этот слышащий из обращенного к нему слова? Многие из нас готовы положить душу (да и действительно полагают ее) «за други своя», а кто знает об этом? Кто отличит страстного литературного труженика от легкойвесной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомек, что где-то, в какой-то лишенной света и воздуха литературной норе, ежемгновенно совершается жертвоприношение, при котором сердце истекает кровью и сгорает многострадальная писательская душа под бременем непосильных болей?

Речь эта несомненно страдала некоторыми риторическими преувеличениями, но сущность ее была небезосновательна. Стали разыскивать: что такое русская публика? из каких элементов она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которых русский писатель волнуется в своей конуре? С какими намерениями они подписываются на журналы, покупают книги? что они вычитывают в этих книгах? может быть, видят в них только пресловутую «фигу»? а может быть, кроме «фиги», и видеть-то нечего?

– Ах, господа, господа! – вздохнул кто-то, когда дело дошло до «фиги», как мерила для оценки содержания русской книги.

Что современная русская литература небогата силами – это, конечно, не подлежит сомнению. Но не в этой относительной бедности скрывается главная беда. Есть нечто гнетущее, что, при самом рождении, кладет на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и дондесь представляет два совершенно отличные типа: с одной стороны, недоконченность, невысказанность, боязнь; с другой стороны – такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, в воздухе носится еще крепостное право. Оно провело заповедную черту, под которой похоронило громадное количество явлений и закупило наглухо целые мириады существований, которые бьются где-то на дне, тщетно усиливаясь выйти на божий свет. И оно же вызвало и пригрело бесчисленное множество литературных паразитов, которые с изумительным легкомыслием вливают яд распутства в русский жизненный обиход.

Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только одна капля его. Эта капля слишком специфически пахла, а потому и приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а крепостное право осталось. Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело пути, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконец, оно же вызвало целую орду прихлебателей-хищников, которых деятельность так блестяще выразилась в бесчисленных воровствах, банкротствах и всякого рода распутствах.

Само начальство изнемогает под бременем борьбы с этим недугом. Возьмем для примера хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тем она бьется и чувствует себя точно в капкане. Во всех странах, где существует точь-в-точь такая же свобода, – везде литература процветает. А у нас? У нас мысль, несомненно умеренная, на которую в целой Европе смотрят как на что-то обиходное, заурядное, – у нас эта самая мысль колом застряла в голове писателя. Писатель не знает, в какие чернила обмакнуть перо, чтоб выразить ее, не знает, в какие ризы ее одеть, чтоб она не вышла уж чересчур доступною. Кутает-кутает, обматывает всевозможными околичностями и аллегориями, и только выполнив весь, так сказать, сложный маскарадный обряд, вздохнет свободно и вымолвит: слава богу! теперь, кажется, никто не заметит!

Никто не заметит? а публика? и она тоже не заметит? ужели есть на свете обида более кровная, нежели это нескончаемое езопство, до того вошедшее в обиход, что

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
нередко сам езопствующий перестает сознавать себя Езопом?

Дойдя до этого заключения, все отдали полную справедливость либеральным намерениям начальства. Не начальство стесняет – оно, напротив, само неустанно хлопочет – стесняет сама жизнь, пропитанная ингредиентами крепостного права. Что может начальство противу разнообразных и всемогущих влияний, которые, подобно бесчисленным электрическим токам, со всех сторон устремляются к одному центру – литературе? что может оно, ввиду громов, готовых разразиться каждоминутно и неведомо по какому поводу? что может оно, наконец, ввиду того литературного распутства, которое ревниво комментирует мысль противника, а по временам не откажется и прилгать?

Вот почему покойный Коршунов никогда не роптал на литературное начальство, хотя, как человек грешный, иногда и любил ввести его в заблуждение.

– Поддержать, брат, нас некому – вот в чем беда! – сколько раз говаривал он мне, – читатель у нас какой-то совсем особенный, словно не помнящий родства: ни любовь его, ни негодование – ничто в грош не ставится!

Когда я напоминал об этих словах покойного, то все опять принялись разыскивать, из каких элементов состоит русская читающая публика. Перечисляли, перечисляли (выходило как-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанию и однообразно по костюму) и в конце концов опустили руки. В заключение рьяный оратор, который так красноречиво говорил о писательских жертвоприношениях, каким-то болезненно-надорванным голосом крикнул:

– Читатель! русский читатель! защити!

Но возглас этот потерялся в шуме деревьев, охраняющих Митрофаниевское кладбище.

Мы были у цели. Церковь была полна народа и гробов. Гробы были почти сплошь бедные, только одна усопшая раба божия Пулхерия, 1-й гильдии купчиха, смиренно возвышалась на катафалке, против самого алтаря, в богато изукрашенной домовине. По ее поводу за обедней пели «хорошие» певчие, и, благодаря этому обстоятельству, и Пимен воспользовался сладкогласным пением. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпеливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка из недавно кончивших курс, который посвятил себя умершему литератору и сказал, по поводу этой смерти, увенчанной отверженное существование, отличнейшее, полное глубокого сострадания слово. О, Пимен! если бы ты мог из своей домовины слышать эти простые, полные любви слова, ты, наверное, по великой своей скромности, воскликнул бы: батюшка! я человек маленький, и, право, рисковать из-за меня...

Наконец мимо нас пронесли с парадом усопшую 1-й гильдии купчиху Пулхерию, и церковь мало-помалу начала пустеть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятников и решеток и наконец нашли уголок, в котором готова была свежая могила. Через полчаса все было кончено.

С кладбища мы зашли было в одну из ближайших кухмистерских, где обыкновенно устраиваются поминальные торжества, но минут с пять потолкались перед буфетом, поглазели на собравшуюся публику и, не совершив возлияния, разбрелись по домам.

Я знал Коршунова довольно хорошо. Это был человек всецело литературный, живший одною жизнью с русской литературой, не знавший никаких интересов, кроме интересов литературы, не вкусивший ни одной радости, которая не имела бы источником литературу. Он с жадностью следил за всеми подробностями литературного движения, за всякою литературной полемикой; он ничего не знал, ни с чем не хотел иметь общения, кроме литературы. Ныне этот тип мало-помалу исчезает, но еще в недавнее время таких людей встречалось достаточно. Я не могу сказать наверно, насколько ценны и существенны были интересы, их волновавшие, но наверно знаю, что, только благодаря их горячей преданности, их беззаветной, не поддавшейся никаким невзгодам любви, их самоотверженному долготерпению, русская литература не прекращала своего существования.

Эти люди на весь мир смотрели лишь постольку, поскольку он представлял материал для литературного воздействия. Многие, даже в то глухое время, над этим посмеивались. Говорили: вы всё с вашими мизерными литературными интересишками

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru носитесь. Ну, что такое ваша литературная бессильная стряпня в сравнении с плавным и неусыпающим движением административного механизма! Вот где истинный центр жизни, вот где настоящее жизненное творчество! А задача литературы – забавлять и безвредным образом занимать досуги читателей.

В то время такого рода приговоры считались безапелляционными. В любом указе губернского правления предполагалось больше творческой силы, нежели, например, в произведениях Гоголя. И точно: указ губернского правления объявлял о рекрутском наборе, напоминал о своевременном вносе податей, предписывал о пополнении продовольственных запасов, предупреждал, угрожал, понуждал. Словом сказать, и прямо, и косвенно врезывался в жизнь множества людей: одним давал возможность тучнеть, других заставлял вытягиваться в струнку. Напротив того, действие повести Гоголя, относительно большинства читателей, ограничивалось только взрывом хохота, и только в редких случаях производило что-то похожее на отрезвление. Но для того чтоб оценить это отрезвление, надобно было самому быть уже достаточно трезвым.

Коршунов и подобные ему очень хорошо понимали, какая область им отмежевана. Они нимало не обижались мнениями о ничтожестве литературных «интересишков», в сравнении с величественным воздействием административного механизма, а просто приняли их к сведению. Но зато они ушли в раковину и уже упорно не выходили из нее. Однажды убедившись, что жизнь есть администрация, они относились к ней отчасти робко, отчасти как к чему-то фантастическому, заповедному и не поддающемуся анализу. Сонное видение, которое подчас могло воплотиться и ушибить, – вот в чем заключалось представление о жизни в понятиях тогдашних литературных пустынных.

Все существование литературного подвижника проходило в этой отчужденности, посреди которой душа человеческая не знала иного идола, кроме литературного «делания». Все жизненные силы и привязанности были сосредоточены тут, а остальной мир, даже мир близких по крови и воспитанию, представлялся как бы бессодержательной формой, которая напоминала о себе лишь в качестве докучного спутника, навязанного слепую судьбой. Но эти не особенно блестящие труженики были люди свободные духом и вполне чистые сердцем, в которых литература нуждалась едва ли не больше, нежели в личностях, бьющих в глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы их не было, литература перестала бы существовать. Они имели бесповоротные привязанности и бесповоротные вражды; они и любили, и ненавидели одинаково беззаветно и страстно. Тогдашняя литература как-то сама собой поделилась на два лагеря; причем не допускалось ни смешений, ни компромиссов, ни эклектизма. Говорят, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность, – в этом позволительно усомниться. По крайней мере, довольно странно представить себе Белинского, от времени до времени понюхивающего с Булгаринным табачок. Во всяком случае, если это и была односторонность, то она спасала литературу от податливости. Ежели и в наши дни тяготение к дому терпимости составляет, по мнению некоторых, язву, которая подтачивает лучшие основания литературной профессии, то можно себе представить, что было бы, если бы это тяготение существовало – тогда?

К счастью, тогда была замкнутость, явление, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорум и положившее начало некоторым литературным преданиям, на которые не без пользы можно сослаться и ныне. Право, не без пользы.

Коршунов пробавлялся почти исключительно рецензиями. Да более любезного сердцу дела и подыскать было невозможно, потому что, в то время, в отделе критики и библиографии сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пимен не был «критиком», но рецензент из него вышел отличный: цепкий, обладавший фразой и умевший прятать концы в воду. Тогдашние рецензии были своего рода руководящие статьи, имевшие предметом не столько разбираемую книгу, сколько высказ по ее поводу совершенно самостоятельных мыслей. Краткость не была в числе достоинств этих статей, но зато в них всегда что-нибудь «проводилось». Разумеется, очень часто (даже более, чем часто) проводимое, благодаря бесчисленным покровам, под которыми оно скрывалось, было понятно только членам «кружка», но – случайно – оно могло проникнуть и далее. Я заранее соглашаюсь, что теперь ни на одну из этих статей никто не сошлется, что им суждено покоиться безмятежным сном в тех толстых томах, где они увидели свет; но иногда все-таки сдается, что не бесследны они были. В свое время некто над ними задумывался; в свое время они производили в человеческих душах известное наслоение, и притом периодически и всё в одну и ту

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru же сторону. Что нынче они совсем, совсем ненужны – это бесспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсем другое было. Движения имели меньше простора, но зато они были, так сказать, поневоле приурочены, так что область ангельская резко отличалась от области аггельской. Журналов и книг было меньше, но между ними не было межеумков, которые сегодня кажут кукиш в кармане, а завтра раболепствуют. И хоть я не буду утверждать это наверное, но кажется, что и читатель, мало-помалу, узнал, в чем заключается секрет тех бесконечных баснословий, которыми отличалась литература того времени.

Нечего и говорить, что Коршунов был беден, как Ир. Тогдашний журнальный гонорар очень мало походил на нынешний, да сверх того и самое поле литературной деятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая одним или двумя органами печати (из наиболее распространенных, потому что прочие сами едва дышали), была слишком скудна, чтоб напитать всех желающих. Поэтому те, которые почерпали средства к жизни только в литературном ремесле, положительно бедствовали. Коршунов был бледен и тощ от недостаточного и худого питания, но он не только не жаловался на это, а просто, кажется, забывал, что существует впроголодь. Его волновало совсем другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притом разнообразная, разбросанная по всевозможным ведомствам. Я не говорю, чтобы цензора были люди жестокие, но они сами постоянно находились как бы на скамье подсудимых, потому что в их сторону отовсюду направлены были стрелы. Ежели прибавить к этому, что, вследствие такой разбросанности цензуры, всякий (даже не цензор по профессии) вычеркивал из корректуры или из рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будет, как мудрено было проскользнуть.

Пишущая братия это знала, и потому всякий замахивался как можно шире, в предвидении, что ежели три четверти и будет выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутым. Даже Булгарин не пренебрегал этим приемом, потому что и в отношении к нему цензура была нелицеприятна. Конечно, никто не считал его «разбойником пера», но так как и он мог провраться, то, следовательно, и из-за него могла выйти «история». Сверх того, он был бельмом на глазу, потому что подсиживал писателей противоположного лагеря, и, стало быть, в то же время подсиживал и цензуру, яко виновную в слабом смотреии. Цензор Крылов всем безразлично говорил: я никак не желаю, чтоб мне из-за вас лоб забрили! Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусин-Пушкин был назначен попечителем учебного округа, то многие цензора содрогались при одном напоминании об нем и зачеркивали всегда две-три строки лишних. Они усиливались попасть ему в мысль, но, вместо того, часто попадали на гауптвахту, откуда, как известно, недалеко и до рекрутского присутствия. Это был тот самый Мусин-Пушкин, которому некогда профессор Горлов посвятил свой курс политической экономии и в посвящении упомянул о всех чинах, должностях, званиях и орденах своего патрона. Вышла почти целая страница, и я помню, что в школе мы эту страницу певали хором на мотив «верую во единого». Вот какой это был строгий человек, что даже несомненно либеральный партизан принципа *laissez passer, laissez faire*, [6] и тот, как мог, ублажал его. Что же мудреного, если корректура возвращалась к автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, как кровью, но и доведенная почти до степени бормотания. В тогдашнее время эти цензурные проказы назывались «окошками в Европу».

Вот в каком щекотливом положении находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ее служители! Нынче все это заменено предостережениями и арестом книг и журналов, что, конечно, несравненно удобнее.

И вот все, что не могло прорваться в печать, высказывалось в интимных беседах, имевших чисто кружковой характер. Замкнутость и общие невзгоды удивительно как сблизали людей. На эти бедные и скудные вечера так и тянуло. И несмотря на то что почва для беседований имела характер чисто отвлеченный и что, благодаря общему единомыслию, критики почти не существовало, – все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились с этих вечеров поздно, восторженные, полные ежели не намерений, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовых тогда не было) не только не хватали их, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсем занапрасно терпят муку мученскую от своего начальства, которое, в свою очередь, такую же муку мученскую терпит от своего начальства (это была целая лестница). Да, тогдашние будочники ничего не знали ни о подрывании авторитетов, ни о потрясении основ, о чем нынче всякий

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
подчасок без малейшего затруднения на бобах разведет.

О, будочки и всех сортов кварталные доброго старого времени! да оскудеет рука моя, если она напишет недоброе слово об вас! Мир и благоволение да починут над могилами вашими, если вы уж достигли пристани, и да удесятерится ваш пенсион, если вы еще продолжаете пользоваться таковым!

Как бы то ни было, но Коршунов существовал. Три четверти этого существования были поглощены вопросом: пройдет или не пройдет? остальную четверть наполнял ответ: нет, не пройдет. Но иногда случалось нечто чудесное: прошло! совсем прошло! Это была радость; это были те редкие солнечные, теплые дни, которые, по временам, прорываются и среди сумерек туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкие минуты, доставляемые и цензурою; но нужно было пройти сквозь целый искус горчайших испытаний, чтоб оценить эту случайную минутную сладость. Нынешняя печать не знает таких минут, потому что она свободна.

Наконец наступила эпоха возрождения. Радовались все, а литература – по преимуществу. Из сфер отвлеченных, заоблачных, она сходила на арену действительности, делалась участницей жизненного праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за их решением. Да, блюла, и даже делала выговоры и замечания. Отовсюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденции, спешившие довести до сведения блюстителей возрождения, что

...лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой.
Каждой птицей востепенулся
И весенней полон жаждой...

Литература гордилась этим пробуждением, записывала на скрижалях своих его признаки и приписывала себе инициативу его. Цензура, с своей стороны, тоже не препятствовала общему веселию, хотя в государственном бюджете, по-прежнему, назначалась соответствующая сумма на заготовление красных чернил и карандашей. В конце концов, веселье до того обострилось, что в «Московских ведомостях» г. Валентин Корш объявил прямо: «живем хорошо, а ожидаем – лучше», и с этим девизом переехал в Петербург, где и приступил к редактированию «С.-Петербургских ведомостей».

Пимен не то чтоб порицал общее ликование, а как бы держался в стороне от него. Это многим казалось странным, а между прочим и мне.

– Помилуй, голубчик, – говорил я ему, – как же ты не разделяешь общей радости! Сравни недавнее положение русской литературы с теперешнею почти свободой ее – и ты, конечно, сознаешься, что это уж не фантазмагория, а факт. Во-первых, литература не имеет надобности прибегать к езоповским аллегориям, а может говорить ясным и выразительным языком. Во-вторых, она смело вкладывает пальцы в родные язвы и, не выжидая начальственных по сему предмету мероприятий, сама предлагает средства к уврачеванию. В-третьих, она не только не трепещет перед начальством, но прямо сознает себя силой, с которой нельзя не считаться... Ужели это не победа?

На это он отвечал мне не то уныло, не то загадочно:

– Так-то так, и я, конечно, вместе с прочими, очень признателен начальству за его благосклонную к литературе снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожит меня.

– Что же тут может тревожить?

– Боюсь я: гаду много в литературе заведется. До сих пор русские писатели держались особняком, а если кто из них и чувствовал в себе поползновение к податливости, то или совестился высказываться, или же понимал, что в результате этой податливости может быть только грош, так что, собственно говоря, и компрометировать себя не из чего. А теперь с этой «практической ареной» – смотри, какая скачка с препятствиями пойдет! Изю всех щелей бойцы вылезут, и всякий непременно будет добиваться, чтоб ему дали возможность товар лицом показать! Ну, и насрамят.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Прежде всего, это было несправедливо и даже как будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновым относительно бойцов, выползающих из щелей, показалась мне до того неожиданной, что в голове моей невольно мелькнула мысль: уж не стоит ли он на страже литературного единоторжия? Но не успел я надлежащим образом формулировать мой вопрос, как он, Пимен, уже угадал его.

– Нет, я не об этом, – сказал он совершенно наивно, – я не за кусок свой боюсь – Христос с ними, пускай конкурируют! – а за литературу. Право, за литературу!

– Но где же факты? – воскликнул я, – что дает повод сомневаться в будущем нашей литературы?

– И фактами похвалиться не могу – времени для фактов еще мало – но имею предвидение... Я вижу людей, лица которых должны были бы потускнеть, а между тем они сияют. Но мало того, что эти господа не чувствуют себя сконфуженными, ь– они, напротив, забегают вперед и об том только и думают, как бы повычурнее лягнуть то, перед чем они еще вчера, у всех на глазах, раболепствовали. Разве это не страшно?

В виду подобных предвидений, спор, очевидно, утрачивал всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кроме того, оставался и еще вопрос, который в высшей степени тревожит меня: что же он, Пимен, предполагает делать с собою?

– Неужели же ты бросишь литературу? – спросил я.

– Нет, не брошу, – ответил он, – во-первых, деваться мне некуда, во-вторых, чем я лучше других? а в-третьих, и новость дела меня не страшит: стоит только привыкнуть да изловчиться – и все пойдет как по маслу. Ведь все эти так называемые «жизненные вопросы» таковы, что, право, любая курица может об них написать с три короба руководящих статей.

– Да, но ведь и статьи в таком случае будут куриные?

– А ты думал, что теперь потребуются статьи орлиные?

Как ни странны были эти ответы, но они меня успокоили, потому что в них проглядывала покорность судьбе. Надо сказать при этом, что в начале эпохи возрождения Пимен участвовал в одном толстом журнале, но вскоре как-то так случилось, что журнал прекратил существование, и вследствие этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену «живых вопросов». К счастью, как раз кстати, в это самое время наш общий друг, Менандр Прелестнов, затеял в Петербурге новую газету и устроил при ней Пимена в качестве передовика. Первые шаги Коршунова на этом новом поприще были, конечно, довольно робки и нерешительны, но, мало-помалу, он стал поправляться, поправляться – и через месяц так изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшего. Однако, странное дело, всякий раз, когда я принимался за чтение коршуновских статей, меня почему-то так и обдавало каким-то специфическим куриным запахом...

Тем не менее, несмотря ни на возрождение, ни на куриный запах статей, Пимен все-таки не утратил старой привычки трепетать. Я помню, однажды он принес мне статью, смысл которой заключался в том, что ежели будочник накрыл вора на месте преступления и не настолько физически силен, чтоб однолично стащить его в квартал, то всякий мимоидущий обыватель немедленно обязывается оказать ему содействие. Статья была написана горячо, убежденно и даже несколько назойливо, то есть совсем так, как приличествует страстно клохчущей курице. Положение слабосильного будочника, в виду грозящей обществу опасности, было изображено таким перекатным бурмицким слогом (*style perlé*[7]), каким умеют писать только могиканы сороковых годов; напротив того, обязанность мимоидущего обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами резкими, почти приказательными. Одним словом, так эта статья была хороша, уместна и благовременна, что я тут же не преминул поздравить Пимена с успехом.

И вдруг он меня поразил.

– Хорошо-то хорошо, – сказал он, – я сам понимаю, что по нашему месту лучше не надо. Да вот в чем штука: пройдет или не пройдет?

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Помилуй, любезный друг! – разгорячился я, – да какое же, наконец, имеешь ты право сомневаться в этом! Могу удостоверить тебя, что не только пройдет, но даже, если позволительно так выразиться, пройдет с удовольствием!

– А помнишь, Булгарин говаривал: о действиях и намерениях начальства не следует отзываться не только в смысле порицания, но ниже в смысле похвалы. Стало быть, содействие слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего ответь мне на вопрос: имеем ли мы право публично заявлять, что бывают слабосильные будочники?

– Почему же не заявить?

– Потому что это, хотя и отдаленное, но тем не менее все-таки несомненное порицание. Кто определил будочника? – квартальный! Кто определил квартального? – частный пристав! А затем и пошло, и пошло. Вспомни-ка, как об этом в Булгарине пишется?

– То Булгарин, а теперь...

– Нет, мой друг, в сущности, Булгарин отлично понимал, в чем тут суть. Ни порицания, ни похвалы – вот истинный принцип по всей чистоте. Потому что, где есть похвала, там есть уж рассуждение, а где рассуждение – там корень зла. От рассуждения недалеко до анализа, от анализа до порицания. А потом пойдут несвоевременные притязания, подрывания, потрясения... Нашему брату публицисту нужно азбуку-то эту наизусть знать!

– Какие, однако ж, у тебя допотопные теории! Разумеется, осторожность никогда не лишняя, но не слишком ли уж ты пересолил, голубчик? Вспомни, что теперь совсем другое время, что теперь всякое благонамеренное указание, особливо ежели оно сделано благовременно...

Однако, как я ни старался разуверить его, он так-таки и остался при своем: пройдет или не пройдет?

Разумеется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатление, так что один статский советник искал даже случая познакомиться с ним. Пимен сам рассказывал мне об этом замечательном казусе.

– Пришел, братец, ко мне на квартиру, рекомендуется: статский советник Растопыриус. Статьи ваши, говорит, превосходны, но чтоб они окончательно сделались образцовыми, необходимо привести их в соответствие. Нужно, чтоб вы познакомились с некоторыми видами и соображениями, которые поставят вас на настоящую точку. Не сделаете ли вы, говорит, мне честь пожаловать ко мне на чашку чаю?

Разумеется, как человек робкий и подверженный начальству, Пимен не осмелился послушаться. Он купил готовую фрачную пару и пошел. Но тут произошло нечто неслыханное.

Когда m-r Растопыриус подвел его к m-me Растопыриус и когда последняя протянула ему ручку, Пимен, вместо того чтоб почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнял ее. И затем тотчас же упал в обморок. Разумеется, его немедленно же убрали. На этом попытка сближения с статскими советниками и кончилась. Мало того: с этих пор Растопыриус даже открыто стал называть Пимена неблагонамеренным.

Но кроме вопроса о том, пройдет или не пройдет, было и еще одно слово, которое не сходило у него с языка.

– Гаду много! – непрерывно восклицал он, – гаду! гаду! гаду!

И называл по именам. Но что всего хуже, я и сам, по временам, становился в тупик перед его обличениями. Действительно, хотя вполне сформировавшихся, окончательно созревших гадов, в то время, еще нельзя было указать, но нечто намекающее уж было. Были, так сказать, гады ближайшего будущего, заявлявшие в настоящем только о бесконечной податливости. Большинство их копошилось в газетах и, работая изо дня в день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о том, чтоб

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru выходило бойко и занозисто. Поистине это были совсем-совсем легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя некоторые из них были несомненно талантливы и пользовались известностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаниями о гадах Пимен достаточно-таки смущал меня, а однажды даже поставил в весьма щекотливое положение.

Подобно Пимену, и я, грешный человек, изредка пописывал передовые статейки, но манера у меня была несколько иная. В то время как Пимен мысленно облетал всю Европу и призывал во свидетельство древние и новые законодательства, чтоб доказать, что будочник без свистков все равно что мужик без портков, я ту же мысль проводил тонами двумя пониже. Я не прибегал к громоздкой обстановке, не блистал ученостью, но действовал, по преимуществу, с помощью образов. Я изображал уныние и беспомощность обывателей, отданных на жертву грабителям, живописал отчаяние будочника при виде безнаказанно убегающего вора и этой мрачной картине противопоставлял другую, более светлую: картину спокойствия обывателей, достигаемого одним введением свистка. И ежели «серьезные» статьи Пимена находили многочисленных сочувственников, то и моя скромная манера имела своих поклонников. У Пимена был статский советник Растопыриус (уроженец суровой Финляндии), у меня – статский советник Раскаряка (уроженец благословенной Малороссии), которому, вдобавок, уже дано было слово, что к предстоящей пасхе он будет произведен в действительные статские советники.

И вот, однажды, сидит у меня статский советник Раскаряка, и мы мирно беседуем. Радуемся происходящему, а в будущем предаемся сугубой радости. Он говорит:

– Но представьте, какие перспективы!

Я отвечаю:

– А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словом сказать, жуируем.

Вдруг вбегает Пимен. Бледен, волосы на голове растрепаны, глазные яблоки вылезают из орбит, ничего не видит... Не видит даже статского советника Раскаряку, который учтиво встал при появлении его (чутьем узнал, что вошел публицист) и застыл в позе, ясно говорившей о готовности откомендоваться.

– Гады! гады! гады! – вне себя рычал Пимен, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

– Что такое? что случилось? – воскликнул я, бросаясь к нему.

– На, читай!

Он подал мне номер только что начавшей выходить газеты «И шило бреет». В передовой статье шла речь о тех же самых перспективах, о которых мы только что разговаривали с статским советником Раскарякою. Выражалось изумление перед бесконечностью перспектив; бросался взгляд на прошлое и приподнималась завеса будущего; ставился вопрос: выдержит ли наше молодое общество или не выдержит? Словом сказать, все виды и предположения, сейчас проектированные Раскарякою, были изложены почти с буквальной точностью.

– Что ж тут такого... ужасного? – изумился я, – не сам ли ты, не далее как вчера, в статье о передаче пожарной части в ведение городских дум...

Но Пимен ничего не слышал и только восклицал:

– Ужасно, ужасно! ах, это ужасно!

Я привык к подобным выходкам моего друга; но статский советник Раскаряка – не привык. Он некоторое время стоял в нерешимости, словно прислушивался и соображал. И вдруг он позеленел и как-то неприятно заерзал губами.

– Однако, милостивые государи, в вас блох-то еще довольно! – процедил он сквозь зубы и, не подгвая мне руки, гордо проследовал в переднюю.

Но чем же я-то тут виноват?!

Разумеется, я не позволил себе ни одного слова упрека Пимену, но в глубине души все-таки не мог не сказать себе: так-то вот мы всегда! Без надобности раздражаем людей несвоевременными выходками, а после жалуемся, что у нас «не проходит»! А ведь от жалоб, как известно, один шаг и до раскаяния...

К удивлению моему, я впоследствии узнал (Коршунов сам признался мне в этом), что точь-в-точь такие же мысли волновали в это время и Пимена и что он, немедленно после ухода Раскаряки, уж спохватился и начал обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашнего номера.

Я с умыслом останавливаюсь на этом факте, ибо он очень назидателен. Мы, писатели, вообще слишком легко относимся к статским советникам и подчас даже бываем склонны подтрунить над ними. Мы думаем, что статский советник не важная птица и что от нее литературе ни тепло, ни холодно. Но, к сожалению, это мнение заключает в себе самое пагубное самообольщение.

Во-первых, нет в природе субъекта, относительно которого русский писатель мог бы считать себя вполне безопасным. Одни влияют на него непосредственно, подвергая различным непредвиденностям и даже лишая средств к пропитанию; другие – влияют посредственно, распространяя в обществе слухи, что литература есть вертеп, в котором бесчинствуют разбойники пера. Идет по улице смешной прохожий, а ты, легкомысленный писатель, уж и цепляешься за него! А почему ты знаешь, какую тайну хранит в себе этот смешной прохожий?!

Во-вторых, что касается специально статских советников, то отнюдь не следует забывать, что каждый из них заключает в себе зерно действительного статского советника, а действительный статский советник, в свою очередь, предполагает в себе зародыш такого пышного цвета, один вид которого может сразу убить человека...

Все эти превращения нужно предвидеть, и, вместо того чтоб трунить над статскими советниками, гораздо расчетливее их угобжать, дабы они, взойдя на высоту величия и славы, попомнили нам это. Скажут, быть может, что из ста статских советников девяносто девять, наверно, так и отцветут в этом чине, так стоит ли, дескать, с ними церемониться? Допустим, что и так. Но если даже один из сотни разовьется как следует, то представьте, какое он даст от себя благоухание и как это благоухание отзовется на литературе, смотря по тому, был ли расцветший субъект пренебрежен или угобжен в скромном чине статского советника!

И еще скажу: прежде нежели приступить к насмешкам над статским советником, необходимо соразмерить свои силы и на всякий случай подготовить приличное отступление. Я не порицаю раскаяния, но нахожу, что все-таки лучше вести себя таким образом, чтоб и раскаиваться было не в чем. Однако мы видим, что в большинстве случаев (особенно в газетном деле) бывает совершенно наоборот. Иной газетчик один раз сгрубит, в другой раз сгрубит, видит, что ему сходит с рук, а подписка между тем прибавляется, – начнет допускать даже прихоти. Все-то ему немилостиво, все не так, все надо переменить и даже вверх дном перевернуть. И вдруг статский советник начинает когти выпускать. Выпускает-выпускает... хлоп! Какой, с божьей помощью, переворот! В одно прекрасное утро читатель берет в руки газету, в надежде, что статского советника вконец раскастят, – и не верит глазам своим. Оказывается, что в одну ночь статский советник и вырос, и похорошел, и поумнел и что всех сомневающихся в этом следует признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такие возвраты на путь высокопочитания неприличны или бессовестны. Но спрашивается: зачем предпринимать такие действия, в конечном результате которых должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказал горькую истину! Много, ах, как много водилось за Пименом блох! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованию развиваться в том благовременном направлении, которое во Франции известно под именем оппортунистского, а у нас куда носит кличку газетного легкого поведения.

Я знаю, впрочем, что Пимен делал очень серьезные усилия, чтоб быть свободным от

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
блех. всю жизнь находясь под гнетом нужды и зная твердо, что вне легкого поведения нет деятельности, он затыкал себе уши, чтоб не слышать, зажимал нос, чтобы не обонять, и закрывал глаза, чтоб не видеть. Обеспечивши себя таким образом, он строчил довольно свободно и приводил в восторг статского советника Растопыриуса. Но вдруг, в самом разгаре публицистических затей, когда одна перспектива быстро сменяет другую, когда в некотором отдалении уже мелькает чуть не фаланстер (были же военные поселения!) – его укусит «блеха». Пимен вскакивает как ужаленный, хватая себя за голову, вопит: это ужасно! ужасно! – и бежит вон из дому. И шляется бог весть где (быть может, на том самом Митрофаниевском кладбище, куда судьба привела его теперь), до тех пор, пока «сладкая привычка жить» не возьмет верх и не загонит опять домой за постылый письменный стол. Тогда он опять делался смирен, опять начинал строчить, и строчил до тех пор, пока новая «блеха» не уязвляла его...

Так и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усилиям, которые Пимен постоянно над собой делал, «блехи» появлялись сравнительно довольно редко; правда и то, что они нигде окрест не производили ни малейшей пертурбации; но ведь статскому советнику Раскаряке нет дела ни до усилий, ни до пертурбаций; он чутьем догадывается, что «блехи» все-таки существуют, и говорит: достаточно-таки еще в вас «блех», милостивый государь!

Я помню, как Пимен огорчился, когда наш друг, Менандр Прелестнов, впервые провозгласил в своей газете, что «наше время не время широких задач» (он сделал это сгоряча и не предупредив Пимена).

– Слушай! читай! на, читай! – восклицал Коршунов, подавая мне номер газеты, – говорил я тебе, что из этих «живых вопросов» ничего, кроме распутства, не выйдет! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочел эту статью и, право, не нашел в ней ничего «такого». Так, глупость – надо же об чем-нибудь писать! Поэтому я, насколько мог, утешал Пимена.

– Ты преувеличиваешь, мой друг! – говорил я. – Во-первых, Менандр, открывая вопрос о непригодности в наше время «широких задач», этим самым бросает в публику такую широкую задачу, над разрешением которой закружится не одна голова. Во-вторых, если ты подозреваешь, что Менандр нарочно пустил фортель, чтоб «прельстить», то это напрасно: он просто закидывает уду общественному мнению и прочим газетчикам. Нужны ли широкие задачи, или ненужны – это, конечно, бабушка надвое сказала, но полемика по этому поводу, наверное, возникнет, и Менандр будет себе, под сению ее, «украшать столбцы». В-третьих, наконец, никто тебе не мешает в завтрашнем же номере написать разъяснение, как следует понимать и т. д.

Но, вгорячах, мои резоны нимало не утешили и не убедили его. Признаюсь, теперь, когда я рассуждаю хладнокровно, то понимаю и сам, что Менандр действительно поступил неладно. В известном смысле, для него было бы выгоднее поставить совсем противоположный тезис, а именно: доказывать, что так как подробности и мелочи давно всем опротивели, то теперь-то и наступило настоящее время для «широких задач». Наверное, «украшение столбцов» было бы достигнуто этим путем гораздо существование...

– И от кого вышла эта распутная фраза! – волновался Пимен, – от Менандра, которого я считал последним из могиканов именно по части широких задач («style réglé» – почему-то мелькнуло у меня в голове)! от Менандра, который знал лучшие времена русской литературы! от Менандра, которого все обвиняли в излишней щепетильности и даже брезгливости! От Менандра, который... нет, это все он, все Гамбетта! Поверь, что лавры оппортуниста Гамбетты не дают Менандру спать.

Высказавшись таким образом и не вникая никаким убеждениям, он схватил шапку и убежал. Но все-таки, хоть частью, он последовал-таки моим внушениям, потому что на другой день я уже читал в газете «разъяснительную» статью. Растволковывалось, что вчерашнее предостережение имело в виду не те широкие задачи, которые, действуя благотворно на умственный уровень общества, тем самым полагают начало полному развитию новых и уже разрешенных форм жизни, но те, которые, имея лишь вид «широких задач», как волк в овчарню, проникают в публику с целью произвести в ней замешательство. Статья принадлежала перу Пимена и тоже... прошла! И что

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
всего замечательнее, Менандр сделал к этой статье примечание, гласившее так: «Мы и сами именно так и разумели наши вчерашние слова, как понимает их наш почтенный сотрудник. Ред.».

Долгое время после того Пимен не казал ко мне глаз: совестился. Но вот, в одно прекрасное утро, он прибежал ко мне, светлый и радостный.

– Не прошло!

– Не может быть!

– Не прошло, и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

– Да расскажи толком, что такое случилось?

– Не прошло – вот и все! А какую, братец, я штуку написал! Ведь я... ну, просто сам Растопыриус наверняка простил бы меня за невежество, совершенное над его женой, и опять пригласил бы на чашку чаю! Да, есть провидение, есть! Рече безумец в сердце своем: несть! ан оно – вот оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикам! прихлопнули! фу ты!

– Но ежели ты сам сознаешь, что написал «штуку», – зачем ты ее писал?

– Не могу! не понимаю! Газета, братец, – это дьявольское наваждение какое-то! Так тебя и тянет в омут, так и пронизывает распутством насквозь. Одуматься не дадут! передохнуть нет средств! так и стоят над душой: сейчас! сию минуту! пожалуйста оригинал! Ну, и...

– А Менандр как принял это известие?

– Ездил. Да только на извозчиков напрасно потратился. Ответили: да послужит сие вам уроком, что ежели порицания не допускаются... безусловно! то и в похвалах надлежит избегать излишней разнузданности!

– Вот как!

– Да, братец, ни порицаний, ни похвал! Я давно говорил: вот истинный принцип во всей его чистоте!

– Стало быть, ты в статье допустил «излишнюю разнузданность» в похвалах?

Пимен, вместо ответа, заалелся.

– О, Пимен! Пимен!

Начали мы вдвоем обдумывать, каким бы образом устранить на будущее время повторение подобных казусов. Самым целесообразным средством представлялось совсем уйти из газетной атмосферы. Но куда? – вот вопрос. Толстых журналов мало, да и там все места заняты, негде упасть яблоку. Поступить на частную службу? – и там переполнено до краев; люди, из-за пятисот рублей годовых, готовы друг с другом на ножи...

– Вот кабы ты на фортепьянах умел, так в тапёры бы можно... – рискнул я пошутить.

– А что ты думаешь! важно было бы!

– Знаешь ли что! – не предложишь ли газетчикам устроить по вечерам... нечто вроде фельетонов en action?.[8] Ты бы, как передовик и, стало быть, человек солидный, за буфетом стоял... отлично!

Но Пимен, вместо ответа, только вздохнул: знак, что он начинает впадать в угрюмость.

– Я, братец, не только в тапёры, но даже в кассиры на железнодорожную станцию не гоюсь, – наконец вымолвил он, – пробовал я это... помнишь, тогда? да не выгорело! Я двадцать лет сряду в литературе вращаюсь, двадцать лет одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что из моей деятельности ничего не выходит, а все тянусь, все думаю: а вот, погоди. Сны какие-то наяву вижу – так и проходит день

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru за днем. Это умственное цыганство до того въедается, что нужно именно что-нибудь совсем чрезвычайное (вот как тогда), чтоб человек пришел в себя. Но если он и поймет, что вся его жизнь есть не более, как бесконечная цепь пустяков, – что пользы в том? Ну, поймет, и только. Ах, ведь у нас даже «своего места» нет, того «своего места», куда всякий бежит, когда его настигнет беда! Вот я, например. Особенными талантами природа меня не наградила, я не генерал в литературе, а простой солдат. Но ведь и солдат, если выслужил срок, вправе воротиться в «свое место» и там забыть о солдатстве. А куда пойдет солдат-литератор? Литературное ремесло имеет свойство до того оболванивать человека, что он везде, кроме литературы, представляет только лишний рот. И у меня отец и мать есть (овец духовных в смоленской епархии пасут и волною их питаются, прибавил он в скобках), да зачем я к ним пойду. Во-первых, я и там буду все об своем паскудстве тосковать и бегать по помещикам, нельзя ли где газетки почитать; а во-вторых, меня будет ежеминутно точить мысль, что я лишний рот, каковых в моей семье не полагается. А уж как мне опостылело литературное ремесло, если бы ты знал! так опостылело! так опостылело!

Пимен в волнении несколько раз прошелся по комнате.

– Иногда вся внутренность горит, – продолжал он, – саднит, ноет, сосет, не знаешь, куда деваться от тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негде их взять. Нет, никогда этого не бывало! никогда, даже в самые горькие дни пленения вавилонского, не знали такой мертвенной тоски, такого холодного отчаяния! «Наше время не время широких задач» – этим все сказано! Тут и скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное... Ах!

– Слушай! да надо же выход найти!

– Оставаться по-прежнему в вертеле – вот и выход. Тянуть бесконечную канитель неведомо об чем, распинаться неведомо по поводу чего, поучать неведомо чему, преследовать неведомо какие цели, жить в постоянном угаре, упразднить мысль и залеплять глаза пустословием, балансировать между «с одной стороны нужно сознаться» и «с другой стороны нельзя не признаться» – вот удел современного литературного солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, после такого-то трудового дня, начнешь на сон грядущий припоминать, что было, – ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую, и затем обрывки, винегрет – и ничего больше. Даже для снов настоящего материала нет.

Он отер пот, выступивший на лбу, и остановился передо мной.

– Патроны наши, – сказал он, – те, на сон грядущий, хоть счетом барышей от розничной продажи могут заняться, а мы?

Но тут он окончательно рассердился.

– Мы-то, мы-то, скажи, из-за чего себя нудим!

Да, были «блохи» у Пимена. Но чем пышнее расцветала пресса, чем либеральнее становились ее замашки, тем смиреннее и как-то унылее становился мой друг. «Блохи» скрывались одна по одной и, наконец, пропали совсем. Он не ерошил волос, не восклицал в тоске: ах, это ужасно! а неумоимо и безропотно строчил с утра до вечера, не чувствуя ни удовольствия, ни омерзения...

Менандр стусевался. Не успев совладать с «разнузданностью в похвалах», он до того раздражил своими «наглыми» усилиями попасть в тон минуты («все это одно крокодилово притворство!» – говорил про него статский советник Растопыриус), что вынужден был уступить место другим, более сноровистым деятелям. Сначала явилась либеральная газета «Чего изволите?», затем и еще более либеральная: «И шило бреет». Но Пимен до того уже потерял нюх, что не мог отличать степеней либерализма, и безразлично работал, то тут, то там.

Он почти совсем перестал ходить ко мне, я же посещал его довольно часто и всегда заставал за работой.

– Не помешал ли я? – спросил я его однажды.

– Нет, какая помеха! Работа такого сорта, что на всяком месте можно точку поставить! Было бы пристойное количество «строчек», а об остальном, то есть о

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru противоречиях, неясностях и даже пошлостях, я давно уже не забочусь. Все равно, читатель сжует.

– Об чем же ты пишешь? все, чай, о перспективах?

– Нет, о перспективах писать теперь уж чересчур широко. По-нашему, это называется «расплываться». Нынче мы больше по части патриотистики и пламени сердец, к которым, ради оживления столбцов, пристегивается и взнуздывание. Вот, например, я написал статью: «Где корень зла?», хочешь, прочту?

– Нет, уж не надо! Ах, Пимен, Пимен! зачем ты это пишешь?

– Как сказать, зачем? знаю грамматику, синтаксис, учился правописанию, умею расставлять знаки препинания – вот и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять их втуне?

– А знаешь ли, что я заметил? Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался под статьями, а я все-таки узнавал твою манеру. Прочтешь и скажешь: вот это Коршунов писал. И даже отгадаешь: а вот это словечко Менандр лично от себя вклеил! А нынче, как ни стараешься угадать – все статьи на один манер пишутся!

– Это у нас новая метода завелась, с тех пор, как от передовика ничего, кроме правописания, не требуется. Чтоб все, как один человек. Выгодно это, голубчик. Во-первых, публика читает и думает: стало быть, однако ж, у них есть что-нибудь за душой, коли они так спелись! а во-вторых – дешево.

– Это почему?

– А потому что, если однажды дан известный шаблон, то нет нужды дорожить сотрудничеством той или другой личности. Всякий встречный может любую статью написать, все равно как свадебные приглашения. Важнее всего – аккуратность, чтоб не задерживать типографию. Поэтому и передовики нынешние присмирели: знают, что место свято пусто не будет. Прежде мы упирались, растабарывали об убеждениях, а нынче этого уж не полагается.

– Однако некрасивое ваше положение!

– Покуда еще ничего, можно терпеть, а вот в ближайшем будущем... Я, например, покуда еще не стесняюсь и почти совсем туда не хожу: покажешься на минуту, сдашь что следует – и был таков. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображения выслушивать. А еще того горше: вечера для обмена мыслей устроят, да с дамочками, да с отставными полководцами, да с «дипломатами», да с рассказами из народного быта... Вот когда худо-то будет! Придется самолюбие хозяйки дома щекотать, выслушивать полководческое фрондёрство и в антрактах освежаться протухлыми побасёнками!

– А разве есть уж признаки, предвещающие что-нибудь подобное?

– Есть. На меня уж и теперь косятся, что мало разговариваю. На днях я там был – сама выбежала. «Вы, говорит, Коршунов?» – Я, говорю. – «Ах, какой вы нелюбезный!»

– С чего ж это она?

– Стало быть, разговор был. В Аспазии она к нашему Периклу готовится – ну, и принимает участие. Да, терпят меня покуда, любезный друг! но только терпят. А так как и ангельскому терпению предел есть, то поневоле спрашиваешь себя: что будет, когда этот предел настанет? Разумеется, стану просить милости. Не гожусь в передовики – может быть, к «нам пишут» определят, или «Таинства мадридского двора» переводить велют. Все равно как в доме терпимости: сперва гостей занимать заставляют, а потом, как розы-то отцветут, начнут в портерную за пивом посылать.

До этого, однако, не дошло, хотя мне самому не раз приходилось слушать отзывы: ах, какой неприятный у Коршунова характер! И не только Аспазия, но и сам Перикл отзывался так. Пимен имел даже по этому поводу объяснение, но, к счастью, успел доказать, что до его «характера» никому никакого дела нет. Я убежден, однако ж, что едва ли бы он доказал это, если бы у него не было кой-какой опоры в прошлом. Ради этого прошлого, его, очевидно, щадили, ибо, как ни «разносторонни»

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
современные деятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связывает их с прошлым. Вот когда и они сойдут со сцены, то на их место придут «новейшие» деятели – этих уж ничто не будет связывать. Тогда, естественно, Коршуновых выметут помелом.

Изредка, впрочем, и Пимен оживлялся, и именно в тех случаях, когда у него накапливался запас анекдотов о Периклах. Главное горе Периклов заключалось в том, что они вечно были в поисках за идею, которую, впрочем, безразлично называли и идею, и фортеlem. Какую бы идею начать проводить? на какой бы фортель подняться? – вот задача, которую предстояло разрешить. Читатель капризен, и однообразные статьи надоедают ему. Однообразие можно допустить только в исключительных случаях. Вот, например, во время войны – ах, какая розничная продажа была! Но раз исключительные обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не один фортель, а даже несколько таких не худо найти. Как вы, например, насчет либерализма полагаете? а? хорошо? С богом, начинайте-ка ряд статей! Или насчет святости подвига? а? ведь подвиг-то, батюшка, очищает человека, дает его жизни смысл? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно, да почаще оглядываться кругом. Да вот и еще тема... мирные успехи! По возвращении с поля брани это даже самое подходящее дело... в нос бросится – а? Эту штуку пять лет хлебай – не расхлебашь! Начать хоть с железных дорог... или нет, это уж старо! Просто начнем с земледельческой промышленности! «Россия страна земледельческая»... это хоть тоже старо, но вместе с тем и всегда ново, потому что Россия, действительно, страна земледельческая, стало быть, как ни вертись, а этой темы не минешь! Не в том беда, что мы земледельцы, а в том, что мы наш продукт в зерне отпускаем... а? Отсюда прямой вывод: заводить маслобойни, винокурни, мельницы – главное, мельницы! А когда с земледельческой промышленностью покончим, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, железо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система или не нужна... а? А потом и до рубля доберемся... ах, этот рубль! сколько публицистических усилий, сколько полемики потрачено, чтоб он настоящим рублем смотрел, а он все на полтинник смахивает! Придется, пожалуй, и пословицу: «взглянул, словно рублем подарил» говорить так: взглянул, словно полтинником подарил! Да, надо, надо как-нибудь этому горю помочь! И поможем, с божьей помощью... да! А, наконец, когда наговоримся досыта, можно и заключеньице сформулировать: впрочем – тут что бы мы ни говорили, мы знаем заранее, что наши слова все равно что к стене горох... а? как вы думаете? хорошо будет? а?

Но как ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости в них все-таки не было. И сам Коршунов, по-видимому, сознавал это, потому что, истощив свой запас, он неизменно заканчивал одною и тою же угрюмою фразой:

– И все эти фортели я обязываюсь, с божьей помощью, развить!

Таким образом он промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршунов получал хороший гонорар за свои работы. Но лишних денег у него все-таки не бывало, потому что «свое место» поглощало, наверное, половину заработка.

Да и у Коршунова было «свое место», которое довольно часто напоминало ему себя. Отец Пимена был стар и добывал мало, да и овцы, которых он пас, имели волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одном сыне, Пимене. На этого сына был сначала расчет, что он, по крайней мере, хоть дьяконом будет, а он вдруг ускользнул. И долгое время, куда Пимен бедствовал, едва зарабатывая на хлеб лично для себя, между ним и отцом шла ожесточенная полемика. Отец уж приискал сыну невесту и наметил дьяконское место, но сын бунтовал. Дело доходило до жалоб и просьб о высылке по этапу, вследствие чего Пимен скрывался, не имея постоянного пристанища. Но, наконец, Пимену посчастливилось. Заработок его увеличился, и он первые же «лишние» деньги послал домой. Тогда его оставили в покое.

В «своем месте» смекнули, что, несмотря на странное занятие, Пимен все-таки добытчик, и, разумеется, решились пользоваться этим. Он чаще и чаще начал получать отписки с родины, и каждая неизменно заключала в себе напоминание об деньгах. То сестру выдают замуж и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость божья пристигла, хлеб градом выбило. Коршунов вытягивался в нитку, чтоб удовлетворять этим требованиям, сам же постоянно нуждался. Разумеется, он

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru понимал, что единственно на этих денежных соображениях и держатся кровные связи, но чувствовал ли он по этому поводу сердечную боль – это сказать трудно. Вообще он упоминать о домашнем очаге редко и сдержанно и никогда не порывался в побывку домой, говоря, что приезд его только прибавит лишний рот в семье.

Но, кроме кровной связи, имел ли Пимен какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущал ли он, хотя в молодые годы, то блаженное таяние сердца, которое ощущает всякий юноша в период весеннего расцветания? Увы! Эти вопросы даже в голову никому не приходили – до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о якобы любовных его похождениях, но все очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорее служившие к подтверждению противоположного. Вообще на него смотрели, как на человека, для которого вопрос о сближении полов составляет нечто совсем постороннее, его не касающееся. Даже когда возник так называемый женский вопрос – и тут он уклонялся, несмотря на то что этот вопрос стоял на чисто теоретической почве. Иногда, впрочем, замечая, что он уж чересчур утрирует в этом смысле, я невольно нападал на мысль, что причина этого явления заключается не столько в холодности темперамента, сколько в непреодолимой застенчивости. По-видимому, он слишком настойчиво говорил себе, что так уж сложилась его жизнь. Бывают люди, которым на роду суждено глубокое и горькое заточение, и он принадлежал к числу этих людей. Просто было почти нелепо вообразить его себе любящим и любимым. Пимен, смотрящий в книжку, Пимен с пером в руках – вот настоящий Пимен. Но Пимен тающий, палимый страстью к женщине, Пимен, шепчущий признания любви и просветленный уверенностью в взаимности, – помилуйте, это какое-то баснословие, это почти клевета!

Точно так же было и по части дружбы. Пимен вращался исключительно в литературной среде, где, в взаимных отношениях, примешивается очень значительная доля рационализма. Я не отрицаю, что связи, вследствие этого, становятся более прочными, но думаю, что в то же время они приобретают окраску исключительно деловую и совершенно утрачивают тот ласкающий элемент, который так присущ инстинктивной дружбе. Бывают, однако ж, минуты, когда человек имеет право быть малодушным, когда он чувствует непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно, – и вот в эти-то минуты ему необходимо, чтоб дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давит его. Ничего подобного Коршунов положительно не знал: он малодушествовал, жаловался и проклинал – в пространство.

Он не был настолько силен и одарен, чтоб составить около себя кружок, а следовательно, не мог создать для себя и искусственной дружбы. Он сам был по природе поклонником, страстным и беззаветно преданным, но поклонников не имел и пользовался только благосклонным сочувствием. Сверх того, состав кружка, которому он был предан, часто менялся; люди вымирали и исчезали, а наконец кружок и совсем распался. Приблизившись к старости, Пимен очутился в неведомой среде, окруженный незнакомыми людьми, и все-таки вынужденный работать с ними. Эти насильственные сближения до того изнурили его, что нередко он буквально ходил как потерянный.

Таковы были кровные и вольные связи Пимена. Совокупность их составляла мученическое существование, хотя видимых пыток и не было. Дома он видел голые стены квартиры; вне дома – видел деревянных людей. Разве можно представить себе пытку более злостную?

И вот он умер. Умер в один день с первой гильдии купчихой Пулхерией Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла в вечность, окруженная заботливыми попечениями законных наследников. Пимен же и умер словно украдкой, так что о смерти его узнали от квартирной хозяйки, которая прежде всего побежала в участок, а потом ударилась за деньгами в Литературный фонд, потому что в последнее время Коршунов почти совсем не работал.

На кладбище громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынам – каждому по двадцати пяти тысяч, и трем дочерям – каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а божие благословение разделила между всеми поровну. Все это и батюшка в своей проповеди упомянул не в осуждение усопшей, но в похвалу. Что же оставил после себя Пимен?

Страшно сказать, но ничего ясного. Человек жил, неутомимо трудился, и, по мере того как его труд приводился к окончанию, он тут же и улетучивался.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Выше я сказал, что Пимен некогда участвовал в творчестве известных наслоений, которые, быть может, и не прошли бесследно. Но кто же разберет, что в этих наслоениях принадлежит ему и что другим атомам общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться к этим забытым наслоениям, а тем более разбираться в них?

Даже историк русской литературы и общественности – и тот не отыщет Пимена, потому что над рабочею массой всегда реет какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени и честь, и слава, и поклонение. И слава, и страдания, и подвиг – все достойно вменится ему в сугубую похвалу. А Пимену даже поистине мученическая его жизнь ни во что не вменится, потому что об ней нигде не упоминается, и она нигде не оставила следов своей крови.

Я помню, он мне говорил: когда я умру, то на памятнике моем надобно написать: литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце. Да, это надпись хорошая и вполне согласная с истиной, но вопрос в том, будет ли когда-нибудь памятник на его могиле?

Допустим, однако ж, что памятник – уже прихоть. Гораздо проще другой вопрос: долго ли мы, схоронившие Пимена, будем ощущать, что смерть его оставила после себя пустоту? долго ли воспоминание об нем будет жить между нами?

Он жил – и умер... Благо умершим!

СТАРЧЕСКОЕ ГОРЕ,
или
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ УМА
(Рассказ)

Про Каширина все говорили: вот истинно милый человек! А некоторые прибавляли: это человек светлого ума, любезный, преданный делу и замечательно интересный; одним словом, человек, знакомством с которым следует гордиться. Люди самых противоположных лагерей сходились в любви к Каширину и в признании его достолюбезных качеств. С своей стороны, и он всех любил, со всеми здоровался и всякому имел сказать что-нибудь приятное. И всегда это приятное выражалось с такою сердечностью, как будто оно было адресовано исключительно тому лицу, к которому обращалось, а вовсе не представляло собой банальной фразы, которую можно применить ко всякому встречному. И всякому представлялось (особливо самолюбивым людям), что это не была с его стороны только ловкость, а именно интимное выражение достолюбезных свойств его природы.

Словом сказать, хотя Филипу Филипычу (так зовут Каширина) перевалило за пятьдесят, но он решительно не помнит, чтоб, до последних непредвиденных невзгод, существование его было когда-нибудь омрачено продолжительным и существенным огорчением.

Каким образом явился Филип Филипыч на сцену жизни и откуда, «из каких» он был родом – никто об этом достоверных сведений не имел, сам же он очень ловко уклонялся от вопросов на эту тему. В действительности, он был родом из-под Пронского города, сын мелкопоместного помещика, и даже донес у него живет в тех местах тетка Агафья Ивановна, старая девица, в пользу которой Каширин отказался от своего родового наследства. Наследство это, по старому крепостному счету, заключалось в трех мужеска пола душах, при двадцати пяти десятинах земли. Когда состоялась крестьянская эмансипация, то за души выдали деньги, которые Филип Филипыч взял себе, а землю, с находящеюся на ней ветхой усадьбой, с движимым имуществом, с лесами, водами, рыбными ловлями и прочими угожьями, предоставил тетеньке Агафье Ивановне. С своей стороны, Агафья Ивановна, в знак благодарности, ежегодно присылала ему к рождеству двух замороженных индеек, какового презента он, впрочем, всегда ожидал с большим страхом, потому что боялся, чтоб кто-нибудь из «друзей», проведав об этом, не заговорил, «в шутовском русском тоне», о славном и знаменитом роде Кашириных.

Воспитание Филип Филипыч получил, по своему времени, хорошее, и собственно с момента поступления в казенное заведение начинал свою историческую жизнь. Вероятно, отец его был тоже нрава достолюбезного и чувствовал себя хорошо в роли ласкового теляти – и это в значительной степени помогло молодому Каширину. Благодаря этому обстоятельству, богатый сосед (он же и любитель просвещения) пригласил маленького Филю, и сначала воспитал его с своими детьми дома, потом поместил на свой счет в университетский пансион, откуда он перешел в Московский

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru университет, и, наконец, умирая, завещал своему питомцу небольшой капитал. Впоследствии, когда молодые потомки богатого барина пошли бойко по службе, то и они помогли Каширину. Филипп Филиппыч поддерживал эти связи, но не только без навязчивости, а даже более нежели с скромностью. Смолodu он даже скрывал об этом обстоятельстве от своих «друзей», хотя друзья очень хорошо понимали, что у него есть где-то «рука», благодаря которой он преуспевает на бюрократическом поприще. Впрочем, он очень аккуратно посещал своих патронов и патронесс в дни семейных и торжественных праздников и изредка являлся к ним, по приглашению, запросто отобедать. Иногда «коренные» друзья, прогуливаясь с Филиппом Филиппычем по Невскому, видали, как какая-нибудь высокопоставленная дама дружелюбно кивала Каширину из коляски, и он, почтительно отдавая поклон, краснел. И ежели эти «друзья» были литераторы, то они очень остроумно по этому поводу подшучивали над Кашириным, но ежели «друзья» были бюрократы, то они задумывались и крепко сжимали счастливец руки. Сверх того, раза два-три в год бывали такие случаи, что сами патроны и патронессы (древо старого доброго барина оказалось многоветвистым) сами назывались к своему интересному protégé [9] на «вечерок» и привозили детей с гувернантками. В такие дни он покупал печенья к чаю, конфет, фруктов, шампанского, курил в квартире духами, облекался во фрак, спускал на окнах драпри, чтоб не видно было с улицы света, и строго-настрого приказывал швейцару (он жил в четвертом этаже, но всегда в таком доме, где был заведен швейцар) отнюдь не пускать «друзей». Патроны, патронессы, их дети и гувернантки кушали чай, конфеты и фрукты, выпивали по бокалу шампанского, хвалили квартиру Каширина и находили, что у него очень «мило». Он же старался быть почтительно-гостеприимным (но без всякого искательства), предоставлял в распоряжение гувернанток и детей piano mécanique [10] (для этого собственно он его и приобрел), а дамам показывал альбом с фотографическими карточками, кипсеки и платок, подаренный Гарибальди одному из его друзей, а от последнего перешедший к нему. Вообще он был бесконечно сияющ и любезен, хотя внутренно и мучился, чтоб кто-нибудь из литературных «друзей» не пронюхал о пиршестве и не положил его в основание рассказов более или менее юмористического свойства.

В университете Каширину удалось слушать лекции Грановского, тогда только что начавшего свою воспитательную деятельность. Это положило неизгладимую печать на всю его жизнь: дало ему вкус к изящному и, что важнее всего, утвердило в намерении неуклонно идти по стезе честности и благородства. И он шел по этой стезе до конца, и очень глубоко скорбел, видя, как некоторые из его товарищей, тоже ученики Грановского, поступали на службу, «прибытка ради», в московскую гражданскую палату и там находили себе успокоение под сенью «крепостных дел». Сам же он всегда выбирал службы самые благородные, с легким фрондирующим оттенком (фрондировать не служа он не мог, потому что не имел достаточно обеспеченных средств к жизни), а именно: сначала поступил на службу в ведомство «Предвкушения свобод», потом, когда благородство из этого ведомства перешло в ведомство «Плаваний и Внезапных открытий», то и он, вслед за ним, перешел туда же, и, наконец, когда времена окончательно созрели, он окончательно утвердился в ведомстве «Дивидендов и Раздач». Наверное, он попал бы и в преобразованное судебное ведомство, яко наиболее благороднейшее и несменяемое, если бы, ко времени введения реформ, не почувствовал себя состаревшимся и обрюзгшим.

То же живое слово Грановского воспитало в нем и склонность к литературе. Собственно говоря, сам он не был литератором, но перевел, однако ж, с кем-то вдвоем статейку для «Отечественных записок» времен Белинского и, кроме того, изобрел два-три счастливые выражения, которыми и воспользовались литераторы настоящие, сделавшиеся впоследствии знаменитыми. Сверх того, он в особенности любил не пропущенные цензурой статьи или хотя отдельные места из них и страстно коллекционировал их. Вообще, он смолodu охотно искал общества литераторов и был всегда испытанным и верным их другом, хотя многие из них отплачивали за эту дружбу легкомысленным предательством. В сороковых годах с талантливостью как-то фаталистически соединялась склонность к пересмешничеству и даже немного к вероломству. Каширин очень часто и больно страдал от этого, но, к чести его должно сказать, никакие личные огорчения не заставили его отвернуться от литературы, а тем менее мстить ей. И когда учрежден был Литературный фонд, то он за особенную себе честь поставил быть одним из его учредителей и печальников.

Вообще все существование Филиппа Филиппыча имело подкладку несомненно гуманную и либеральную. Хотя же он и не высказывал своего либерализма вслух, но при случае так характерно произносил «гм» и даже «эге!», что в уме сколько-нибудь прозорливого собеседника не могло оставаться никаких сомнений насчет душевного его настроения.

Каширин прожил жизнь тихо и аккуратно. Занимая по службе места благородные и снабженные хорошим содержанием, он не только не нуждался, но всегда жил вполне прилично. Он не прижимался с деньгами, но и не расточал оных. Имея обширный круг знакомых, где всегда видели его с удовольствием, он почти не жил дома, и это значительно сокращало его расходы. Говорили, будто он копил про черный день, но ежели это и была правда, то, во всяком случае, присовокупления его были самые умеренные. Главный расход его составляли: квартира, одежда и сигары, и эти статьи были доведены у него до самой безукоризненной респектабельности. Затем он держал при себе приличного лакея, непременно из немцев. Никогда он дома не обедал, и, проработав утром за казенными бумагами, исчезал до поздней ночи, заходя домой только на короткое время, чтоб переодеться. Обедать любил преимущественно в семейных домах, где можно было сказать что-нибудь любезное хозяйке дома, но не отказывался изредка отобедать и в «кабачке», в кутящей компании, причем сам пил очень умеренно, но платил свою часть наравне со всеми и даже уплачивал иногда за какого-нибудь *riche assiett'a*, [11] которых всегда бывает немало между собутельниками. Еще особенность: бумажник Каширина всегда бывал изобильно снабжен деньгами, и между кредитками непременно выглядывали две-три крупных. Это было тоже своего рода право на респектабельность.

Начальство отдавало Каширину справедливость, а некоторых из начальников он даже имел честь считать в числе своих друзей. В особенности он чувствовал себя счастливым, когда у департаментского кормила стояло начальство либеральное. В такие времена он называл департамент своею семьей, позволял себе ходить на службу в коротенькой жакетке и входил в «кабинет» без доклада, с сигарой в зубах. Но и начальство нелиберальное не особенно смущало его, потому что он обладал одним драгоценнейшим качеством, которое всегда выручало его. Это качество было написано на его физиономии и выражало собой готовность выслушать и исполнить, слегка окрашенную готовностью «доложить». Начальники либеральные в особенности ценили эту последнюю готовность и пользовались ею не без пользы для себя. Начальники нелиберальные более всего напирали на первые две готовности, но иногда, заметив, что где-то, в уголку, скромно мерцает еще какая-то робкая готовность, вдруг осенялись мыслью: а что, не послушать ли, что имеет этот фалалей доложить? И тогда Каширин докладывал. Докладывал внятно, вразумительно, точно жемчуг низал, так что не было никакой возможности не понять. И бывали примеры, что, по выслушании, начальники, самые закоснелые, исправлялись.

Самую загадочную сторону жизни Каширина представляли его отношения к женскому полу. Достоверно было известно, что он любил женское общество, искал его и, вследствие этого, преимущественно посещал семейные дома. Женщины тоже, по-видимому, любили его общество, что можно было заключить уже по тому одному, как расцветали лица знакомых дам при встрече с ним. Но справедливость требует сказать, что в этом расцветании гораздо яснее проглядывало простое чувство благосклонности, доверия и дружбы, нежели стремление к секретному потрясению семейных основ. Да и сам он, всем своим поведением, как бы свидетельствовал, что ему дорога только дружба и доверие женщин. Не говоря уже о том, что он был скромнен, как могила, ничто ни в его манерах, ни в голосе, ни во взгляде не представляло повода для игривых догадок. Он никогда не зачашал в один и тот же дом и никогда не показывал, что между семейными домами, которые он посещал, ему больше по душе те, во главе которых стоят красивые хозяйки. Казалось, что и *la belle madame* [12] Растопыря, и хорошенькая *madame* Карнаухова, и добродушно-безобразная Матрена Ивановна Стрекоза равно ему милы. Он одинаково усердно посещал и красивых, и некрасивых и одинаково старался снискивать их доверие, благосклонность и дружбу. Иногда эти дамы, даже в присутствии мужей, шепотом сообщали ему свои маленькие тайны, и мужья отнюдь не формализировались этим, ибо знали, что Каширин – «друг по преимуществу». Большею частью он рассказывал дамам о своих друзьях-литераторах, о том, что Белинский и в преферанс играл с тем же пылом страсти, с каким писал критические статьи, о том, что Тургенев каждое утро моет лицо в трех водах, о том, что Гончаров спит до двух часов дня и т. д. И дамы внимали этим рассказам с удовольствием, потому что это были дамы интеллигентные, либеральные. Очень возможно, что в минуты особенного сердечного таяния они и побаловывали его за интересно проведенные часы, но, наверное, они поступали так без всякой примеси увлечения и с тем, разумеется, что в будущем это их ни к чему не обязывает. По крайней мере, именно таким образом злые языки объясняли загадочное отсутствие любовного элемента в жизненной обстановке Каширина. «Это такая по части женских немощей подлая душа, – говорили они, – что дамочка и ахнуть не успеет, как он уже, в скромной роли недостойно благодетельствованного, продолжает прерванный разговор!» И это было

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru весьма возможно. Ибо нет ничего удобнее и приятнее, как обожатель, который с женской благосклонностью не только не сопрягает никаких обязательств, но даже никогда ни о чем не напоминает и только скромно и преданно ждет.

Но существовала и другая легенда о том же предмете. А именно, говорили, будто у Каширина имеется в задних комнатах кухарка Амалия, которой он платит несколько более, нежели обыкновенной кухарке, и которая, в одно и то же время, занимается приготовлением для него утреннего кофе и смотрит за его бельем. И будто бы он придумал эту комбинацию, в видах экономии, по примеру отставных чиновников, которые, получая ограниченный пенсион, не могут тратить много на свои удовольствия. Эту легенду, впрочем, пустили в ход друзья-литераторы, и потому солидные люди, не останавливаясь на ней, прямо относили ее к области беллетристики.

Как бы то ни было, но отношения Каширина к женской немощи так и остались неразгаданными.

Однако холостая жизнь и сопряженная с нею бездомовица не остались без влияния на Каширина. От всей его фигуры так и разлило старой девой. И чем дальше он придвигался к старости, тем заметнее становилось это. Привычка быть всегда среди чужих людей (или, по крайней мере, в гостях) выработала в нем особого рода щепетильность, которая, под конец, сделала беседу с ним чрезвычайно однообразною. Дамочки любят скромных обожателей, но в то же время они не прочь и от того, чтоб, от времени до времени, коленопреклонения им были пересыпаемы какою-нибудь милою словесною гнусностью. Поэтому, когда он, рассказав весь запас анекдотов, начинал рассказывать их вновь, то они потихоньку вздыхали и находили, что он как-то чересчур уж мало следит за веком. Время шло вперед и вносило оживляющее, реформирующее начало и в сферу анекдотов. Требовался анекдот сильный, возбуждающий, щекочущий чувственность (даже Матрена Ивановна – и та не избегла общих законов прогресса), а Каширин все продолжал рассказывать о том, как он, в 1845 году, ловил с Аполлоном Майковым пискарей в Парголово озере. Сверх того, с летами он слегка ожирел, вследствие хорошей пищи, а это тоже имело не совсем хорошее влияние на изобретательность ума. Он стал приобретать особые, свойственные одинокому человеку привычки, с трудом отказывался от тех или других удобств, наблюдал известные часы, начал лениться, любить халат и т. д. Сказать ли правду – иногда он даже задумывался: а что, если бы предположение о кухарке Амалии привести в исполнение? То заманчивое и вполне экономическое предположение, в котором Амалия представлялась кюкюлирующею две должности...

Со времени окончания университетского курса, раз поселившись в Петербурге, он уже не покидал его, и только однажды в несколько лет позволил себе коротенькую экскурсию за границу. Провинция он боялся, как огня, и даже командировок не брал, потому что всюду чаял встретиться с тетенькой Агафьей Ивановной. Неоднократно бывшие его «благодетели» приглашали его погостить на лето в свое великолепное пронское имение, но он постоянно уклонялся от этих любезных приглашений, и именно все из-за той же Агафьи Ивановны. Казалось, если бы она умерла, это во многом развязало бы филипу филипычу руки: он стал бы и командировки брать, и ездить на лето в гости к высокопоставленным друзьям. Но, с другой стороны, если Агафья Ивановна умрет, то после нее неминуемо останется имущество, и, по этому случаю, его, конечно, будут разыскивать, яко законного наследника. А этого он боялся пуще всего, потому что тогда не только всем будет известно, что он владелец двадцати пяти десятин земли (это-то, пожалуй, и теперь многие знали), но все получат право говорить об этом гласно, не стесняясь, начнут его поздравлять и т. д.

Выше было сказано, что Каширин избегал говорить о своем происхождении. С летами эта странность не только не ослабевала, но приобретала все большую и большую силу, и всего больше страдала от этого тетенька Агафья Ивановна. С одной стороны, Филип Филипыч отлично понимал, что тетенька нимало не виновата в том, что она существует. По временам он даже с теплым чувством припоминал, как, в детстве, она кормила его, тайно от отца, сдобными лепешками. Но, с другой стороны, ему становилось досадно, когда он ловил себя на этих воспоминаниях. Ему хотелось совсем-совсем забыть и об тетеньке, и обо всем «прошлом». Не имея возможности производить свой род от Рюриковичей, он с любовью останавливался на гипотезе, в которой представлял себя явившимся в пространстве и времени из чего-то вроде пены морской. Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши деньжонок, собралась было навестить «милого филию» в Петербурге, он очень серьезно этим встревожился. Мысль, что она приедет в третьем классе, в

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru затаस्कанным заячьим салопе, что он должен будет, по долгу родства, встретить ее на дебаркадере, что его могут при этом увидеть и что, во всяком случае, лакей Готлиб несомненно выразит глубочайшее изумление при виде столь мало аристократической старухи, не давала ему спать. И он, в первый раз в жизни, решился вполне серьезно и даже резко разъяснить милой тетеньке, какого рода характер должны иметь их отношения на будущее время.

Тем не менее, хотя Каширин, с летами, и утрачивал прежнюю упругость и покладистость, которые делали его особенно достолюбезным, по все-таки он отнюдь не мог жаловаться на судьбу. Знакомство у него было обширное, и он мог черпать в этом море без опасения быть назойливым. Конечно, у него не было таких друзей, которых мысль постоянно стремилась бы к нему, которых сердце болело бы об нем, но все-таки были люди, которые видели его с удовольствием. Эти люди, быть может, не особенно замечали его отсутствие, но, встречаясь с ним, непременно и совершенно искренно восклицали: а! вот и он! Начальство тоже аттестовало его способным и достойным, и всякий раз, когда имелось в виду что-нибудь серьезное, непременно заводилась речь и об Каширине. Он всегда был на очереди и знал об этом, хотя, в этом отношении, над ним тяготел какой-то фатум. Слухи о том, что ему предстоит «пост», ходили часто и держались долго и упорно, но в конце концов дело всегда как-то сводилось на нет. Таким образом, он дослужился до очень крупного чина и все-таки не пошел дальше второстепенной должности. Это, разумеется, довольно больно щекотало его самолюбие, но он умел превозмогать себя, и история обыкновенно кончалась тем, что Филипп Филиппыч дня три-четыре после этого высиживал в домашнем карантине, на бульонной порции, но потом по-прежнему являлся в департамент для получения присвоенного ему содержания.

Впрочем, несмотря на эти маленькие неприятности, Филиппу Филиппычу грех было роптать. Служба у него была легкая, благородная, хорошо оплаченная, одна из тех служб, по поводу которых говорят: умирать не надо. Урочных работ не было, и все занятия, главным образом, заключались в том, что он был членом множества комиссий и во всякой умел заявить себя с приятной и полезной стороны. А это еще более расширяло круг его знакомства и стало быть, разнообразило и его ежедневный обеденный меню. [13]

Как бы то ни было, все время так называемого сезона Каширин не только жил в свое удовольствие, но даже не примечал, как время летит.

Зато летом он скучал, особенно с тех пор, как почувствовал приближение лет зрелости. Знакомые разъезжались; комиссии прекращали занятия; в департамент чиновники являлись неаккуратно и слонялись точно на биваках; Петербург казался пустым. Когда Каширин был молод, он поочередно разъезжал по знакомым, которые ютились в ближайших к Петербургу дачных местностях и у которых он гостил по нескольку дней. Но с годами он приобрел привычки, которые не легко мирились с разъездами и бивачной жизнью, и в то же время утратил легкость и нестомчивость, необходимые для пользования летними удовольствиями. Он уставал во время прогулок, без особенной готовности принимал участие в катаньях на лодках и в чухонских таратайках и вообще понял, что быть гостем на даче даже у близких людей стеснительно. Поэтому лето сделалось для него сезоном трактирных обедов и желудочных расстройств, как прямого последствия этих обедов. Вечером он обыкновенно отправлялся в увеселительное место; по праздникам – в Павловск, по будням – преимущественно в Демидрон. Тут он был уверен встретить ежели не коренных своих знакомых, то их детей. И такова была в нем потребность общества, что он не только не брезговал молодыми людьми, но даже старался «быть с молодыми молодым», и вследствие этого охотно принимал вид милого старичка-мерзавца и по временам отпускал скромную гнусность насчет атуров девицы Филиппо. Аллеи Демидрона оглашались громким и сочувственным хохотом «детей», внимая которому Филипп Филиппыч выступал горделивой походкой индейского петуха, отнюдь не подозревающего, что в ближайшем будущем ему окончательно предстоит сделаться каплуном.

Впрочем, эти скромные гнусности представляли в общем обиходе его жизни исключение. Они были вынуждены одиночеством, потребностью общества и необходимостью стоять на одном уровне с молодежью. С наступлением сезона Каширин забывал об них и начинал с самым серьезным видом переливать из пустого в порожнее.

И вдруг все это безмятежие, созданное ценою таких усилий и так зрело и строго со всех сторон обдуманное и комбинированное, разом рухнуло.

Выше было сказано, что Каширин был либерал. Либерализм этот был смирный, не особенно требовательный и состоял в том, что он тихое житие предпочитал житию тревожному. Кроме того, он любил почитать «книжку» и думал, что это «ничего»; по временам задавал себе вопросы: за что? почему? и когда не находил на них ответа, то грустил. И еще нередко он останавливался на мысли: что из сего произойдет? и когда, по соображениям его, выходило, что ничего хорошего произойти не может, то опять-таки грустил. И эти вопросы, и эту грусть он считал вполне безопасными, ни для кого не соблазнительными, и, в качестве человека интеллигентного, даже полагал, что человеку, кончившему курс наук, невозможно без них обойтись. Разумеется, однако ж, со всем этим либеральным арсеналом он обходился с крайнею осторожностью, дабы не ввести простодушных людей в соблазн, а подозрительным людям не подать повода к предположениям о потрясениях и попиранях. Сверх того, как известно уже, в его существовании большую роль играла склонность к литературе, и он имел слабость не считать ее ни распространительницей моровых поветрий, ни складом ядовитых веществ, ни разбойничьим притоном.

С таким умеренным, осторожным и отчасти грустящим мирозерцанием он прожил всю жизнь и не имел причин жаловаться, чтоб это сколько-нибудь ему повредило при прохождении должностей. Начальники тоже знали его за чиновника откровенно либерального, но так как они и сами были люди откровенно либеральные, то не видели никакого ущерба для дела в том, что человек, беспрекословно выполняя мероприятия и преднамерения, по временам грустил. Правда, что иногда начальство, грозя пальчиком, называло его «амарантовым» [14] (не красным – нет!), но называло так шутя и любя. Да и он знал, что это делается «шутя», и ежели краснел при этих напоминаниях, то краснел не от угрызений совести, а именно только от внутреннего ликования.

И вдруг времена созрели. Выбралась минута, когда все эти вопросы и грусти встали перед Кашириным в совершенно непредвиденной им безобразной наготе. Минута, в продолжение которой весь его скромный жизненный обиход пролетел перед его вспугнутою мыслью в виде бесконечного и сплошного преступления. Минута, в продолжение которой он должен был ознакомиться с истиной, что «так нельзя», узнать, что присутствие в комиссиях «не терпит суеты» и что пользование дивидендами и грусть по этому поводу суть вещи несовместимые. Минута, в которую он должен был убедиться, что для либеральной грусти нет возврата, что она ничем не смывается, не заглаживается: ни раскаянием, ни твердым намерением впредь идти веселыми стопами, и что, следовательно...

Главное во всем этом переполохе заключалось для Каширина в том, что он должен был от А до Z пересмотреть свой бюджет и большинство его статей подвергнуть радикальной переработке.

Надежнейшею доходною статьею этого бюджета представлялась пенсия; затем, к счастью, он не только не истратил оставленного ему пронским благодетелем капитала, но и сделал, в течение многолетней службы, некоторые сбережения. Эти сбережения были не весьма значительны, но все-таки нечто представляли. В итоге, общий годовой доход образовал сумму приблизительно в три с половиной тысячи рублей. На эти деньги предстояло жить изо дня в день, поддерживая себя на высоте той респектабельности, которая вошла уже в его привычки и, что еще важнее, служила самым прочным основанием заведенных им связей.

За приведением в ясность цифры годового дохода, само собой разумеется, последовало подробное рассмотрение расходных статей бюджета.

Остаться ли ему при прежней квартире (он платил за нее, с отоплением, девятьсот рублей в год, а с швейцаром и дворником и всю тысячу рублей) или переехать на новую, более соответствующую его нынешней финансовой силе? Этот вопрос Каширин, почти не думая, решил в пользу старой квартиры. Здесь он жил больше пятнадцати лет и в течение этого длинного периода времени успел устроить свое гнездо так, что оно отвечало всем причудам старого холостяка. Как человек от природы солидный, он и в молодости неохотно перемещался с квартиры на квартиру, теперь же самая мысль о переезде представлялась ему ненавистною. По особенной случайности, и хозяин дома, в котором жил Филип Филипыч, тоже был человек солидный и исконный домовладелец, поддерживавшийся от надстроек и перестроек и делавший на квартирантов лишь «христианские» надбавки (Каширин, однако ж, помнил время, когда он за эту самую квартиру платил только четыреста

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рублей в год). С своим домовладельцем Филип Филипыч даже близко сошелся, обедал у него и проводил за пулькой вечера. Расстаться с ним представлялось как бы изменою. Сверх того, каждый шаг в этой квартире напоминал ему что-нибудь приятное и даже памятное. Вот здесь ему подали конверт, извещавший его о награждении орденом св. Анны 2-й степени (это был первый полученный им орден, помимо всяких петлиц и даже помимо св. Станислава вторья); вот на том месте он получил известие о назначении его членом общего присутствия, а вот там сам директор вручил ему (лично для этого приезжал!) звезду Станислава 1-й степени, причем выразил уверенность, что Каширин и впредь будет лучшим украшением ведомства «Дивидендов и Раздач». В этой квартире он сосредоточил тысячу безделушек, которые с таким тщанием собирал в течение целой жизни: здесь хранились разные сувениры, вышитые подушки, коврики, подаренные дамами; эту квартиру он гордился, когда у него, раз или два в год, собирались знакомые дамы, слушали piano mécanique и кушали конфеты, фрукты и мороженое. И вдруг, расстаться с этим дорогим, излюбленным гнездом... никогда!

Итак, вот первая статья расхода в тысячу рублей (почти треть всего доходного бюджета), которую ни под каким видом урезать нельзя.

Вторая статья – лакей Готлиб. Готлиб, яко немец, получал с едой четыреста восемьдесят рублей в год, а с праздничными выходило даже несколько более пятисот рублей. Расход этот оказывался несомненно непосильным. Ежели, на место Готлиба, нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублем на двести дешевле, но зато, во-первых, от Прохора наверное будет вонять, во-вторых, он непременно будет ходить в гости в барских брюках и сюртуках, в-третьих, станет постепенно пропивать господское белье, в-четвертых, из квартиры-игрушечки сделает свиной хлев. В результате окажется убыток, вдвое больший против того, чего стоит сам Прохор со всеми своими потрохами. Ежели же нанять не Прохора, а Амалию, то еще бабушка надвое сказала, дешевле ли она обойдется, нежели Готлиб, особливо если Амалия... Хотя же он, при почтенных своих летах, и надобности существенной не находил в женском уходе, но ведь с другой стороны... Но предположим, что он и устоит против искушения – кто же, однако, поручится, что один факт пребывания Амалии в его квартире не подаст повода для бесчисленных и притом незаслуженных анекдотов? Вот если бы он держал дома обед и Амалия могла совместить в своем лице и кухарку, как это водится у отставных чиновников, населяющих Колтовские, – ну, тогда...

О, вопросы о выеденном яйце! о мучительнейшие, горчайшие из всех вопросов человеческого существования! Каким тяжелым гнетом лежите вы на этом бедном человечестве, которое получает каких-нибудь три тысячи пятьсот рублей в год и обязывается обрядить и приютить на них свою голову! И сколь несноснейшим еще гнетом вы должны лежать на том человечестве, которое на тот же предмет располагает не более двадцатью – тридцатью копейками в день!

В конце концов, дело Готлиба было выиграно, и таким образом расход по двум первым статьям составил полторы тысячи рублей в год.

Статья третья: прачка. Каширин был и сам по себе чистоплотен, но, сверх того, он до известной степени и обязан был быть чистоплотным. Нельзя проводить большую часть дня в гостях и в то же время не представлять собой образца самой щеголеватой опрятности. Ежели знакомые радушно принимают у себя и кормят обедами и ужинами, ежели жены их удостоивают знаками доверия и дружбы, то, по малой мере, эти люди вправе ожидать, чтоб предмет этого радушия и дружбы носил чистое и благоуханное белье. Каширин понимал это и потому никогда не тратил на прачку, духи, губки и прочие туалетные принадлежности менее трехсот рублей в год. Об нем говорили, что от каждой части его тела пахнет особенными духами, и он гордился этим. Он гордился, что на всем теле у него ни пятнышка, ни прыщика, что лысина на его голове не лоснится и не отливает желтизною, а имеет вид матово-белой поверхности с легким розовым оттенком, что ни на щеках, ни на носу у него нет неприятных синих жилок, что бакенбарды его щегольски расчесаны веером, а усы и подбородок тщательно каждый день выбриты. Мог ли он думать о сокращениях по этой статье теперь, когда потребность в людском радушии и дружбе делалась для него более, нежели когда-нибудь, необходимою? – Разумеется, не мог! Напротив того, теперь – то именно и предстояло напрячь все свои силы к тому, чтоб ни зрение, ни обоняние радушных амфитрионов ни на минуту не были оскорблены по его поводу.

Итого, по трем статьям, тысяча восемьсот рублей.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Статья четвертая: одежда и обувь. Здесь Каширин надеялся достигнуть существенных сбережений. Обычно он заказывал платье у Шармера и не видел причины отказать от этой фирмы и на будущее время. Но до сих пор он был поистине чересчур расточителен относительно одежды. Он освежал свой костюм каждый сезон и даже в домашнем неглиже позволял себе прихотливое разнообразие. Вследствие этого у него образовался громадный запас платья, очень мало ношенного, о котором он редко вспоминал и которое висело в шкапу без всякого употребления. Теперь наступило самое время утилизировать этот запас и всё, что можно, пустить в ход. Но как он ни старался сократить свои расходы по этой статье, все-таки оказывалось, что без четырехсот рублей в год вполне respectable человеком остаться нельзя (прежде он тратил на этот предмет не менее, чем полторы тысячи рублей). С понижением этой цифры начинается та рубрика людей, которая известна под именем: *hommes déclassés*. [15] Это люди в панталонах с осыпавшимися конечностями, в сюртуках с лоснящимися и прорванными локтями, в сапогах, напоминающих своей формой рыбу камбалу. Попасты в эту рубрику... ужасно! ужасно!

Нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!

Конечно, есть люди, которые и в пир, и в мир, и утром, и в полдень, и вечером являются в одном и том же пиджаке, но...

Итого две тысячи двести рублей.

Статья пятая: экипаж. К экипажу Каширин и прежде прибегал довольно редко. Смолоду он приучил себя к мысли, что моцион необходим, а впоследствии привычка к чужим обедам еще более укрепила его в непреложности этой истины. Все знакомые были убеждены, что Каширин ходит пешком не из скарденности, а по принципу, и в то же время понимая, что он не имеет средств содержать собственный экипаж (он и сам не скрывал этого), даже одобряли в нем ту инстинктивную гадливость, которая заставляет respectableного человека лишь в крайних случаях прибегать к извозчику. Но, увы! Каширину перевалило за пятьдесят; он чувствовал припадки одышки и начал припадать на одну ногу... Это значительно усложнило дело. А сверх того, и обычные петербургские ненастья, которые, в силу пословицы «где тонко, там и рвется», вдруг предстали перед Филипом Филипычем во всей своей безрассветности... Словом сказать, как ни изворачивайся, а без двухсот рублей по этой статье обойтись нельзя.

Итого две тысячи четыреста рублей.

Статья шестая: расходы мелочные. Они неуловимы, но несомненны. Недаром они заслужили название расходов общежития по преимуществу; недаром расходы самые существенные очень часто стухеваются перед ними. Из-за расходов этой категории люди отказывают себе в правильном питании, впадают в неоплатные долги, разоряются. Все эти Берты, Сюзетты, Эмилии – все это расход мелочной, расход общежития, не подходящий ни под какую рубрику солидного домашнего бюджета. Но и помимо Берт, нельзя, например, отказать себе в удовольствии съездить от времени до времени в театр, особенно к французам. Это предохраняет от одичалости и, сверх того, дает прекрасное содержание для *conversations de société*. [16] А если ездить в театр, то не сидеть же где-нибудь в дешевых местах, когда половина залы наполнена знакомыми. Затем: нельзя, встретившись на улице с приятелем, направляющим стопы свои в ресторан, не войти с ним вместе и чего-нибудь не съесть. Нельзя не отвезти дорогой именинице или новорожденной конфет. Наконец, обедая каждодневно в людях, невозможно, от времени до времени, не делать маленьких подарков прислуге. Ибо, в противном случае, какой-нибудь хам будет захлопывать дверь у вас перед носом, будет снимать с вас пальто совершенно так, как бы сдирал кожу, будет в вашем присутствии ковырять в носу, наконец, подавая за обедом блюдо, будет толкать в плечо, чтоб не зевали, брали скорее. Ах, эти мелочные расходы! Очень редко их принимают в расчет, но кто же не знает, какую роль они играют в человеческом существовании! Спросите любого лакея (хама!!), получающего пятнадцать рублей в месяц жалованья, – и тот скажет, что из них десять уйдут «так, между пальцев». Обычно на выручку тут приходят случайные доходы, но у Каширина таковых не предвиделось, и он волей-неволей должен был занести эту статью в свой бюджет в цифре строго определенной. Долго он колебался между четырьмя- и пятьюстами рублями и, наконец, вынужден был сознать, что менее, чем пятьюстами рублями, и думать извернуться нельзя.

Итого две тысячи девятьсот рублей.

Статья седьмая: сигары. При одной мысли об этой статье Филип Филипыч побледнел, и ему даже показалось, что в кабинете его уже запахло папиросами. Дело в том, что он выкуривал не менее двух сотенных ящиков в месяц, платя за сотню от пятнадцати до двадцати рублей, что составляло в год расхода более четырехсот рублей. Цифра громадная, особенно ввиду того, что свободных сумм в доходном бюджете остается всего шестьсот рублей. Тем не менее она являлась до такой степени необходимой и даже неизбежной, что Каширин решил просто не думать об ней. Он занес ее расходом и махнул на всё рукой.

Свободной суммы осталось всего на всё двести рублей, и вот тут-то выступил во всей безобразной наготе:

ОБЕД!!!

О правильном, ежедневном обеде Каширин, конечно, уже не помышлял: он понимал, что карьера его, как прихлебателя, не только не кончилась, но, так сказать, вступила в новый и острый фазис. Однако ж возможны случаи, когда, несмотря на обширность круга знакомых и их радушие, самый изворотливый прихлебатель может найтись в необходимости от времени до времени отобедать на свой собственный счет. Таковы случаи болезненных припадков, которые, в последнее время, повторялись с Кашириным очень нередко; затем случаи проливного дождя, бурь, градобитий, моровых поветрий, неприятельских вторжений и т. д., когда даже чувство приличия не позволяло являться к обеду «запросто» (могут сказать: вот до чего проголодался человек, что даже среди грома и молний разнюхал, что готовится на кухне). Наконец, и такие случаи возможны, что придется обедать к фома фомичу, и вместо обычного приветствия: пожалуйста! кушать накрыто! – услышишь, что фома фомич приказали долго жить. Знакомые же у Каширина всё были такие, которые более или менее склонялись к закату дней; следовательно, убыль в их рядах была даже естественна. Вот Петр Петрович с утра до ночи кашляет, а Лукерья Ивановна сказывала, что и с ночи до утра никому покою кашлем не дает; Лука Лукич постоянно на плечо жалуется; Иван Иванович одну ногу волочит; Семен Семеныч – съест тарелку супа и запыхается, словно семь верст пробежал. Можно ли, в виду этих немощей, рассчитывать на верный обед? Ряды стариков редеют и будут редеть... а их дети? Можно ли предполагать, что они будут поддерживать родительские традиции? Увы! они и теперь поглядывают на Филипа Филипыча исподлобья – точно хотят сказать: однако ж, брат, аппетит у тебя! – что же будет тогда, когда одышки, параличи и ревматизм, одержав победу и одоление над старыми орлами, развяжут руки этим выглядывающим исподлобья орлятам?

Но этого мало – а лето? Лето по-прежнему дамокловым мечом висит над головой Каширина; лето мертвое, голодное, требующее во что бы то ни стало обеда на собственный счет! Прежде, когда он вкушал от дивидендов и когда бюджет его представлял избыток, этот экстраординарный расход не особенно тревожил его; но нынче, когда в бюджете предвиделось всего двести рублей...

– А ведь с двумястами рублями, пожалуй, не обернешься! – мучительно размышлял Филип Филипыч, – если на летнее время да на непредвиденные случаи положить только пять месяцев в году, то есть полтора года дней, то и тогда, считая по два рубля за каждый обед... Не в греческую же кухмистерскую, в самом деле, идти!

Во всяком случае, доходный бюджет оказывался исчерпанным без остатка. С грехом пополам концы сводились с концами, но стоило явиться малейшей случайности, чтоб равновесие нарушилось и произошел мучительный скандал. Перед Кашириным стояло своего рода прокрустово ложе, в котором он обязывался ожидать заката дней своих, не шевелясь и даже не позволяя себе чересчур свободного вздоха.

В первый раз в жизни ему сделалось жутко.

На первых порах Каширин, однако ж, не только не ощутил никакой перемены, но даже как бы вошел в моду. Никто не запер перед ним дверей, и всякий, напротив, спешил выразить ему свое сочувствие. Посыпались вопросы: каким образом? почему? и, главное, за что? На вопросы эти Филип Филипыч отвечал скромным мычанием, не позволяя себе критики, но в то же время предоставляя каждому измерить всю глубину его невинности. Ввиду этой скромности, симпатии, разумеется, еще более усилились. Тайный советник Стрекоза недоуменно шевелил густыми бровями и не то уныло, не то неодобрительно покачивал головой; статкий советник Растопыря

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru растерянно спрашивал себя: куда же мы, наконец, идем? Что же касается до второстепенных чиновников ведомства «Раздач», то они даже решили прямо протестовать, устроив в честь Каширина обед, и только по внимательном обсуждении последствий этой демонстрации отложили приведение ее в исполнение до более благоприятного времени.

Дамы тоже приняли деятельное участие в этих симпатиях. Они, наперерыв друг перед другом, зазывали Каширина к себе, заставляли каждого кушанья брать по два раза и вообще чествовали.

– В четверг у нас будет Каширин. Душка! вы приедете? – говорила Марья Ивановна, приглашая Анну Петровну.

– Каширин? Это не тот ли Каширин, который...

– Ну, да, Каширин... тот самый Каширин, который высоко держал знамя... конечно, вы слышали?

Такие знаки внимания очень тронули Филипа Филипыча; однако ж у него не закружилась от них голова, и он продолжал вести себя с замечательным тактом. Он не только не жаловался на неблагодарность начальства, но даже оправдывал его. Начальство не могло иначе поступить. Но и он, с своей, стороны, не мог поступить иначе. Он не пожертвовал своими убеждениями и сохранил свое достоинство – а это главное. Ему предстоял к будущей Пасхе чин тайного советника, но он сказал себе, что лучше на всю жизнь остаться действительным статским советником, нежели выпустить из рук знамя, которое он, в течение всей жизни, высоко держал. В свое время он был нужен – и всякий клич во всякое время и на всяком месте находил его готовым и способным. Теперь обстоятельства переменились; потребовались люди иного закала, он сделался ненужным – он понимает это и не ропщет. Возьмите вот этот сюртук: сегодня он нов, фасонист – и его носят с удовольствием; завтра в нем продрались локти – и его бросают. Знамя, которое он высоко держал, оказалось несоответствующим требованиям времени – он сознал это и спрятал знамя в карман. Но он надеется, что спрятал его не навсегда и что наступит момент, когда начальство, наконец, оценит. Скоро ли этот момент наступит – он не знает, но верит, глубоко верит, что песня его далеко не спета. Тогда он вынет знамя из кармана и опять начнет высоко держать его. Притом же ему время и отдохнуть. До сих пор он без усталости трудился; теперь – пора и ему узнать, что такое свобода. Чувство свободы, *mesdames*, [17] – это такое чувство... ах, какое это чувство! Все равно что после длинной-длинной зимы в первый раз выехать, в теплый апрельский вечер, на Елагин остров, на *pointe*! [18] Вот это какое чувство! Дышится полной грудью, а мысли так и плывут, всё светлые, радостные мысли. А главное, на нем не лежит теперь никаких обязанностей, так что он всего себя может посвятить своим друзьям. Притом же он имеет вполне обеспеченный кусок, а потому и в материальном отношении особенного стеснения не предвидит. Вообще он больше доволен, чем огорчен, и ежели кто-нибудь будет по этому случаю ощущать угрызения совести, то, конечно, не он...

– А бог когда-нибудь всех рассудит! – смиренно прибавлял он в заключение.

С трогательным изумлением внимали «чины» этим разумным речам и от полноты души восклицали: вот истинный христианин! А дамы и дамочки к сему присовокупляли: *ma chère! il est sublime d'abnégation!* [19]

– А мне так сдается, что мы с вашим превосходительством еще послужим! – обнадеживал его тайный советник Стрекоза, ласково похлопывая по коленке.

На что Каширин, с своей стороны, отвечивал:

– Что касается до меня, то не могу и не имею надобности скрывать: я всегда готов!

И с этими словами предлагал *madame* Стрекозе руку, чтоб вести ее в столовую.

Словом сказать, со всех сторон на него сыпались приглашения и напоминания, а ежели он манкировал, то и нежные упреки.

По счастливой случайности, в это же критическое время ему повезло и в преферанс. Как будто сама судьба охраняла его крылом своим. Имея обыкновение каждый день,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru по возвращении домой, записывать свой проигрыш или выигрыш, он, к концу первого месяца свободы, сосчитал, что осталось по картам в барыше на семьдесят один рубль сорок пять копеек. Стало быть, надежда на случайные статьи дохода еще не исчезла. Составляя свой бюджет, он понимал, что существует особая и очень существенная статья: «занятие картами», но так как он не знал, как ее сосчитать, доходом или расходом, то и предпочел лучше не упоминать об ней вовсе. Теперь же оказывалось, что это статья несомненно доходная и что ежели на будущее время взглянуть на нее серьезным оком, то... Это так его ободрило, что он почти светло взглянул в лицо будущему и тут же включил в свой доходный бюджет новую статью: «От занятия картами 800 р.», добавив, впрочем, в скобках: «доход неокладной».

Словом сказать, ничего в его обиходе, казалось, не изменилось, и только утро сделалось как будто несколько длиннее. Прекращение обязательной ходьбы в департамент оставило за собой пустоту, которую он наполнял лишь с трудом. Он ходил из комнаты в комнату, внимательно перечитывал газеты (одну он выписывал сам, другую ему обязательно сообщал домовладелец), свистел, напевал, даже вертел ручку на piano mécanique, чего прежде с ним никогда не бывало. Но более всего его выручала так называемая «писанная» литература. В нашем интеллигентном обществе во всякое время ходят по рукам таинственные и до крайности либеральные «записки» и «проекты». То статский советник Растопыря пустит в ход «И мою лепту», то тайный советник Стрекоза потихоньку показывает знакомым «Мой посильный вклад»; то престарелый «Опытный сановник Чимпандзе» излагает кратко «А мое мнение – всё истребить и сим способом прекратить дальнейшее распространение язвы». По временам появится и из провинции какой-нибудь выходец с лона природы и тоже по секрету докладывает свою «капельку». И в каждой из этих «лепт» высказывается: вот это – прекратить, а вот это – развить. И в каждой автор попеременно то иронизирует, то содрогается, то предается сладким упованиям. И каждая «капелька» читается с жадностью, служит предметом нескончаемых разговоров «потихоньку», во свидетельство, что российское свободомыслие, подобно достославному курилке, не умирает. Каширин предавался чтению подобных записок с увлечением. Он чутьем пронюхивал о существовании чего-нибудь новенького в этой области и непременно доставал. Наглотавшись вольномыслия, он смело глядел в глаза предстоящему обеду «в гостях», зная наперед, что тема для собеседования готова. А ежели, при этом, появлялись в газетах еще какие-нибудь неожиданные производства и назначения, то разговор достигал размеров такого преступного дерзновения, что некоторые из присутствующих даже наматывали себе на ус...

Покончивши с утром, он выходил в четыре часа на Невский и прогуливался, стараясь при этом как можно меньше припадать на ногу. По временам заходил куда-нибудь с визитом и узнавал новости дня, причем непременно обнаруживалось нечто до того изумительное (и смешно, и больно!), что с языка его невольно срывались: да куда же мы, в самом деле, идем! В шесть часов, предварительно переодевшись, он у кого-нибудь обедал и во время обеда рассуждал о мерах, предлагаемых в только что прочитанной «записке» земского деятеля Пафнутьева. Рассуждал солидно и умно, и притом стараясь, чтоб пафнутьевские мысли были понятны даже для дам. После обеда, если устраивалась пулька, то садился за преферанс, причем держал карты так, чтоб любопытствующий Растопыря не мог видеть его игры. Ежели же пулька не составлялась, то отправлялся в театр или же в другой знакомый дом, где, по его соображениям, хозяин должен был выть от тоски, в ожидании, не зайдет ли кто на огонек. Здесь немедленно делалось распоряжение о привлечении других партнеров; затем развешивались столы, и вечер незаметно проходил среди возгласов: пас, куплю, семь без козырей и т. д.

И, в заключение, ужин, а за ужином, разумеется, новое изложение пафнутьевских идей...

В этом приятном круговороте прошел весь зимний сезон. Под конец Каширин так возгордился, что порою ему даже думалось, что начальство уже сознало свою ошибку и что не сегодня, так завтра к нему прискачет из департамента курьер с запечатанным конвертом. Однако дни проходили за днями, а курьер не приезжал. Это в одно и то же время и изумляло, и пугало его. Изумляло потому, что, перечисляя в своем уме персонал ведомства «Дивидендов и Раздач» и отдавая, впрочем, каждому должное, он, по справедливости, находил, что в этом департаментском букете он представлял собою цветок, по малой мере не уступавший, в смысле красоты и благоухания, прочим, стоящим у источников дивидендов, цветкам. Пугало – потому что для человека, всю жизнь игравшего деятельную роль в известном деле, не может быть ничего страшнее, как мысль: а что, ежели обо мне забыли?

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Рассуждая по совести, он не мог не прийти к убеждению, что хотя он и отлично-достойный цветок, но что цветков приблизительно такой же красоты и такого же благоухания все-таки существует в природе больше, чем достаточно. Что, следовательно, нет ничего легче, как составить, во всякое время, какой угодно департаментский букет. Возьми Иванова, Федорова, Гаврилова, перемешай их с Перерепенкой, Козулей и Уховертовым, а в серединку, для красоты, воткни что-нибудь подушистее – и букет готов. Сначала, быть может, он будет благоухать несколько робко, но чем дальше, тем сильнее и смелее. Гавриловы, Уховертовы и Козули на то и созданы, чтоб соответствующим образом благоухать под начальственным руководством. Но этого мало: всего важнее то, что они растут решительно везде, на всяком месте, так что стоит только протянуть руку, чтоб сорвать Федорова или Перерепенку, совершенно равносильных Козуле и Иванову. Поэтому, когда, по каким-нибудь причинам, Уховертов выбывает из букета, то немедленно на его месте появляется Гаврилов, который уже давно пробивался тут же, где-то под мочалкой, обвязывающей букет, но его покуда не примечали.

Филип Филипыч должен был сознаться, что все это вполне верно и бесспорно и что даже он сам, во времена своего департаментского благополучия, открыто проповедовал теорию беспрепятственной замены Ивановых Федоровыми и наоборот. Себя он, разумеется, выключал тогда из этого оборота, так как думал совершенно искренно, что лично он благоухает особо и несравненно; но теперь, за неприбытием курьера с запечатанным конвертом, в его голову начали западать на этот счет сомнения. Что, ежели и он принадлежит к тому бесчисленному сонмищу Ивановых, Федоровых, Гавриловых и проч., которые неприхотливо прозябают при всяком проезжем шляхе и с которыми можно поступить по вдохновению, то есть или воспользоваться ими, как составною частью букета, или просто сорвать, понюхать и бросить?

Оставалось, впрочем, в запасе одно утешение: Ивановы и Гавриловы – люди бесцветные, индифферентные, а он заведомый либерал. Следовательно, когда либеральные начинания восторжествуют, то без него не обойтись... Но тут его мысль как-то сама собой останавливалась, словно встретила какое-то совсем забытое соображение. Чего он, однако ж, желает? Торжества либерализма? Но разве либерализм уже не торжествует? разве того, что есть, – мало? разве желать либерализма большего и сугубого не значит просто напросто желать разнузданности страстей?

То-то вот оно и есть...

Он начал взвешивать и соображать и, как человек солидный, не замедлил прийти к убеждению, что все, что требуется, уже есть и что дальнейшие ожидания свидетельствуют лишь о прихотливой затейливости нетвердого ума. Следовательно, он был тогда неправ. И тогда был неправ, когда, по поводу того или другого назначения, испускал фрондирующее мычание, и тогда, когда, по поводу какого-нибудь административного мероприятия, либерально восклицал: эге! А ежели он был неправ (теперь он уже сознавал это не токмо за страх, но и за совесть), то что же мешает ему исправиться, воссоединиться, сжечь «знамя» в печке, одним словом, раскаяться? Но тут его мысль опять прерывалась, и притом без всяких объяснительных мотивов, самым оскорбительным образом.

– Ну, нет, mon cher! [20] – говорил он себе с ироническим злорадством, – шалишь! Теперь твоему раскаянию уж не поверят... не так-то просто! Теперь хоть ты источники слез пролей – и тогда скажут, что это крокодиловы слезы!

Подумавши это, он, однако ж, слегка покраснел и даже тревожно оглянулся вокруг, как бы опасаясь, чтоб Пафнутьев не сделался свидетелем его маловерия.

Как бы то ни было, но не едет департаментский курьер... да и не приедет!!

Как нарочно, лето в этом году выдалось из ряда вон скучное. Наиболее короткие знакомые, словно сговорившись, разъехались раньше обыкновенного, и, вдобавок, кто за границу, кто в дальнюю деревню, так что всякая надежда около кого-нибудь пощечиться исчезла безвозвратно. Каширин вспомнил, что где-то на Песках, в Слоновой улице, живет титулярный советник Каверзнев, у которого он когда-то воспринимал от купели сына. Чуть-чуть было он не решил направиться к нему: приехал, мол, к крестному сыну за просто хлеба-соли отведать, но подумал немного и отложил свое намерение. Не потому, чтоб он был прихотлив насчет еды, но потому, что аппетит покуда еще не одержал победы над совестью.

Волей-неволей пришлось коротать время одному. Скука была страшная, пожирающая; день, и без того длинный, в одиночестве казался нескончаемым. С трудом успеешь сбыть утро, как уже со страхом помышляешь о предстоящем вечере. Каширин начал усиленно играть на piano mécanique и ежедневно переигрывал по несколько раз все пьесы репертуара. На его несчастье, и Пафнутьев временно умолк, так что и рукописных «лепт» не оказывалось. В этой крайности он предпринял ходить к Доминику, где часа полтора или два просиживал в бильярдной, наблюдая за чудесами клапшtosов и карамблей, но и тут случился скандал. Так как Филип Филипыч ничего не потреблял, а следовательно, и не расплачивался, то, после нескольких посещений, гарсоны стали перешептываться между собой, подозрительно кивая в его направлении. И вот однажды, когда он уже взялся за ручку двери, чтоб выйти на улицу, один из гарсонов подошел к нему и учтиво пригласил заплатить за съеденный пирог. Каширин пирога не ел (он даже, по изнеженности своей, не понимал, как можно что-нибудь есть у Доминика), однако протестовать не решился, вынул гривенник и заплатил. Но, разумеется, с тех пор к Доминику ни ногой.

Однако надо же было что-нибудь выдумать, чтоб убить время. Однажды, прочитав в газете, что молодая француженка ищет поступить компаньонкой к пожилому холостяку или вдовцу, он отправился по адресу. Разумеется, он желал только провести время, но оказалось, что «вдовец» уж нашелся и, по-видимому, даже поладил. Так что когда Каширин явился, то посещение было принято совсем в другую сторону, и, вследствие этого превратного толкования, он «едва унес ноги».

Тогда он обратил внимание на няnek и бонн, и это действительно на время развлекло его. Как вдруг в газете «Краса Демидрона» появилась такого рода статья:

НОВЫЙ ДОН-ЖУАН

«Недавно появился в Петербурге особого рода ценитель женских красот, который избрал предметом своих любострастных наблюдений няnek и бонн. Прочитав в газетах об ищущих места няньках, он является по адресу, и ежели находит молодую особу по своему вкусу и притом без покровителей, то без церемоний предлагает последовать за ним в трактир, на что некоторые, по неопытности, и соглашаются. Но не все. Так, например, на днях этот господин удостоил своим посещением девицу Р. (11-я рота Измайловского полка, 417, согласна в отъезд), особу весьма бойкую и замечательно красивой наружности; но едва начал он формулировать свое предложение, как из-за ширм выскочил наш репортер Помойкин (находившийся, впрочем, там с целями, заслуживающими всякой похвалы) и, в свою очередь, предложил любострастному Дон-Жуану проследовать вниз по лестнице.

Кувыркoм, кувыркoм...

Что последний и выполнил при общем хохоте высыпающих из квартир на шум жильцов. К сожалению, г. Помойкин, впопыхах, не полюбопытствовал узнать фамилию этого господина, но приметы его таковы: достаточно стар, волос на голове мало, лысина содержится опрятно, бакены веером, одет прилично и даже щеголевато, употребляет духи, на одну ногу припадает. Некоторые из жильцов дома № 417 уверяют, что видели его в казначействе получающим пенсию.

Предостерегаем воспитательниц нашего молодого поколения и убеждаем их оставаться неуклонно на высоте своего призвания. А вы, господин Дон-Жуан! подумали ли вы, какую преступную игру вы предприняли и на кого обратили ваши взоры, исполненные любострастного огня?!»

После этого ему оставалось и еще одно развлечение: отыскивать по объявлениям пропавших собак, но для такой забавы у него был уже чересчур большой чин.

Обедать он чаще всего ходил в Летний сад и, разумеется, старался употребить как можно больше времени на выполнение этого обряда. Но четыре тощих блюда съедались с обидною быстротою, и к семи часам Филип Филипыч не без страха примечал, как подкрадывается к нему вечер. В былое время он сладил бы с вечером легко: закатился бы в Демидрон, и дело с концом, но при теперешнем положении бюджета Демидронов не полагалось, и он волей-неволей возвращался домой, где, в качестве развлечения, его ожидал чай с филиповским калачом.

Пробовал он раньше спать ложиться, но выгоды от того не получил, потому что чем раньше ложился с вечера, тем раньше просыпался утром.

К довершению всего, черт принес из Полтавской губернии Растопырю. Приехал Растопыря один, без жены, и сейчас же отъявился к сердечному другу. Каширин, впопыхах, было обрадовался, думал: Растопыря – он гостеприимный. Но Растопыря был тоже себе на уме; как ввалился, так сейчас же и объявил:

– Я, дружище, в Петербург всего на неделю приехал. Утром – в департаменте и по делам буду хлопотать, а обедать и вечерок провести – к тебе!

И вот, вместо того чтоб на счет Растопыри малороссийское сало есть, он же должен был на собственные деньги ежедневно брать у Палкина два рублевые обеда и выслушивать, как изнеженный Растопыря, уписывая за обе щеки, нет-нет да и заметит: воля твоя, а от супа чем-то воняет!

Наконец наступил август, и вечера потемнели. Полились дожди, потянуло холодом, сыростью, улицы утонули в грязи. Скука и одиночество начали давить еще сильнее. Но увы! все это безвременье происходило только в Петербурге. В провинции, напротив того, судя по газетным корреспонденциям, давно не запоминали осени, столь благодатной, благоухающей, волшебной. И никогда в Париже, на водах и морских купаньях кокетки не предъявляли такого роскошного декольте и не бывали так увлекательны. Петербуржцы съезжались беспримерно туго, а те, которые приезжали, требовали времени для приведения в порядок своих логовищ и занимались переборками и разборками с медленностью поистине возмутительной. Наконец к концу сентября кое-как все уладилось.

Каширин ринулся в сезонный круговорот с увлечением и страстностью человека, который долго и безнадежно терпел. Прежде всего он побежал к Растопыре, который сейчас же накормил его самым свежим салом и очень любезно вспомнил, с каким радушием Филип Филипыч летом угощал его раковым супом и телятиной с огурцом.

– И чем это от супа воняло – право, даже и теперь понять не могу! – прибавил он, однако ж, в заключение.

Потом Каширин направился к археологу-библиографу Скорбному-Головану, который обедать не дал, а сообщил, что ездил летом в Испанию, так как узнал, что там скрывается собственноручно писанная Барковым и доселе никому не известная трагедия, которую, после долгих и изнурительных поисков, и приобрел, уплатив за нее половину своего имени. Потом, по очереди, отобедал у Птицыных, Бердяевых, Карнауховых, Чистосердовых, Чертополоховых и прочих кассационных, апелляционных и дивидендных чинов. Последнего посетил Стрекозу, и притом посетил церемонно («отъявился»), в воскресный день, потому что, признаться, начал опасаться этого сановника, который с минуты на минуту ожидал производства в действительные тайные советники. По-прежнему в этом высокопоставленном доме пахло каким-то специфическим запахом, смесью пастилы, амбре и старческих грехов; по-прежнему лицо хозяина отливало коричневым, почти гнедым цветом, и по-прежнему Стрекоза принял Каширина с благожелательною снисходительностью, то есть пожал обе руки, поцеловал в лоб и даже подарил ему колос «исполинской» пшеницы, привезенный из саратовского имения.

– Ну, а как ваше «знамя»? по-старому? – полюбопытствовал, в заключение, маститый старец, проницательно заглядывая в глаза Филипу Филипычу.

– Где уж... какое теперь знамя! – несколько смущенно ответил последний.

– То-то! теперь надо это оставить! – наставительно изъяснил Стрекоза, – конечно, на всякий случай терять из вида не следует, но теперь... Ну, так милости просим напередки по-старому, а сегодня обедать не прошу, потому что еще разбираемся: не знаю и сам, чем Матрена Ивановна накормит меня.

Таким образом, в этот день Каширин был вынужден отобедать в ресторане. Но все-таки он был за тысячу верст от мысли, что обед, съеденный им в прошлый сезон, перед отъездом семейства Стрекозы в Саратов, был последним его обедом в этом доме.

Казалось, все вошло в прежнюю колею; однако проницательный человек уже в самом начале сезона мог подметить, что в отношениях «кружка» к Каширину завелась какая-то загадочная трещина, на которую покамест еще трудно прямо указать, но

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
которая существует уже несомненно.

Начать с того, что положение Каширина, как человека, пострадавшего за «знамя», настолько уже для всех определилось, что «интересоваться» им не было никакого повода. Даже сама *la belle madame* Растопыря поняла, что странно как-то, по прошествии целого года, продолжать хвалиться перед публикой: вот тот самый Каширин, который высоко держал знамя и за это приказом от такого-то числа, месяца и года ввергнут в бессрочную меланхолию, с пенсией в размере половинного оклада содержания и без участия в дивидендах. Увы! мы столько с тех пор пережили, и в это время столько знамен было изъято из употребления и столько людей ввергнуто в меланхолию, что, право, было даже нелепо смотреть на Каширина, как на какой-то выдающийся пункт. После каширинского знамени было знамя разгильдяевское, после разгильдяевского – разуваевское и еще, и еще... Кто знает нашу склонность к знаменам, тот поймет, что недостатка в этом отношении быть не могло, так же как не могло быть недостатка и в мерах по ввергнутию носителей этих знамен в меланхолию. Так что, ввиду этих последующих событий, Филип Филипыч, с своим стареньким истрепанным знаменем, представлялся уже чем-то вроде «отставного козы барабанщика».

Во-вторых, что касается до меланхолии, то и она, сама по себе взятая, то есть лишенная просвета в будущем, скоро утомляет. Мы слишком практические люди, чтоб долго интересоваться «нюнями», и пострадавший человек имеет право на наше внимание лишь потопику, поколику его окрыляет надежда воспрянуть. Но вот прошел уже целый год со времени ввергнутия в меланхолию, а с Филипом Филипычем не только не произошло перемены к лучшему, но даже сам он иногда откровенно признавался, что ничего отрадного впереди не предвидит. Стало быть, в будущем он способен только пользоваться услугами друзей, а не оказывать таковые, одолжаться, а не одолжать. А это делало его похожим на тех назойливых субъектов, с шаблонными просительными письмами в руках, которые вечно о чем-то кланчат (по словам – на бедность, а в сущности – на выпивку) и уж, конечно, никому удовольствия доставить не могут.

В-третьих, наконец, заграничный курс упал донельзя, а цена на съестные припасы соответственно поднялась. В таких условиях поневоле начнешь рассчитывать и роптать, что при домашней трапезе постоянно присутствует лишний рот, и притом такой, от которого одним салом не отделаешься. Этот рот потребует и лишней ложки борща, и лишней галушки, и лишнего куска жареного, и лишней рюмки вина. А сосчитайте-ка всё – выйдет мало-мало рубль серебром каждый раз.

Такова была эта трещина, которой покуда никто еще не сознавал, но которая непременно, и в очень недалеком будущем, должна была оказаться.

Сверх того, в этом кружке всему давал тон Стрекоза, и потому, когда на вопрос, почему Филип Филипыч в такое-то воскресенье не обедал у его превосходительства, он, несколько застыдившись, отвечал, что не получил еще приглашения, то большинство «друзей» задумалось. Ибо Стрекоза слыл за человека проницательного и действительно был таковым. Один Скорбный-Голован не задумался и продолжал относиться к Каширину с возрастающе задушевностью, но посещать археолога-библиографа было не особенно лестно, потому что в доме его царила бесконечная неурядица. Сам он сидел в кабинете и штудировал Баркова, а жена всем и каждому жаловалась, что, благодаря этому занятию, стало совсем невозможно жить, потому что даже маленькие дети – и те до такой степени пристрастились к сквернословию, что иначе не говорили друг с другом, как тирадами из барковских трагедий. И вдобавок, у Скорбных-Голованов подавался какой-то совсем неестественный обед, состоящий из молока, растительных веществ и донельзя заношенного холодного ростбифа, который, очевидно, зажаривался однажды на всю неделю.

Тем не менее начало сезона все-таки прошло благополучно. Кстати же, появилась в обращении новая рукописная «записка», автором которой был уже не Пафнутьев, а отставной корнет и ныне земский деятель Голубятников. У Голубятникова было страшное орудие – ирония; с этим-то орудием он напал на Пафнутьева. Все, что Пафнутьев утверждал, Голубятников отрицал, и наоборот. И к довершению всего, обе записки были либеральные, и обе возбуждали в «обществе» страстный переполох. Пользуясь этой сумятицей, Каширин очень ловко эксплуатировал ее, лакомясь то у Растопыри, то у Чертополоховых, то у Птичьих и проч. и всех убеждая отложить окончательное решение возбужденных «вопросов» до тех пор, когда со стороны Пафнутьева последует ответ, в котором он, конечно, во всей полноте разъяснит

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
сущность пафнутьевских идей.

Но Пафнутьев медлил ответом, и в половине сезона трещина начала обнаруживаться. Сначала она показывалась понемногу, потом – резче и резче. То свойство, которое Каширин приобрел вместе с отставкой и вследствие которого он оказывался решительно неспособным кого-либо «одолжить», вдруг вышло наружу во всей наготе. Никто прежде не задавал себе вопроса: с какой стати этот человек повадился к нам обедать? Теперь же этот вопрос формулировался как-то сам собою и притом одновременно у всех. Все поняли, что от Филипа Филипыча ждать нечего, а стало быть, и кормить его незачем.

А рядом с этим вопросом рождался и другой: не занять ли у него денег?

Прежде всех решился на эту попытку Растопыря, и в первый же раз, как Филип Филипыч пришел к нему обедать, он отвел его в сторону и, отважно хлопнув по плечу, сказал:

– А что, дружище, не дашь ли ты мне тысячку рублей на несколько дней перехватить?

– Где? – как-то нескладно спросил Каширин, как будто не понял, в чем дело.

– Где? чудак, братец, ты! ну, у себя или у меня... где хочешь.

Но Каширин уже понял и только растерянно глядел на своего амфитриона.

– Обедать! – крикнул Растопыря, и хотя, впоследствии, ни одним намеком не укорил друга, но с тех пор в отношения их начала заметно вкрадываться холодность.

За Растопырен последовали: Чертополохов, Бердяев, Чистосердов и проч., и со всеми повторилась одна и та же сцена. Каширин никому денег не дал и у всех остался обедать. Но что всего прискорбнее, он должен был отказать в подобной же просьбе хорошенькой мадам Карнауховой, которая еще накануне, сидя с ним рядом за обедом, пожала ему ногу своей ножкой.

Каширин не мог не знать, что этого ему никогда не простят, но он словно одеревенел и продолжал посещать «друзей» по-прежнему. К довершению всего, он с самого начала сезона так счастливо играл в преферанс, что это наконец делалось неприлично. Общее мнение было таково, что он подсматривает в карты, и, вследствие этого, Растопыря начал свои карты прятать под стол. Но если бы даже признать за верное, что в данном случае никакой фальши не было, а действовало одно счастье, то и тогда эти постоянные выигрыши были просто неприличны. Сегодня три рубля, завтра пять рублей – в месяц-то сколько этих рублей набегит!

Словом сказать, видимо, подготовлялось что-то натянутое, ежели не явно враждебное. Все замечали это, один Каширин продолжал не замечать: до такой степени он уже освоился с ролью прихлебателя. Напротив того, он легкомысленно радовался, что статья бюджета: «занятие картами» все больше и больше тучнеет и что, быть может, недалеко уж время, когда он, при ее пособии, приобретет себе еще один билет внутреннего с выигрышами займа (два он уже имел).

Но время шло, а вместе с ним все яснее и яснее обозначалась раз намеченная трещина. Однажды Филип Филипыч пришел к Растопыре обедать (Растопыря был закадычный друг, и потому весьма натурально, что он же должен был открыть враждебные действия), и вдруг оказалось, что одного прибора недостает. Разумеется, прибор потребовали, но хозяин почему-то счел долгом обратиться к Каширину (как будто именно для него-то и недоставало прибора), сказав:

– Ну, для тебя как-нибудь потеснимся... старый дружище!

В этот же день случилось и другое происшествие. Лакей, подавая ветчину с горошком, толкнул Филипа Филипыча в плечо, как бы понуждая его не медлить. Между тем, не далее как неделю тому назад, он дал этому лакею рубль, и потому поведение его не могло не показаться загадочным. Стало быть, Растопыри не очень-то стесняются в выражении мнений о своем друге, если даже рублевая подачка не действует на хамово отродье!

А вслед за тем и третье происшествие. Когда, после обеда, раскинули столы для

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
преферанса, то хозяин подал карты Бердяеву, Чертополохову и Птицыну (четвертую взял сам), а Каширину карты не дал, сказав:

– Ты, дружище, не сердись, что тебя не сажаю. В последнее время ты начал так часто выигрывать, что, признаться, уж тяжеленько стало!

Однако Филип Филипыч и тут смолчал, и даже несколько времени повертелся около madame Растопыри. Но под конец не выдержал и ушел домой.

Сцены более или менее такого же содержания повторились и в других домах. Каширин чувствовал, что роль его делается более и более невыносимой, и все-таки не решался порвать. Однажды, переходя через улицу к подъезду Карнауховых, он собственными глазами убедился, что хорошенькая madame Карнаухова, стоявшая у окна (еще у него мелькнуло в голове: верно, выглядывает своего гусара, корнета Стрекозу!), увидев его, вдруг отпрянула; а когда он, через минуту, позвонил, то прислуга, отворившая ему дверь, с смущенным видом ответила, что барыня нездорова и кушать не будут. Выйдя после этого на улицу, он нарочно остановился у ближайшего угла, чтоб наблюсти, и увидел, что вслед за ним к подъезду подлетел гусар Стрекоза, а через четверть часа поползли: Чистосердов, Растопыря, Чертополохов и сам Карнаухов, очевидно, все четверо из департамента. И все вошли в подъезд и больше не выходили.

Но этого мало: к полному своему огорчению, он убедился, что про него начинают распространять клеветы. Однажды прибежал к нему Скорбный-Голован, в состоянии беспримерной восторженности, и долго ничего не мог объяснить толком, а только беспорядочно махал руками и восклицал:

– Подлец Растопыря! подлец! подлец! подлец!

Причем смешивал фамилию Растопыри с фамилией одного из действующих лиц барковских трагедий, что, с внешней стороны, выходило даже совсем неприлично.

Успокоившись, однако ж, он рассказал, что Растопыря распускает о Каширине самые ядовитые слухи. Говорит, что Филип Филипыч потихоньку берет у него из ящика сигары, прячет в карман и уносит домой; что однажды la belle madame Растопыря видела, как он положил кусок ветчины между двумя ломтями хлеба и тоже препроводил в карман; что он, Каширин, не довольствуется тем, что выпивает за столом вдвое против других, но что неоднократно лакей Степан подстерегал, как он ходил в буфетный шкаф и там выпивал рюмку за рюмкой; что однажды, на смех, в бутылку из-под хересу налили керосин, и он, Каширин, выпил, не сморгнув, и только в течение всего вечера отплевывался и время от времени вполголоса произносил: ах, подлецы! что сам Растопыря, заметив однажды, что Каширин с особенною умильностью взглядывал на бутылку с мадерой, и желая убедиться в справедливости лакейских показаний, спрятал бутылку за оконные драпри (но так, чтоб Каширин видел это), и действительно, через два часа бутылка оказалась порожнею...

Каширин был возмущен до глубины души, потому что он решительно ничего подобного не делал.

Но вместо того чтоб принять эти слухи только к соображению, он оказался настолько нерассудительным, что вздумал объясняться. Когда он явился с этим к Растопырям, то самого Растопыри не было дома, а madame Растопыря приняла его особенно весело, как будто знала, о чем пойдет речь. И действительно, все время, покуда он, одну за другой, излагал свои претензии, она без умолку хохотала, так что он наконец остановился и спросил: что же тут смешного?

– Ха-ха! какой вы уморительный! – ответила милая хозяйка и вновь залилась веселым смехом.

Тогда он скромно напомнил ей, что было время, когда она не смеялась, и когда он... Но «красавица», не прекращая хохота, с таким наивным любопытством взглянула ему в лицо, что он просто оторопел.

– Итак, я должен из этого заключить... – начал было он, но тут воротился домой сам Растопыря и не дал закончить фразу.

Ту же претензию он изложил и Растопыре, который выслушал его с участием, но не

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
только не отрекся, а, напротив, сейчас же повинился и, в заключение, даже обнял его.

– Ну, прости, дружище! виноват! не буду! – утешал он Каширина, – не следовало, ах, не следовало мне этого говорить! знаю, что не следовало! Друг ведь ты! старый... дружище!

Но тут же, впрочем, присовокупил:

– Признайся, однако, голубчик, ведь было-таки немного! Хереску-то из-под драпри... хватил-таки малость!

При этой непредвиденной выходке, сопровождавшейся неудержимым смехом милой хозяйки, Каширин почувствовал, что он холодеет. Он с инстинктивным ужасом взглянул на своих «друзей», как будто перед ним стояла страшная голова Медузы, а не посконное рыло начиненного галушками полтавского обывателя.

– За что вы меня... ненавидите? – вырвалось наконец из его измученной груди.

А между тем времена всё зрели да зрели, а наконец, и совсем созрели.

В одно прекрасное утро заслуживающее доверия лицо (может быть, даже сам Стрекоза), встретив Растопырю (Растопыря, как ловкий полтавец, сумел приютиться в трех ведомствах и по всем трем получал присвоенное содержание, так что чиновники, в шутку, называли его «трижды подчиненным»), предложило ему следующий краткий вопрос:

– Кстати! ведь вы, кажется, знакомы с господином Кашириным.

Растопыря смутился и начал бормотать что-то невнятное. Не отрицал, но и не утверждал; говорил, что он никогда не был особенно близок... что притом давно уже предположил... и что, наконец, он сейчас же, сию минуту...

– Смотрите! как бы не тово... – последовал доброжелательный совет.

Растопыря прибежал домой, точно с цепи сорвался. И так как это произошло именно в четверг, когда у него собирались к обеду приятели, и время уже близилось к половине шестого, то он, как говорится, и рвал и метал. Призвав madame Растопырю, объявил ей, что присутствие в их доме Каширина долгие терпимо быть не может; потом начал топтать ногами, бегать по комнате, кричать, вопить:

– Вон его! гнать его! гнать! гнать! гнать!

И вдруг, в ту самую минуту, когда пароксизм его гнева достиг высшей степени, он очнулся и увидел, что в дверях стоит Филип Филипыч, каким-то образом ухитрившийся предупредить распоряжение об отказе ему от дома.

Каширин был бледен, щеки его тряслись, зубы стучали. Шатаясь, воротился он в переднюю, без помощи лакея надел пальто и вышел на лестницу. Там он встретил Чертополохова, который, при виде его, сухо-учтиво приложился к шляпе, но руки не подал, потому что, как оказалось впоследствии, в это же утро и у него был разговор с Стрекозой по поводу знакомства с господином Кашириным.

Очувтившись на улице, Филип Филипыч несколько минут не мог сообразить, что такое с ним произошло. Мимо него прошли: Бердяев, Чистосердов и, наконец, Шилохвостов, новая звезда, только что взошедшая на горизонте «Дивидендов и Раздач». И они, конечно, имели такой же разговор, потому что тоже ограничились формальным поклоном, без рукопожатия. Но Каширин все еще находился в тумане, и перед глазами его инстинктивно рисовалась освещенная столовая Растопыри, стол, обремененный закусками, около которых столпились гости, и посреди их гостеприимный хозяин ораторствовал:

– Разумеется, ввиду этого, я вынужден был употребить героические меры...

– Конечно! конечно! – восклицали гости, за исключением, впрочем, Шилохвостова, который в эту минуту разрешал в своем уме вопрос, отречется ли он, подобно сему, и от Растопыри, когда очередь дойдет и до него!

– Ах, он нам так надоел! – сентиментально присовокупляла, с своей стороны, la belle madame Растопыря...

Однако привычка прихлебательства взяла-таки свое, и Каширин бессознательно побрел по направлению к квартире Скорбного-Голована.

Но тут его уж окончательно добили. Скорбный-Голован бросился к нему со слезами, обнял, замочил ему губами щеки и даже слегка порыдал у него на груди. Но в заключение крикнул:

– Миша! Петя! Катичка! Милочка! Марфинька! Зиночка! идите! идите сюда.

И когда молодое поколение Скорбных-Голованов собралось, то археолог-библиограф, указывая Каширину на невинных детей, возопил:

– Вот! уже шесть человек налицо, а мы с женой еще молоды! Судите сами, голубчик, могу ли я? Я знаю, что я малодушен и отчасти даже вероломен, но могу ли я... скажите, могу ли?!

Каширин ничего не ответил на эти излияния и сейчас же вышел. На этот раз он уже совершенно отчетливо понял, что и Скорбный-Голован имел утром разговор.

Каширин долго пролежал больной, и во все время болезни ни одна душа не осведомилась об нем. Наконец ему полегчало, и первая мысль, представившаяся его уму, была та, что прошлое бесповоротно рухнуло и что впереди предстоит лишь полное и безнадежное отчуждение. Над его существованием прошла какая-то до нелепости жестокая случайность, которая наполнила его душу инстинктивным страхом. Он никогда ничего подобного не предвидел, а потому и приготовиться не мог. Он даже и теперь не понимал, а только чувствовал, что сделалось что-то жестокое. К несчастью, отставка не надоумила его, не заставила подумать о подготовке иной обстановки, которая могла бы выручить в случае измены «друзей». Он, по крайней мере, всю последнюю половину жизни провел, как человек касты, и, несмотря на полученные уроки, остался верен ей. Эта каста, ограниченная в численном смысле, отличается, сверх того, зависимостью, как главную характеристическою чертою, и это делает ее легко доступною для всякого рода колебаний. Нигде не бывают так часты измены, как тут. Но этого-то именно и не заметил Каширин, и вот теперь измена разразилась над ним чем-то неслыханным, перед чем бледнели и стушевывались все заботы о респектабельности и равновесии бюджета.

Погрязши в касте, он растерял все посторонние связи и даже к новой русской литературе относился довольно индифферентно. Не порицал прямо, но находил, что она не дает плодотворных пафнутьевских элементов. С бывшими пронскими своими патронами он тоже расстался (весьма, впрочем, дружелюбно), да вряд ли они и могли быть ему полезными в данную минуту. Они жили за границей и, в чаянии, что когда-нибудь их опять помянут, фрондировали; об отечестве же вспоминали лишь по поводу туго высылаемых оттуда доходов.

И вдруг он вспомнил вновь, что на Песках, на Слоновой улице, в пятиоконном деревянном домике, существует чиновник Каверзнев, у которого он некогда воспринимал от купели старшего сына...

Воспоминание это оживило его, ибо, по мере того как здоровье его восстанавливалось, в нем просыпалась и жажда общества. В заботах об ее удовлетворении, он очень верно сообразил, что по праздникам и не очень выдающиеся чиновники пекут пироги и приглашают к своей трапезе друзей. Поэтому, хотя и не без некоторой борьбы, но в первое же воскресенье он купил фунт конфет для крестника и, как только пробило три часа, отправился на Пески.

Титулярный советник Каверзнев был чиновник очень маленький и очень смирный. Занимая место помощника столоначальника, он едва сводил концы с концами, да и то благодаря тому, что имел даровую квартиру в доме тестя, отставного коллежского асессора Монументова, когда-то заведовавшего департаментскими курьерами и сторожами, а ныне проживавшего на пенсии в крошечном мезонине того же дома. Каверзнев женился всего пять лет тому назад и имел ровно пять человек детей.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Человек он был не особенно блестящих способностей, но покорный, безгранично преданный семье и удивительно добрый. Жена у него была молоденькая, тоже до крайности добрая и очень симпатичной наружности особа, хотя частые роды уже успели сообщить ее лицу утомленное и слегка заношенное выражение. Вообще это было семейство согласное, жившее душа в душу, в полном отчуждении от живого мира, но не тяготившееся этим отчуждением.

Когда Каширин пришел, в первой комнате, служившей одновременно и столовой, и залой, был уже накрыт стол. В углу, на особом столике, стояла совсем готовая закуска и водка, а в воздухе носился приятный запах начинки. Каверзнев сам выбежал отворить дверь, потому что ожидал к обеду друга своего, Косача. Увидев перед собой Филипа Филипыча, он слегка смутился, однако ж понял, что посещение такого чиновного гостя приносит ему величайшую честь. Суетясь и забегая вперед, он проводил гостя в гостиную, где сидели, в ожидании обеда: жена Каверзнева, старик Монументов и помощник экзекутора Здобнов. Оба последние тоже нетерпеливо ждали Косача, чтоб приступить к водке, и, при виде неожиданного гостя, ощутили то самое чувство, которое должен испытывать человек, уже поднесший ко рту рюмку и вдруг убеждающийся, что, благодаря какому-то проказливому волшебству, содержимое мгновенно исчезло из рюмки.

– А я сегодня вышел прогуляться, да и надумал: дай-ко крестного сынка проведем!
– начал Филип Филипыч. Он предположил было прямо сказать: «дай-ко у крестного сынка запросто хлеба-соли отведаю!», но почему-то это не вышло.

Затем он потребовал, чтоб ему показали детей. Старшенького, Бореньку, как крестника, он поцеловал и перекрестил, сказавши при этом: «вот так!», прочих – только перецеловал. В заключение вынул из шляпы коробку с конспектами и подарил крестнику, присовокупив:

– Поделись с братцами и сестрицами, да смотрите, не обижайте друг друга!

Эта церемония длилась с четверть часа, и к концу ее прибыл Косач, молодой малый, служивший в том же департаменте помощником регистратора. Все вздохнули легче, потому что думалось, что, с окончанием церемонии целования детей, Филип Филипыч снимется с места. Но он не уходил. Прошло еще с четверть часа, а он отыскивал все новые и новые темы для разговора. Говорил исключительно он один; хозяйева отвечали односложными словами и вымученными улыбками, как это всегда бывает с людьми, которые совсем уж собрались есть и не знают, как выпроводить человека, остановившего их, так сказать, на ходу; гости же просто-напросто удалились в угол, и если бы Каширин не заглушал себя сам, то, наверное, услышал бы, как старик Монументов вполголоса выговаривал Косачу:

– А все по твоей милости, ветрогон! где о сю пору шатался?

Прошло еще четверть часа. У всех лица подернулись усталостью, вытянулись и даже словно похудели. К запаху начинки присоединился запах гари: подгорал пирог. Старший сын Боренька стучал в столовой посудой, к чему его, очевидно, поощрял Монументов, молчаливо, но несомненно приглашая:

– Стучи, батюшка, стучи!

Наконец, видя, что надобно же когда-нибудь решиться, Каширин, слегка зардевшись, сказал:

– А знаете ли что! ведь я к вам без церемоний! Иду и думаю: дай-ко я у крестного сынка запросто хлеба-соли отведаю!

Только тогда Каверзневые внимательнее взглянули в лицо Филипу Филипычу и заметили изнурение, которое произвели в нем последние происшествия и болезнь. Они поняли добрыми своими сердцами, что, должно быть, на этого человека большое горе обрушилось, если он решился идти к ним не в качестве посаженного или крестного отца, а на правах простого гостя. И одновременно у обоих вырвалось восклицание:

– Ах, ваше превосходительство!

Их лица просияли; Каверзнев стремглав побежал в кухню, где распорядился, чтоб суп и пирог поставлены были на стол, и в то же время пошел в кондитерскую за шамандткухеном; что же касается до Людмилы Петровны (так звали жену Каверзнева),

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
то она инстинктивно подала Каширину руку, которую последний очень галантно поцеловал. Замечательно, что он почти мгновенно оправился от своего смущения и немедленно почувствовал себя совсем хорошо, как будто дело сделал. Даже гости повеселели, словно у всех была одна мысль: слава богу! хоть какой-нибудь да конец!

Обед прошел великолепно, и Филип Филипыч очень серьезно сделал честь своему крестному сыну. Конечно, эту еду нельзя было сравнить с едой у Растопыри (одно сало возможно ли позабыть!), ни тем паче с едой у Стрекозы – ну, да ведь те обеды невозвратно канули в вечность, и следовательно... Вот только вина было маловато: одна бутылка медаку на всех. Правда, что Монументов восполнял этот недостаток, вставая после каждой перемены из-за стола и проглатывая рюмку водки, но это-то именно и подтверждало, что медаку в этом доме придавалось особое значение и что, стало быть, обходиться с этим напитком надлежало с осторожностью. Зато шмандткухен произвел решительный фурор между детьми, и хотя Каширин не ел его, но внутренне должен был сознаться, что давно не видал таких счастливых детских лиц.

После обеда составила пультка по одной сотой копейки, и когда Филип Филипыч выразил сомнение, что при такой цене, пожалуй, не из чего будет за карты заплатить, то Каверзнев поспешил его успокоить, сказав, что «у нас, ваше превосходительство, карты дешевенькие, в клубе по три гривенника покупаем, а они между тем только слава, что распечатаны, а все равно что новые». И действительно, когда подали карты, то Каширин очень любезно сознался, что они «даже лучше, чем новые».

Играли: Монументов, Здобнов и Каширин; хозяин и Косач отказались, говоря, что они хоть и играют, но неохотно, и только чтоб не расстроить партии. Монументов очень наивно поглядывал в чужие карты, и Здобнов, зная эту привычку его, прятал свои карты под стол; этому же примеру, после двух-трех ремизов, последовал и Филип Филипыч. Оба местных партнера играли до чрезвычайности прижимисто; напротив, Каширин рисковал и, как всегда бывает в подобных случаях, извлек из своего риска пользу. В результате он оказался в выигрыше 85 копеек, из которых 30 уплатил за карты, а остальные 55 принес домой.

День был проведен, и Каширин остался доволен им. Но впереди дней предстояло еще много, надо было и об них подумать. Сначала он совестился и ходил к Каверзневым только по праздникам, в будни же сидел дома и обдумывал план сочинения. Сочинение это предполагалось озаглавить так: «Имей уши слышати – да слышит!», а содержание его должно было заключать в себе, во-первых, оправдание образа действий «пишущего эти строки» и, во-вторых, указание некоторых небесполезных мер, которые, не останавливая правильного и разумного развития дивидендов, в то же время полагали твердые преграды для обнаружившегося в сем ведомстве стремления к излишества. Но так как это была материя сухая, то понятно, что она в скором времени наскучила Каширину, вследствие чего он попробовал забежать к Каверзневым и в будни, и тоже остался доволен, хотя очень хорошо заметил, что на второе блюдо подали говядину совсем вываренную. Наконец, понемножку да помаленьку, он начал учащать, и не успели Каверзневые встать в оборонительное положение, как он уже сделался у них домашним человеком и постоянным гостем. Однажды он даже рискнул отобедать и у Здобнова (и отобедал), но тот обошелся с ним до такой степени иронически, что в самом зародыше уничтожил все попытки к установлению начетистых отношений дружества.

Для Каверзневых это был своего рода бич. Ежели трижды подчиненный Растопыря имел основание жаловаться на падение вексельного курса и вздорожание съестных припасов, то тем большее право на эти жалобы мог предъявить Каверзнев. Со счетами в руках, он мог доказать, что Каширин обходится ему от пятнадцати до восемнадцати рублей в месяц – где их взять? Сверх того, Каширин постоянно выигрывал в карты, и этим отводил от Каверзневых Здобнова и Косача. Даже старик Монументов начал прятаться от него и требовал, чтоб ему приносили обед в мезонин. Из человека бесконечно доброго Каверзнев, в каких-нибудь два-три месяца, сделался угрюмым и раздражительным. Людмила Петровна хотя наружно улыбалась, но внутри у нее тоже все клокотало. Эти простые и добрые люди смотрели на своих детей и со страхом думали: Каширин все съест! Однажды они решились на крайнюю меру: съели вареную говядину до обеда, а за обедом подали пустой суп и макароны; но Каширин и этого не понял или, лучше сказать, не хотел понять. К довершению всего, делаясь с каждым днем более и более наглым, Филип Филипыч и детям перестал возить гостинцы, так что и они вознегодовали.

Надо было быть очень робким и очень дисциплинированным, чтоб столько времени выносить терзания, которые выпали на долю Каверзнева. Мало того что Каширин объедал и опивал его, но, вдобавок, Здобнов и Косач открыто смеялись над ним...

– Он тебя и со всеми твоими потрохами купить и продать может, – говорили они, – а ты его шамандткухенами кормишь!

Однако ж и для самой беззаветной забитости бывают пределы, дальше которых идти некуда. И вот, дойдя до этих пределов, Каверзнев решился.

Однажды, когда Каширин всего меньше думал о разрыве и даже рассчитывал, что на будущее время ему и летом будет нескучно, он получил по городской почте письмо, в котором прочитал следующее:

«Ваше превосходительство!

Милостивый государь!

С стесненным сердцем я приступаю к настоящему письму, но, помилуйте! я человек недостаточный и притом семейный. Я очень хорошо понимаю, что посещения вашего превосходительства приносят нам честь, но ограниченность состояния даже и в сем не позволяет нам наслаждаться, как бы того душевно желали. И притом, ваше превосходительство! постоянно выигрывая в карты, вы тем самым изволили отвратить от нашего семейства давних и преданных друзей, кои, будучи тоже состояния недостаточного, не в силах оного перенести, хотя бы и желали.

Ваше превосходительство! клянусь повторительно: с стесненным сердцем пишу настоящее письмо! Но взойдите в положение угнетенного отца и мужа и с свойственным вашему превосходительству великодушием простите приемлемой мною смелости!

С чувствами глубочайшего высокопочитания и несомненной преданности имею честь пребыть.

Вашего превосходительства,

милостивый государь!

покорнейший слуга

Илья Каверзнев».

К удивлению, Филип Филипыч отнесся к этому письму довольно спокойно. По-видимому, его скорее удивило не содержание письма, а его бессвязность и редакционные недостатки. Он всегда утверждал, что нынешнее поколение «не умеет писать» – и вот доказательство налицо!

– И это помощник столоначальника нацарапал! – воскликнул он с горечью, – такие ли в наше время помощники бывали!

Я знаю, что рассказ мой дошел до того кульминационного пункта, за которым необходимо следует катастрофа, а потом и естественное ее разрешение. Настоящие художники-беллетристы именно так и поступают: сначала постепенно завязывают узел, а потом постепенно его развязывают. Поэтому ничего нет мудреного, что и читатель, избалованный этими развязываниями и завязываниями, ждет от меня, что я поступлю с Кашириным решительно, то есть или женю его, или сделаю пьяницей, или, наконец, совсем уморю.

Ничего подобного я, однако ж, не сделаю, по причинам, вполне уважительным. Во-первых, я не имею претензии быть художником и ничего «из головы выдумать» не могу; во-вторых, я прошу принять во внимание, что герой моего рассказа – старик, и, в силу одного этого условия, не представляет достаточных элементов для завязываний и развязываний. Поэтому, и желая оставаться в согласии с истиной, я говорю прямо: каким образом Филип Филипыч вышел из своего последнего огорчения и перенес ли при этом какую-нибудь душевную или нравственную ломку – не знаю. Не знаю, потому что мой герой так быстро после этого исчез с петербургского

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
горизонта, что я даже не мог уследить за ним.

Знаю, впрочем, что он поселился в Пронском уезде, в крохотном именье, некогда великодушно уступленном им тетеньке Агафье Ивановне.

Летом прошлого года, находясь по делам в Пронском уезде, я случайно попал туда в такое время, когда собирался мировой съезд. В качестве почетного мирового судьи прибыл и Каширин. Узнав, что я литератор, он благосклонно пожелал со мной познакомиться, а наконец, затащил меня и в свою усадьбицу. По наружности, это был старик бодрый и даже щеголеватый. Одетый по-летнему, в легонькую визитку, белый жилет и таковые же брюки, он скорее походил на завсегдатая павловских или петергофских садов, нежели на обывателя пронских палестин. Особенной словоохотливостью он не отличался, но, справедливо предполагая, что всё, относящееся до русской литературы, должно интересоваться меня, он очень любезно рассказал мне больше сотни анекдотов про Грановского, Белинского, Некрасова, Тургенева и других литературных корифеев сороковых годов и, в заключение, вздохнув, прибавил:

– Да, было, было все это; было – и прошло!

Даже о пойманном Майковым в Парголово озере пискаре не умолчал и тоже прибавил:

– Да, поймал пискаря, да так с пискарем на всю жизнь и остался!

Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его рассказам, он серьезно намеревался устроить из нее нечто вроде «виллы» и с этой целью треть всей земли обратить под сад. Здесь я познакомился и с тетенькой Агафьей Ивановной; старушке было под восемьдесят, но она сохранила все зубы, все волосы и почти юношескую остроту зрения, в соединении с замечательной подвижностью.

– Теперь только я жить начала! – сказала мне эта милая женщина, окидывая бесконечно-любящим взглядом своего бесценного племянника.

Филип Филипыч радушно выводил меня по всем комнатам дома, который он почти весь заново перестроил и, благодаря петербургской мебели, ухитил очень удобно и красиво. В одной из комнат мы застали за работой Палагею Семеновну, девицу высокого роста, «рассыпчатую», с привлекательными формами тела и притом совсем пучеглазую, о которой Каширин сказал просто:

– А это моя Палагея Семеновна!

И затем она ни за обедом, ни за чаем не появлялась; быть может, впрочем, это случилось только потому, что она «стыдилась» постороннего человека, так как не раз Агафья Ивановна, положив на тарелку самый лучший кусок (пупочек, стегнушко), отдавала подачку прислуге, говоря:

– Снесите это Палагеюшке!

Обедом Филип Филипыч накормил меня отличным, причем беспрестанно и он и тетенька понуждали: кушайте! Очевидно, он жил на свои три тысячи шестьсот рублей паном. Охотно хвалился наливками, которые были действительно превосходны, но скорбел, что никак не может добиться такого сала, какое едал в Петербурге у Растопыри.

По-видимому, он всем простил, и даже про Растопырино вероломство вспоминал без горечи. С некоторыми из бывших друзей он исподволь возобновил сношения и даже удостоился очень лестного письма от Стрекозы, которому послал в презент удивительно выкормленного индюка. – «Превосходнейшего вашего индюка мы скушали, – писал маститый сановник, – в сообществе известных вам пособников, укрывателей и попустителей, и так оказался хорош и соответствующ предназначенной ему роли, что не токмо желудочного обременения, по съедении, не ощутили, но даже как бы небольшое облегчение». Что же касается Каверзнева, то Каширин ежегодно к рождеству посылал ему целую грудку поросят, гусей и кур.

В Пронске же Филипу Филипычу было суждено встретиться и с Пафнутьевым, что пролило еще более сияющий свет на его существование. К сожалению, я не мог познакомиться с Пафнутьевым, потому что он был в это время в отсутствии. Но Каширин сообщил мне, что ежели сочинение его «Имей уши слышати – да слышит!»

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru значительно подвинулось вперед, то именно благодаря Пафнутьеву, в котором он нашел драгоценнейшего для себя сотрудника.

После обеда он попытался прочесть мне первую (вероятно, и единственную) главу этого сочинения. Первую страницу прочел бойко, на второй, под влиянием изобильно принятой пищи и летнего зноя, язык его начал слегка заплетаться, а на третьей он как-то вдруг и незаметно уснул. Я вышел на цыпочках из кабинета и направился к Агафье Ивановне, но и она спала; потом толкнулся к Палагее Семеновне, но и ее нашел спящую. Все в доме и около дома дремало, дремало, дремало; даже большой кохинхинский петух – и тот перестал интересоваться курами. Тогда и я, выбравши в гостиной кресло помягче, протянул ноги и тоже моментально заснул.

А в восемь часов, напившись чаю, уехал от Каширина и больше его не видал.

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

Я приехал в деревню, чтоб поселиться в ней навсегда. Ехал я совсем не затем, чтоб просвещать, распространять здравые понятия о платеже недоимок, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшению быта; не затем, чтоб принять деятельное участие в распоряжении земскими деньгами, и уж, конечно, не затем, чтоб производить опыты по части сельского хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо иметь гроб – вот я и приехал.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннее, она загорелась во мне совсем не потому, чтоб я прикончил какие-то счета с жизнью, чтоб я сделал какое-то свое дело, а именно потому, что я ровно ничего не начинал и никаких у меня счетов назади не было. Умственное пустодомство удивительно как утомляет. Оно всегда сопряжено с беспорядочною сутолокой, которая загромождает жизнь разнообразным цепким хламом и самым предательским образом вводит в заблуждение. Благодаря этой сутолоке, долго, очень долго думает человек, что он вращается среди действительных интересов, и даже представляет себя силою, действующим лицом. И вдруг его словно осветит, перешибет пополам. И начнет ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во сне, и наяву, представляться одно: гроб! гроб! гроб!

Я ехал, однако ж, не без опасений. Я думал, что гроб дается не разом и что с приездом моим начнется, хотя и в другом вкусе, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцев возникнут требования разъяснений, распоряжений и прочие сельскохозяйственные приставания; со стороны мужиков – явятся поползновения по части так называемого слияния, в которых сыграют свою роль и вопрос о пьянстве, и вопрос о грамотности, и вопрос о ссудосберегательных кассах. И, в заключение, как наидействительнейший символ слияния, – ведро водки. Со всем этим, думалось мне, придется вести борьбу, покуда, наконец, не воцарится настоящее безмолвие, из которого выдвинется настоящий гроб. Но, к моему благополучию, все эти опасения оказались преувеличенными.

Нынешняя деревня – не та, в которой кишат ревизские души, а та, которую представляет собой помещичья усадьба, – истинный клад для гробоискателя. В нынешней деревне вы не встретите ни малейшей суеты, ни тени сельскохозяйственных забот и волнений, а следовательно – никаких вопросов и сомнений. Есть, разумеется, уголки, в которых и доньше ютятся выжиги и «колотятся из последнего», но это исключения. Общий характер – тишина и уныние, которые я назвал бы самоотвержением, если бы при этом не приходило на мысль представление о выкупных свидетельствах. Урок дня, то есть то, что нужно для пропитания, отопления и проч., исполняется как-то сам собой, в определенный час, без шума, без беготни. Прежде стон, бывало, стоял и над застольными, и над скотным и птичным дворами; нынче – благодать. Не только в стенах помещичьего дома, но и на дворе – ни звука, кроме так называемых голосов природы: завыванья ветра, шума деревьев, чириканья и карканья птиц, лая собак и т. п. Изредка доносится, правда, с поселка (ежели он недалеко) хлопотливое галдение ревизских душ, но и оно не нарушает обязательной для всех (и живых, и мертвых) гармонии голосов природы, а, напротив, только дополняет ее и сливается с нею. Можно (особливо ежели требования комфорта довести до минимума) провести целый день, не слышавши звука человеческого голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядеть в окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человека одинокого и притом перешибленного пополам – это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцеление от всех недугов.

Усадьба у меня старинная. Господский дом – громадный, выстроенный из такого

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
отличного леса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пропасть воздуха и тепло. Когда-то, на красном дворе, рядом с домом, было нагромождено множество всякого рода служб, но ныне все эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Летом на этих «нарушенных» местах растут непролазные массы крапивы и репейника, зимою – из-за снежных наносов виднеются неправильные кучи ломаного кирпича и мелкого мусора. В соседстве с ними, но несколько поодаль, словно монумент, свидетельствующий о благополучном переходе от крепостных порядков к вольнонаемному труду, стоит небольшой, сложенный из тонкого леса скотный двор, в котором помещаются две коровы, две лошади, ломаный инструмент и прочий приличествующий вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впереди дома – цветочный (когда-то) сад, с запущенными дорожками, покато спускающийся к речке; сзади дома – парк, настоящий парк, с старинными могучими деревьями, которых шум даже человеку, далеко не одержимому мизантропией, может внушить мысль о гробе. Внизу, по течению речки, – небольшая мельница, у зияющей двери которой вечно торчит засыпка, не знающий, куда деваться от праздности, так как, за общим оскудением, помелец наезжает редко, да и то налегке.

Понятно, что при такой внутренней обстановке приезд мой не мог вызвать никакой особенной суматохи. Я написал, что явлюсь тогда-то, и в назначенное время все было готово к моему приему. Печи истоплены, стены и потолки обметены, полы вымыты, мебель расставлена в старинном порядке, даже обед изготовлен. «Распоряжений» до такой степени не потребовалось, что когда я снял шубу (дело происходило в половине февраля), то мне оставалось только сказать, что покуда мне ничего не нужно. Домочадцы, встретившие меня, разошлись по своим углам; я слышал, как хлопнула сперва одна дверь, потом другая, третья, всё глуше и глуше – и вдруг я остался один... И в этой светлой, большой и хорошо натопленной зале очутился лицом к лицу с гробом...

Точно так же не потребовалось никакой борьбы и по части «слияния». Еще на железной дороге одна соседка по вагону, добродушная помещица, узнавши, что я намереваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахами», сочла долгом предупредить меня:

– Нынче, батюшка, от мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какие-то они стали: ни помощи, ни привета. Всё – на деньгах. Сколько следует ему по условию – получил, и шабаш. Спасибо – не ждите.

Так, в самом деле, и оказалось. При самом въезде моем в крестьянский поселок (давно ли я был тут «в отца местом»?) я сейчас же убедился, что мое появление ни в ком ничего не пробудило. Ни благодарных воспоминаний, ни отрадных надежд, ни даже изумления. Мужики, пилившие у своих изб дрова (в этой местности преобладает дровяной промысел), на мгновение приподняли головы, очевидно потому, что внимание их было привлечено топотом мчавших меня лошадей, и опять принялись за свое дело. Я опасался снимания шапок, поклонов (иногда даже в воображении моем мелькали радостные улыбки) – ничего не бывало! Точно муха перед ними пролетела. И мужики показались мне какие-то новые. Прежние были восторженные, слезоточивые; нынешние – равнодушные, зачерствелые. Прежний мужик всеми внутренностями тянул к барскому дому; нынешний – даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорирует, словно это не притягательное место, а только веха на пути. Бабы, качавшие на мирском колодце воду, – и те не оторопели при моем внезапном появлении, не оставили своего занятия, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Все предположения насчет «слияний» и ссудосберегательных касс устранились разом. Не будет поцелуев, но не будет и подкузлений – ничего. Даже на традиционное ведро водки, по-видимому, расходов не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертелось в голове еще одно опасение: я полагал, что возвращение в дом предков вызовет лично во мне чувство умиления. Воскреснут в памяти забытые детские игры, встанут перед глазами, как живые, любезные сердцу лица. Очевидно, это должно населить гроб хотя и призраками, но все-таки помешает ему быть настоящим гробом. Однако и тут обошлось благополучно. Чтоб покончить разом с этим опасением, я тотчас же обежал весь дом и останавливался в каждой комнате, стараясь припомнить. Вот маменькина комната и в ней длинный стол, за которым она, обыкновенно, раскладывала из медных тазиков по банкам варенье; этот стол и теперь стоит на старом месте, и на поверхности его еще сохранились кружки, свидетельствующие о пребывавших тут некогда банках с вареньем; и сама маменька, словно живая, сидит вон на том кожаном кресле и держит в руках серебряную ложку...

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вот папенькин кабинет (теперь он мой), и в нем небольшой четырехугольный стол с разрисованною на верхней доске шашечницею, перед которым покойный, сидя в обитом кожною вольтеровском кресле, читывал «Московские ведомости»... Вот девичья, в которой летом толпа горничных, облепленных массами мух, с утра до вечера чистила ягоды, горох, грибы и проч., а зимой, тоже с утра до вечера, раздавалось жужжание веретен... Вот детская; в противоположность другим комнатам, узенькая, низенькая, в которой обитало великое множество клопов... Повторяю: я обежал все это и множество других комнат (вот тут была спальня дедушки, когда он приезжал в деревню «в гости»; вот тут рядом – спальня его «сударки», перед которой подличал и ходил на задних лапках весь дом; вот тут жил когда-то дяденька «буян», которого в хорошие комнаты не пускали и который едал из одной чашки с собакой Трезором; вот тут ютились тетеньки-сестрицы, к которым я бегивал тайком за мятными пряниками; вот тут поймали Генриету Карловну с учителем Василием Ивановичем и т. д.) – и, о чудо! – никакого умиления не ощутил! Возвратился в зал, посмотрел в окно – оттуда виднеется река, в настоящее время скованная льдом, и опять-таки никакого умиления! Кабинет, детская, река – всё имена нарицательные, которые так и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самые воспоминания, сопряженные с этими нарицательными именами, не заключают в себе ничего умильного, или оттого, что человек, перешибленный пополам, сам по себе делается недоступным для чувств умиления, так как между его детством и старчеством легла целая пустота, которая поглотила всё без остатка, кроме страстного желания обрести гроб.

Как бы то ни было, но я понял, что гроб найден и что отныне начинается существование, в которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слияния», ни умиления. Я наскоро пообедал, надел халат и немедленно почувствовал себя спокойно, безмолвно, почти что мертво!..

Впрочем, мне все-таки не удалось лечь в гроб сразу. По обыкновению, сейчас после приезда, пришел отрекомендоваться сельский батюшка. Но и он оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затем и пришел, чтоб посмотреть, как я улягусь в гробу, а он меня потом отпевать начнет.

– На жительство... совсем? – начал он словно нехотя.

– Да, совсем.

– Великое это слово... «совсем»!

Я махнул головой в знак согласия.

– Просторно вам здесь одним будет!..

– Да, комнат много.

– Хозяйствовать не станете?

– Нет.

– И не надо!

Разговор на минуту прервался.

– Жизнь здесь... – начал он опять.

– Я не для «жизни».

– А коли не для «жизни», так настоящее место – здесь! Да... именно, именно здесь!

Он как-то тоскливо взглянул на меня, покачал головой, потом посмотрел на буфетный шкаф и продолжал:

– Вот ежели в этом разе водка... спаси бог!

– Не потребляю. А вы?

– Спаси бог!

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Опять молчание.

– В парках – шум от ветров; опять же вороны гнезда вьют... Ставни по ночам стучать будут! Проржавели, поди, петли-то...

– Не знаю, не спрашивал.

– Оторопь возьмет, оторопь! Главное – ставни на ночь плотнее запирать!

– Прежде запирали; конечно, будут и теперь запирать.

– Ну, с богом!

Он подал мне руку и исчез... «Что ж? оторопь так оторопь – тем лучше», – подумалось мне. Она будет напоминать мне прошлое: ведь я всю жизнь, если сказать по правде, ничего, кроме оторопи, и не испытывал...

Впоследствии я узнал, что здешний батюшка – отличнейший человек. Водки не пьет действительно, устроил в селе школу, в которой безвозмездно учит крестьянских детей; с мужичками живет в ладах, читает им по воскресеньям краткие поучения о том, како благоугодити господам, и за свадьбы берет по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имеет скромную, почти бедную. А смотрит он угнетенно, потому что жена у него – франтиха и сластена и ежемгновенно его точит. То упрекнет, что он не по-людски одевается, «ходит, словно мельница крыльями машет, – то ли дело у нас в городе уланы стоят!», то ставит ему в вину, что он кануны соблюдает: «всё у него либо под преподобного Мартиниана, либо под Тимофея-мученика!» А он ей в ответ: «Ты бы, дура, прежде смотрела!»

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и, по-видимому, даже чем-то проникнутому, жить в селе Лисьи Ямы, в норе, на цепи, с глазу на глаз с попадьею, сластеной и франтихой? И он на цепи, и она на цепи... Она скалит зубы и скачет, и он скалит зубы и скачет. И оба благодарят провидение, что у каждого цепь настолько коротка, что не пускает их загрызть друг друга. Этим и процветает семейный союз.

Если кто думает, что вслед за этим вступлением появится на сцену дворовая девица (плод секретной любви покойного папеньки) и затем произойдет интереснейшее кровосмешение, или что из-под куста выпорхнет породистая помещичья дочка и подаст повод к целому ряду приятных сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч., – тот пусть не читает дальше этих признаний.

Ничего этого не будет: во-первых, потому, что ничего подобного не было в действительности, а во-вторых, и потому, что я поставил себе задачей писать о гробе, только о гробе.

Мысль об этом приличнейшем, по настоящему времени, убежище давно уже шевелилась во мне и, наконец, вполне созрела по следующему очень характеристичному случаю.

Не очень давно тому назад, умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». Разумеется, пошли переговоры с кладбищенскими властями, и вот, во время этих переговоров, матушка игуменья некоего знаменитого монастыря, на который указал знаменитый покойник еще при жизни, таким образом рекомендовала свой товар:

– У нас на монастырском кладбище – очень хорошо. Тишина, порядок, простор. И зимой-то придешь посмотреть – залюбуешься, а летом, как распустятся деревья, – точно в раю! И не вышел бы! Советую.

И, видя, что слова ее производят благоприятное впечатление, присовокупила:

– И еще тем у нас хорошо, что для всех состояний такса установлена – по-божески! – кому что требуется. И богатые люди, и среднего состояния, и бедные – всех милости просим! И первого класса места, и второго, и третьего – все распределено, смотря по тому как. Поближе к благодати – и плата выше, подальше от благодати – и плата понижается. За церемониал плата особенно, и тоже по состоянию. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
освещение, среднее и малое. Также и насчет поминовений. Нудить никого не нудим,
а кто как любит, так для себя и выбирает. Советую.

Вот тогда-то и блеснула у меня в голове мысль: именно мне это самое и нужно. Но так как все эти удобства я мог получить хозяйственным образом, то есть у себя, в своем собственном кладбище, то ясно, что для меня был прямой расчет воспользоваться этим преимуществом. Там, думалось мне, я все найду: и место первейшего класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гроб, а что касается до церемониала, то, наверное, тамошняя самая большая служба будет стоить вдвое дешевле, нежели здешняя самая малая.

Сверх того, мне хотелось умереть без тревог, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я – человек предрассудочный и притом робкий; мне всё кажется, что если я буду продолжать «соваться», как совался до сих пор, то существование мое, наверное, пресечется самым неожиданным и притом злокачественным образом. Я знаю, что это страх ложный (на тех же похоронах знаменитого человека один из моих друзей, служащий в департаменте «Возмездий и Воздаяний», указывая на громадную толпу, окружавшую гроб, сказал мне: «В обществе говорят, будто мы не допускаем передовых людей естественною смертью умирать – вот вам блестящее опровержение этой гнусной клеветы!»), но что же делать, если он до того присущ мне, что я освободиться от него не могу? Тогда как, ежели я заблаговременно переселюсь в «свой собственный гроб», – наверное, всякий страх напрасной смерти пройдет сам собою, за неимением пищи. «Соваться» мне там – незачем, да и департамент «Возмездий и Воздаяний» будет далеко... Никто и не увидит, как я изною, пропаду самым естественным образом!

С любовью и не торопясь прилаживался я к своему гробу и, признаюсь, не без удовольствия говорил себе: как это, однако, хорошо, что у меня свой собственный гроб есть! Надоело «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственные досужему человеку действия – взял, юркнул в свой собственный гроб и пропал в нем. А у других, у «недосужих», и этого нет. Вот он едет зимником по реке, перед самыми окнами моего дома, с возом на мельницу, – он и рад бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гроб, там на селе; но это такой гроб, в котором не постепенно умирать, а ежемгновенно и без отдыха жить надо. Во-первых, потому, что он, обитатель этого гроба, – ревизская душа, а во-вторых, потому, что жизнь сама по себе, помимо его воли, помимо разумения, даже помимо инстинктов самосохранения, впилась да и не отпускает его.

Какая это жизнь – это другой вопрос. Я, по крайней мере, уверен, что в эту самую минуту он глядит на мой гроб и думает: вот где настоящая-то жизнь! И всегда он так думал: и тогда, когда я «совался» и «пламенел», и теперь, когда я, истомленный «сованиями», исподволь прилаживаюсь к гробу. Всегда он завидовал моей тоске и моим изнываниям, называл их жировыми и говорил: хоть бы недельку так-то пожить!

Я изнываю от тоски, от неудовлетворенной жажды поступков, наконец, от стыда, а он думает: вот оно, хорошее-то жите! И думает правильно, потому что его-то собственное жите уж таково, что даже суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений, – и тем не найти красок, чтоб достойным образом воспроизвести это жите!

Собственно говоря, только это вечно присущее сравнение между его гробом и моим и напоминает ему обо мне. Во всем остальном – ему до меня дела нет. Ни советов ему моих не нужно, ни сочувствия. В том деле, которое сопровождает его жизненную агонию, я никаких поучений дать ему не могу, да и он сам эти поучения встретит с нетерпением, скажет: уйди! не мешай! Что же касается до сочувствия, то и тут последует тот же ответ: уйди! не мешай! Он не примет его за иронию только потому, что вообще ничего не прямого, иносказательного не понимает, а просто-напросто подумает, что мое сочувствие есть обыкновенное интеллигентное «сование», только на этот раз уж совсем неуместно примененное. «И без тебя тошно – а ты лезешь!»

Да, лучше уж не «соваться», а сидеть смиренно в своем собственном гробу и потихоньку умирать. Слава богу! папенька с маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая к рублю копейку, наколотили так достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успела уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекошились – чего еще нужно! А главное, никто не мешает, никто даже не подозревает, что в этом гробу кто-то копошится. Много

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru таких гробов разбросано по окрестности, и о большинстве даже неизвестно, чьи они и шевелится ли в них кто-нибудь. И стоят они, постепенно чернея и оседая, под влиянием времени и непогод. Пройдет еще одно поколение – даже гробов не будет, а просто-напросто будут торчать почерневшие безглазые черепа.

При моем душевном настроении это было чрезвычайно удобно. Мне именно нужно было исчезнуть так, чтоб никто не отыскал. Я машинально повторял про себя старинное мудрое речение: мертвые срама не имут – и мысль, что нашлось наконец убежище, в котором ничто не настигнет меня, приводила меня в восхищение.

Замечательная особенность: вот он, тот самый, который идет за возом на мельницу, он не только не понимает моего недуга, но даже меня, человека изнемогающего, считает за привередника. Может быть, ему некогда разбирать, сколько постыдного, сорного налета налетело на жизнь, но может быть и то, что его обычный *modus vivendi* [21] уж таков, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человека, с младенческих пеленок, единственный способ передвижения состоит в том, что его перетаскивают с места на место за волосы, то, конечно, он будет ощущать при этом физическую боль, но все-таки вряд ли поймет, что этот способ передвижения ненормальный. Ненормальный – для кого? Вот для них, для тех, которые, худо ли, хорошо ли, а ползут-таки на собственных ногах, – может быть! Но для него – он нормальный, потому что иначе как же могло бы случиться, чтоб таскание за волосы совершалось среди бела дня, у всех на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этом зрелище!

Так-то и тут; не понимает он, да и только. Но быть свидетелем этого непонимания, видеть, как оно расплзлось по всем жизненным тропинкам и заполонило вселенную, – ужасно! В сущности, это собственно только и ужасно. С моим личным, частным недугом я, пожалуй, довольно легко бы совладал, а вот этот общий и частью даже чужой недуг – он-то именно и составляет ту непосильную гирю, которая заставляет человека оседать все глубже и глубже, покуда он не очутится лицом к лицу перед отверстым гробом.

Почему чужой недуг претворяется в свой собственный и даже пуще гнетет – это отчасти объясняется большим или меньшим досужеством. Досужество дает человеку возможность развешивать перспективы, отыскивать связующие элементы. А как только начинает чувствоваться связь между собою и «остальным», так тотчас же делается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханного, какой-то безрассветной мглы начинают надвигаться со всех сторон и давят, и давят без конца. Чтоб вынести эти горы на своих плечах, надо быть или очень сильным, или – очень нахальным. Робким и слабым – не остается ничего больше, как исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надел халат и замолчал. Комнат – целая анфилада; можно ходить взад и вперед до усталости. Ходишь и молчишь; даже в голове настоящих мыслей нет, а мелькает что-то неопределенное. Отрывки старых вожделий, звуки... Прислуга является ко мне редко, в определенные часы, чтоб сказать, что подано кушать, или принести стакан чаю. Были попытки завести разговор о том, что сегодня с утра мжица мжит, или о том, что нынешнюю зиму волков до ужаста много, в деревне днем по улице бегают; но так как с моей стороны поощрений не последовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросом об одиночном заключении и даже с жаром доказывал, что это – самый благородный способ отмщения нарушенной правды, потому, дескать, что он дает нарушителю возможность примириться с самим собою. Вот какой я был... филантроп! как бы то ни было, но эта старинная предилекция, должно быть, и сказала теперь. Я нашел для себя именно одиночное заключение, – разумеется, смягченное анфиладою комнат и возможностью во всякое время нарушить обряд молчания.

Только принесет ли оно с собой примирение? рассеет ли мглу, которая так и висит надо мною, несмотря на внешний свет и простор? – вот в чем вопрос.

Покамест, однако, я чувствую себя очень хорошо. По крайней мере, та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я пятое колесо в колеснице, которая разбила мою жизнь, уже не терзает меня так неотступно, как прежде. Имея впереди только гроб, мне не нужно ни мочь, ни знать, а тем больше претендовать на звание нелишнего колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Как хотите, а это выигрыш. Мне нужно одно: чтоб молчание, объемлющее меня, не нарушалось ни единым призывом к жизни. Мне так довольно всяких «не могу», «не знаю», и понятие о них до того отождествляется, в моих глазах, с понятием о жизни, что всякое

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
напоминание о последней представляется напоминанием о первых.

По одиночество и само по себе имеет втягивающую силу. Оно нашептывает думы, не имеющие ничего общего с думами живых людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтоб фантастическое или бессвязное, но никогда не кончающееся и притом доступное для бесконечных видоизменений. Думы плывут безостановочно, сами собой, не беря старых ран и не смущая тревогами будущего. Для человека, перешибленного пополам и имеющего за плечами целое бремя всевозможных «сований», одно воспоминание о которых заставляет краснеть, – это до того хорошо, что всякий перерыв, всякое внешнее вторжение кажется несносным, тяжелым. Думается, что если бы среди этого одиночества вдруг появился свежий человек с целым запасом вестей из мира живых, – это не только не заинтересовало бы, но скорее даже огорчило бы меня. Я слушал бы только машинально, из приличия, но внутри у меня кипела бы все та же неясная работа бесконечно тянущихся представлений, звучала бы все та же струна. Это бывает с людьми, которые серьезно освоились с одиночеством, да еще с людьми, которых поразила сильная мысль, что-то вроде откровения. Вся обыденная жизнь проходит мимо этих людей, как бы не прикасаясь к ним. Есть одна светящаяся точка, в которую неизменно вперен их взор, и этой одной точки совершенно достаточно, чтоб наполнить их существо до краев.

Одним словом, одиночество должно оказать мне великую услугу: оно спасет меня от жизни. Умирать, хотя и заживо, но вовремя, – не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этом стою. Я знаю, что вообще достойнее и сообразнее с человеческим назначением говорить: благо живущим! Но знаю также, что бывают такие изумительные обстановки, в которых и уместнее, и приличнее говорить: благо умирающим и еще большее благо – умершим!

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятым колесом в колеснице, при всяком удобном случае слышать: не твоего ума дело! – разве подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положение?

Я охотно допускаю, что «смертный», по природе, самолюбив и склонен к самомнению, но ведь отпор этому самомнению дает сама жизнь или, лучше сказать, свободный процесс ее. Этот процесс, сам по себе, каждого ставит на свое место, для каждого очерчивает известное пространство, за пределы которого переходить не полагается... Для чего же понадобилось, независимо от неминуемой жизненной оценки, заранее встречать человека словами: твой ум бессилён, дрябл, неуместен?

И каким изумительным логическим путем можно было дойти до построения такой отчаянной теории, которая убивает жизнь в самом зародыше и, следовательно, даже тех жалких практических результатов, которых от нее ожидают, в сущности, дать не может?

Право, это совсем не такой праздный вопрос, как может показаться с первого взгляда, и есть не мало людей, которых самая постановка его терзает безмерно. Разумеется, и его можно разрешить сразу, без дальнейших оговорок, юркнувши в гроб; но, во-первых, как я уже сказал выше, не у всякого есть в распоряжении удобный гроб, а во-вторых, говоря по совести, разве гроб – разрешение?

Говорят, что покуда имеется налицо, с одной стороны, целая масса людей, у которых нет времени обратиться с каким бы то ни было запросом к самим себе, а с другой – достаточное количество индивидуумов, которые преднамеренно чуждаются мерцаний совести и не чувствуют от этого ни малейшего ущерба, – до тех пор не представляется даже повода принимать в соображение, что существуют какие-то бродячие единицы, разбросанные по лицу земли, без опоры, без связи и умирающие от боли, каждая в своем углу. Этого мало: на общественном рынке пользуется неограниченным кредитом целая философская система, которая прямо утверждает, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существует...

Я знаю, что эта философия никаких практических разрешений не дает и что, вдобавок, ее всего приличнее назвать заплочною; но попробуйте-ка протестовать против нее! Попробуйте сломить это железное кольцо, которое от начала веков сдавило человека и заставляет его фаталистически вертеться в пустоте! Увы! старинная мудрость завещала такое множество афоризмов, что из них, камень по камню, сложилась целая несокрушимая стена. Каждый из этих афоризмов утверждался на костях человеческих, запечатлен кровью, имеет за собой целую легенду подвижничества, протестов, воплей, смертей. Каждый из них поражает крайней

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru несообразностью, прикрытой, ради приличия, какой-то пошлой меткостью, но взгляните и эту пошлость поглубже, и вы наверное увидите на дне ее целый мартиролог.

Эти легенды воплей, этот мартиролог – разве они не представляют достаточного фундамента, на котором какой угодно бессодержательный афоризм может бесспорно утвердить свое право на существование?

Вот отчего заплочная философия процветает: у ней имеются сзади целые массы жертв. Но кроме того, ужасная сама по себе, она делается еще более ужасною вследствие того, что прежде всего вторгается в домашний, будничныи обиход человека, становится на страже его удобств и привычек, и только тогда, когда уже видит силу сопротивления окончательно сломленнои, погубляет и душу. От этого встречается много людей, даже не чуждых умственной гастрономии, которые не только не мечутся от тоски при произнесении заплочных афоризмов, но и не чувствуют ни малейшей неловкости. Жизненный процесс у этих людей раскалывается на две половины: в одной – материальная гастрономия, в другой – гастрономия умственная, и ежели некоторое время обе эти гастрономии живут как бы отдельно жизнью, то обыкновенно дело все-таки оканчивается тем, что они до того перепутываются, что утрачивается всякое мерило для определения, где кончается одна и где начинается другая.

Я долго, слишком долго руководился этой заплочной философией, прежде чем мне пришло на ум, что она заплочная. Будучи тридцатилетним балбесом, я как ни в чем не бывало выслушивал афоризмы, вроде: «Выше лба уши не растут», «По Сеньке шапка», «Знай сверчок свой шесток» – и не только не находил тут никакого мартиролога, но даже восхищался их меткостью. Да и время тогда было совсем особенное. То было время, когда люди бессмысленно глядели друг другу в глаза и не ощущали при этом ни малейшего стыда; когда самая потребность мышления представлялась презрительнои, ненавистною, опаснои: поневоле приходилось прибегать к афоризмам, которые, хоть по наружности, представляли что-то похожее на продукт мышления.

Наконец цикл заплочной философии истощился, поставив самих приверженцев своих лицом к лицу с глухой стеной. Почувствовалась потребность в иных девизах, не столь метких, но зато более снисходительных. Эти девизы явились, и мы все, наперерыв друг перед другом, бросились навстречу им. То было время всеобщих «сований». Настал момент, когда всех осветило солнце откровения, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краев и что заплочный мастер задохнулся в ней. Я заметался вместе с другими, но не от боли, а от тысячи неопределенных порывов, которые вдруг народились в моей груди и потянули меня на простор. Всё мое существо, казалось, очистилось, просветлело; новая кровь катилась по жилам, и ради этой новой крови, ради ее сладких волнений, я готов был забыть даже недавнее заплочное прошлое. «Зовет!» – раздавалось со всех сторон, и хотя чудо призвания заставляло себя ждать, но признаки, позволявшие угадывать сердцем его близость, чуялись всюду...

Я вышел на призыв очень бойко. Написавши на знамени: ничто человеческое мне не чуждо, я искренно уверовал, что воистину вступил в область этого «человеческого». Я жаждал жить, и в особенности жаждал «чувствовать». Но, несмотря на эту страстную жажду, нельзя сказать, чтоб я был чересчур требователен и нетерпелив. Напротив, практика заплочной философии уже настолько въелась в меня, что я не только инстинктивно чувствовал, но даже понимал, что «вдруг» – невозможно.

«Не вдруг!» – повторял я на все лады, и повторял совершенно с тем же энтузиазмом, с каким выкрикивал и другой свой девиз: «да здравствует обновление!» Представилось, что слова «не вдруг» ничего не останавливают, а только спасают. И в то же время хотелось уберечь дело обновления от влияния дурного глаза, выхолить его на славу. Я знал, что у него множество ненавистников, и вознамерился победить их терпением и даже повадливостью. Пусть знают, пусть видят, твердил я, что мы ничьих интересов не затрогиваем и желаем лишь одного, чтоб никто не потерял и чтоб все выиграли! Мне не приходило на мысль, что, твердя слишком часто одно и то же «не вдруг», я наконец могу при нем одном и остаться. Нет, я этого не боялся, потому что был слишком уверен в живучести своего порыва. Я вообще в то время ничего не боялся: ни самоотверженно лезть вперед, ни предусмотрительно кричать: не вдруг!

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

К чему я тогда не примазывался! в каком «хорошем» деле не предлагал своих услуг! Все тогдашние вопросы были моими личными, кровными вопросами. Я пламенел не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всеми ее деталями, и везде предъявлял искренность, расторопность, готовность, радость. Утром я просыпался со словами: «сегодня нам предстоит быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновление»; ночью – мой первый сон начинался словами: «радость, которая еще сегодня утром составляла только предмет гаданий наших, свершилась»... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успевал с ними во все места, куда они меня влекли, хотя быстрота моих мельканий по лагерю радостей и надежд была поистине изумительна. И за все эти мелькания я ничего не требовал, кроме счастья быть свидетелем общего обновления и скромно сознавать, что я тут был, мед-пиво пил...

Я торжествовал и, что всего хуже, принял мое торжество за нечто серьезное. Действительно, на первых порах мои «сования» не только не встретили отпора, но катились вперед, от станции до станции, словно по покатоности. В лагере радостей и надежд меня ожидали только объятия и сочувственные улыбки. Я уже не говорю о второстепенных деятелях обновления – эти положительно не могли нагордиться друг другом, как половые палкинского трактира в ту минуту, когда хозяин пригласил француза-повара, но даже в среде самих «строителей» все говорило о ласке, о поощрении, о благосклонном снисхождении. Правда, что в этом снисхождении чувствовался оттенок чего-то похожего на изумление, но именно этот-то оттенок мы, впопыхах, и просмотрели. Если бы мы спохватились вовремя, то убедились бы, что тут скрывается нечто, во всяком случае, загадочное. Что собственно послужило поводом для этого изумления: размеры ли нашего слабоумия, разыгравшегося до резвости, или гадливое опасение, что вот и это резвящееся слабоумие, чего доброго, предъявит какие-то требования?

Наконец, однако, мы надоели. Года два сряду мы любовались друг другом, на третий – любоваться было уже нечем. Мы весь свой багаж разбросали разом и ничего не сумели подобрать, так что очутились совсем с пустыми руками. Все изменилось кругом нас: спрос на наши услуги вдруг понизился до минимума, снисходительные улыбки превратились в откровенно кисло-сладкие; одни мы не изменились и продолжали выказывать назойливейшую готовность идти в огонь и в воду. Тогда, чтоб отделаться от нас, потребовалось употребить насилие...

Что было потом – лучше не вспоминать. Скажу одно: человеку, который гордо шел в храм славы и, вместо того, попал в хлев, – и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особенно в таких местностях, где и храм славы, и хлев стоят рядом, не представляют еще особенно мучительной неожиданности; но замена вчерашнего лихорадочного «сования» сегодняшним оцепенением, это – более нежели неожиданность: это целый переворот. Нить жизни порвана, привычки нарушены, все планы, все стремления, все, чем жил человек, – все разом упразднено. Сколько жгучего презрения должен почувствовать человек к самому себе в минуту совершения этого переворота! Ведь он все тот же: деятельный, преданный, одушевленный – и вдруг... За что?

За что? поймите, какая масса беспомощности, самоунижения, напрасных укоров, бессильного ропота слышится в одном этом вопросе!

С первого раза нельзя даже понять, что такое случилось. «Выше лба уши не растут!» «Знай сверчок свой шесток»... опять! Опять эта постылая, ненавистная «мудрость веков»! В бывалое время она входила в одно ухо и выходила в другое; теперь – она хлещет по щекам! Все лицо горит, весь организм трясется. «Пятое колесо в колеснице» – кто первый выдумал это чудовищное сравнение? «Ничего не знаю», «ничего не могу!» – кто возвел эти ужасные слова в доктрину? Куда бежать, куда провалиться от этих заплечных афоризмов? Об «сованиях», конечно, нечего и думать; но куда бежать?

И вот навстречу выдвигается... гроб!

Отлично, отлично, отлично.

Теперь самое существенное, это – довести мысль до той степени неопределенности, при которой она совпадает с жужжанием. И затем – позабыть. Погрузиться со всем прошлым и настоящим на самое дно, так, чтоб выкарабкаться оттуда было нельзя,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
если бы даже и пришла в голову блажь опять лезть навстречу старинным «сованиям».

Как я уже сказал выше, внешняя обстановка, с самого начала, удивительно как благоприятствовала этому погружению. Но чем дальше, тем лучше. Нет ни происшествий, ни даже простого благорастворения воздуха – ничего такого, что вызвало бы попытку выйти из гроба. На дворе замечаются, правда, признаки весны, но не той светозарной, зажигающей весны, о которой повествуется в книжках, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелые, серые тучи повисли над домом, поселком и парком и с утра и до ночи сеют на землю мокрый снег. С 1 марта подул с юго-запада ветер, но настоящего тепла не принес, а только сырость да слякоть; иней, одевавший парк узорчатою одеждою, сполз, и деревья стоят голые и беспорядочно хлещут по воздуху отяжелевшими ветвями; дорога исковеркалась и побурела; река покрылась полыньями; в саду снег источило словно червоточиной, и по местам обнаружилась взбухшая земля; люди ходят мокрые, иззябшие, хмурые; деревья совсем почернела. Говорится в сказках о жаворонках, о волшебных метаморфозах воскресения природы, но ни жаворонков, ни воскресения нет, а есть унылая картина неопрятного превращения твердого черепа зимы в непролазные хляби весны. Только вороны суетливее прежнего хлопчут вокруг гнезд и неистовым криком как бы возвещают, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествий, то я заранее решил устраниваться от них и потому даже наблюдений никаких не делаю. Иногда, впрочем, я подхожу к окошку, гляжу на поселок, но особенного любопытства не ощущаю. Там во множестве кишат черные точки, погруженные в вечную страду. Кишат – и только. Борются – и не сознают борьбы; устраивают, ухичивают – и не могут дать себе отчета: что и зачем? И не хотят знать ни высших соображений, ни высших интересов, кроме, впрочем, одного, самого высшего: интереса еды. Конечно, я понимаю, что в этом-то интересе и сила вся, но странная вещь! – как только я наталкиваюсь на него (а не наткнуться – нельзя), так тотчас же чувствую непреодолимое желание обойти, замаять. Разумеется, впрочем, так обойти, чтоб никто этого не заметил...

Вообще я должен сознаться, что меня всегда гораздо сильнее трогал вопрос о недостатке так называемых «свобод», нежели вопрос о недостатке еды. Еда – вещь неизменная (трудно даже вообразить: как это нет еды!), а я воспитан в традициях красивых линий и интересов исключительно спекулятивного свойства. Конечно, я не чужд и представления о бескормице, но не «такой». Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе, но именно курицу, а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды. Сверх того, я могу довольно легко представить себе и трагическую сторону бескормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятия, голодную смерть, а не обрядовое голодание, сопровождаемое почтительно сдерживаемым урчанием в животе и плаксивою суетою, направленною в одну точку: во что бы то ни стало оборониться от смерти.

Тем не менее иногда мне сдается, что, будь у меня, вместо множества высших интересов, только один, самый высший, – наверное, меня не грызла бы такая бешеная тоска. Очень возможно, что она заменилась бы болью, еще более жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я мог бы сослаться с уверенностью быть понятым. А теперь, с своими «свободами», куда я пойду? С какими глазами покажусь я вот хоть на этой почерневшей от мужицкого тука улице, на которой день-деньской всё кишат, всё кишат?

Поэтому-то я и не выхожу из гроба и не наблюдаю ни над чем. Нет у меня нужной для этого подготовки. Однако ж это не мешает мне утверждать по совести, что хотя мои «высшие интересы» – и не «самые высшие», но все-таки они – не прихоть, не фанаберия, а действительная и стелющаяся боль сердца.

И эта боль тем несноснее щемит меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и в одиночку.

Однажды, впрочем, я соблазнился и чуть было совсем не выпрыгнул из гроба. Вот по какому случаю. Пришел сельский батюшка, весь встревоженный, и сообщил мне, что на селе случилось происшествие.

– Появился мужичок один, из фабричных, – рассказывал он, – наш он, коренной здешний, да не по-здешнему речь ведет. Говорит: рука божия якобы не над всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иных угоняет преизбыточно, а других и от малого немилостивне отстраняет...

- Воля ваша, батюшка, а тут что-то не так! – усомнился я.
- Ну, да, конечно, он, по-своему, по-мужицкому, объясняет, а редакцию-то эту уж я...
- Понимаю. Что ж дальше?
- То-то вот: как в этом разе поступить?
- То есть как же так поступить?
- Дать ли делу ход или так оставить?
- Батюшка! помилосердуйте!
- Признаться, я и сам... Только вот мужички обижаются... Кабатчик, значит... в личную себе обиду принял – ну, и прочих взбунтовал!

Я заинтересовался и пошел на село. Перед волостным правлением волновалась небольшая кучка народа, из которой неслись смутные крики. Но не успел я дойти до места судбища, как приговор уже был объявлен и приводился в исполнение: виноватого «стегали». Здоровенный мужчина сам снял с себя портки, сам лег и сам кричал: честной мир! господа честные! простите! не буду! А впоследствии я, сверх того, узнал, что, только благодаря предстательству батюшки, дело кончилось так легко и что, не будь этого предстательства, кабатчик непременно бы настоял, чтоб возмутителя его спокойствия отослали в стан.

Я возвратился домой и, признаюсь, некоторое время чувствовал себя изрядно взбудораженным. Помилуйте! Я уж совсем было начал «погружаться», а вместе с тем и самое представление о розгах уже стало помаленьку заплывать, и вдруг... Да, брат, «выше лба уши не растут!», машинально повторил я и чуть-чуть не задохся вслед за тем; до такой степени весь воздух, которым я дышал, казалось мне, провонял, протух...

Об чем собственно шла речь? – об еде. Кажется, предмет общепонятный и общедоступный, а между тем честной мир решением своим засвидетельствовал, что и дела ему до него нет, что он не желает даже, чтоб его беспокоили подобными разговорами. Что означает этот факт? То ли, что мир хотел «уважить» кабатчика? или то, что в его представлении вопрос об еде сформулировался так: ешь, что у тебя под носом?

Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на поселке, никак не уйдешь. Как ни взмывай крыльями вверх, как ни стучи лбом об землю, как ни кружись в пространстве, а поселка все-таки не миновать. Там настоящий пуп земли, там – разгадка всех жизненных задач, там – ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда... но как же туда пройти, коль скоро там только одно слово и произносится внятно: стегать?!

Во всяком случае, кто не может вместить поселка, тот лучше пусть и не прикасается к нему. Потому что иначе к прежним высшим мотивам тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высший...

Так и я поступаю, то есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить в гробу без прошлого, без будущего, даже без настоящего. Да, и без настоящего, хотя это и кажется на первый взгляд нелепым. Я убежден, что можно до такой степени убить в себе чувство жизни, что самая реальная, осязательная действительность – и та не то что покажется, а воистину сделается призрачною, неуловимою. Стены будут двигаться, пол начнет колебаться под ногами. Галлюцинация получится полная, но ведь только она и может привести за собою настоящее, заправское забвение.

Чтоб достигнуть этого результата, необходимо, прежде всего, отучиться от настоящих человеческих мыслей и заменить их другими, получеловеческими. Во-первых, это засвидетельствует о несомненном повороте в сторону благонамеренности, а во-вторых, удивительно как помогает жить, то есть умирать. Поначалу, разумеется, встретятся затруднения, но известные механические приемы мигом упростиат дело. Так, например, настойчивым повторением вслух первой

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
попавшей под руку бессмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

К тому же, у каждого человека есть наготове целый запас историй, которые преимущественно щекотят его животненные инстинкты и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержания, эти истории имеют то драгоценное качество, что их, по желанию, можно обставлять новыми и новыми деталями, вследствие чего они никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, например, истории любовные. Какое светозарное облако можно соткать по такому простому поводу, как столкновение двух существ, из которых одно называется мужчиною, а другое – женщиною! и какими яркими, разнообразными колерами будет это облако отливать! Или другой пример: процесс личного обогащения; и его тоже можно всякими огнями осветить. И сто тысяч – богатство, и миллион – богатство, и сотня миллионов – богатство. Затем: сначала идет процесс накопления (какой отличный случай для вмешательства элемента «чудесного»!), потом – процесс распределения... то есть на себя, на свои собственные нужды, а отнюдь не... Поистине можно до таких осложнений дойти, что сразу и не справиться с ними! И еще пример: истории сельскохозяйственные. Сам-друг, сам-семь, сам-двенадцать – какое разнообразие! А с другой стороны – цена продуктов может быть – рубль, а может быть – грош. Как тут быть? Поневоле приходится рыться в воспоминаниях об экономических обедах (эти воспоминания не только можно, но и должно освежать как можно чаще). Словом сказать, является целый мир мыслей, дум, представлений, не весьма ценных, получеловеческих, но способных воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству, не успеешь и оглянуться, как образуется громадный клубок, перед которым целые поколения будут стоять в изумлении, покуда не придет «невежа» и не скажет: наплевать!

Но когда-то это еще случится, а покамест ресурс все-таки есть. Я очень серьезно отнесся к этой программе и решил во что бы то ни стало ее осуществить. И вот стены вокруг меня зашатались, пол заколебался под ногами... Проблески старинного стыда, воспоминания о высших вопросах, представление о поселке – все исчезло. Остались только зеленые круги в глазах, как неизбежное последствие болезненной усталости.

Я знаю, мне скажут, что это срам. Да, это срам, отвечу я, и даже высокой пробы, но он освобождает меня от прошлого, а в данном случае только это и требуется.

Я уже начинал совсем утрачивать чувство действительности, как нечаянный случай снова возвратил меня к нему. Привязался ко мне старик Дементьич с «докладом»: время-де погреб набивать льдом. Несколько дней сряду я только мычал в ответ: а! гм! Наконец он, по-видимому, испугался и почти во все горло проскандовал свой вопрос.

Вот по этому-то ничтожному поводу и завязался у нас разговор.

– От Ивана Михайлыча человек на мельницу приезжал; спрашивал, давно ли вы в усадьбу приехали? – доложил Дементьич.

– От Ивана Михайлыча! помню! как же... помню, помню! да неужто он жив? – встрепенулся я.

– Живы-с.

– Да ведь ему уже тогда было под семьдесят – помнишь?

– Много им годов. А всё до последнего время здоровы были. Только в прошлом году, от несчастьев от этих, словно кабы...

– От каких несчастнее?

– Да с молодыми господами что-то поделалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живут сам-друг с младшей внучкой... вроде как убогонькая она... Поедете, что ли, проведать?

– Конечно, конечно... Как-нибудь... съезжу!

Дементьич ушел, а я начал припоминать. Это было лет двадцать тому назад, в самый разгар моих «сований». Иван Михайлыч уж и тогда был старик старый. Как сейчас

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, с головой, остриженной под гребенку и украшенной окладистой седой бородою, вечно в застегнутом на все пуговицы черном сюртуке солидного покроя. Сам лично он не «совался» – года не позволяли, – но сердцем и мыслью был неотлучно с нами (нас было – таки довольно). Мы были молоды, а он, казалось, вдвое моложе нас. Он воодушевлял нас, вселял в нас бодрость и веру, в нас, которые и сами были всецело сотканы из бодрости и веры! В его старческом сердце словно цвет какой-то загадочный распустился; в его старческих глазах – искрилось пламя. Никаких сомнений он не допускал, а тем менее – иронии, к которой был даже строг. И радовался такую безмерною радостью, какую может радоваться только острожник, выдержавший бесконечно долгий искус, утративший всякую надежду на освобождение и вдруг, волшебством каким-то, очутившийся на воле. И мы чувствовали на себе силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уважения. Чудно было видеть, как сильный луч света вдруг осветил могильную плиту, но вместе с тем и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выход совсем новому, сильному человеку, который не знал, как надыхаться, наглядеться, наликоваться. Конца-краю его ликования не было, потому что этот оживший, согретый лучом мертвец создавал перспективы за перспективами, одна другой радостнее, лучистее...

В то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она или дурна, мне как-то никогда не удавалось заметить; но я помню, что в этой семье всем было и уютно, и светло, и тепло, и как-то особенно легко. Должно быть, оттого, что в ней царствовал какой-то удивительный лад. Всегда большой наплыв посторонних – и ни малейшей суетолики, всегда немолчный говор – и никакого надоедливости шума. Дом этот служил средоточием не потому, что туда можно было во всякое время уйти от нечего делать, а потому, что всякий надеялся освежиться в нем. Удивительное дело, сколько тогда материала для бесконечных бесед было – нынче этого даже представить себе нельзя! Точно все родились вновь и на каждом шагу обретали совсем новые предметы, нужные, животрепещущие, настоятельные. Да и действительно, много было и животрепещущего, и настоятельного, да вот пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впоследствии, когда всем местным «сованиям» (я забыл сказать, что жил в то время в деревне, где собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая деятельность) был положен крутой и внезапный конец, я бросился вон из деревни и уехал «соваться» в другие места. А Иван Михайлыч остался на месте, и хотя цветок, случайно распустившийся в его сердце, завял значительно, но все-таки он продолжал заботливо охранять его корень, в чаянье, что опять проглянут лучи и согреют его. Повторяю: в качестве острожника, почувствовавшего простор полей, он сделался наивен, как юноша, и, как юноша же, был доступен только впечатлениям радости и надежды. Я лично уже не виделся с ним, но от посторонних слышал, что он точно так же, как и я, как и все мы, не один раз расцветал и не один раз увядал. Надежда – вещь слишком привязчивая, чтоб могла легко и скоро превратиться в стыд. Но год или два тому назад Ивана Михайлыча постигло двойное несчастье: сперва умерла дочь, а потом случилось что-то загадочное с внуками, которых он вырастил и на которых не мог надыхаться. По словам Дементьича, в самое короткое время его так свернуло, что от прежнего бодрого и физически сильного старика осталась одна развалина. Теперь он живет вдвоем с уцелевшею внучкой; оба думают об одном; оба чувствуют себя раздавленными, и оба боятся проговориться друг перед другом. Именно только благодаря этой осторожности, их жизнь еще кое-как висит на волоске. Никто к ним не ездит, да и некому: те, которые когда-то составляли их круг, давно уж рассыпались и ушли неизвестно куда. Вот я – воротился, вспомнил, что у меня случайно уцелел свой собственный гроб, а другие – где? Ужели всё еще «суются» и питаются пощечинными надеждами!

Воспоминания эти встревожили меня. С неделю я не упоминал об Иване Михайлыче: все надеялся, что как-нибудь обойдется. В моем безмолвии всякая непредвиденность, всякий выход из пределов программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни под каким видом не мог освободиться приличным образом от визита к Ивану Михайлычу, но зачем же спешить? И я не знаю, чем бы это кончилось, если бы не пришел ко мне на выручку Дементьич, который, в одно прекрасное после-обеда, доложил, что закладывают лошадей.

Я ехал с замиранием сердца, словно ожидая, что мне придется увидеть нечто даже худшее, нежели гроб. Сиротливо раскинулась по обеим сторонам дороги родная равнина, обожженная, расхищенная, точно после погрома. При взгляде на эти далекие, оголенные перспективы, не рождалось никакой мысли, кроме одной: где же тут приют? Кто тут живет? зачем живет? в каких выражениях проклинает час своего

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
рождения? Я никогда не был панегиристом старых порядков, но можно ли было представить себе, даже во сне, что на смену прошлому придет такое настоящее? А сколько было радостей-то! сколько надежд! Ах, эти радости! есть же такие углы в божьем мире, где они не оживляют, а только отравляют существование!

Наконец проехали перелесок (я не узнал его: тут прежде был хороший, старинный лес), и из-за снежных сугробов вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не из нарядных, а теперь и вовсе глядела разоренным вороньим гнездом. Почернела, даже словно сгорбилась. Я осторожно подъехал к заднему крыльцу (парадное было заколочено, и дорогу к нему занесло снегом) и в бывшей девичьей был встречен Юлией Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была девушка болезненная, маленького роста, горбатенькая. Лицо у нее бледное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему, по временам, светящиеся точки. Смесь детского и преждевременно состарившегося поражала в этом лице; глаза смотрели совсем по-детски, восторженно, как-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящего перед глазами, а на висках и на лбу уж легли старческие тени. Даже голос ее звучал двойственно; в общем он напоминал неустановившиеся голоса переходной эпохи двенадцати-тринадцатилетнего возраста, но, по временам (даже слишком часто), в нем прорывались такие дряхлые звуки, что, слыша их, вы невольно представляли себе целую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Может быть, долгая строго-уединенная жизнь уж отучила ее от той приветливости, которую некогда, казалось, были пропитаны даже стены этого дома.

– Дедушка вас ждет, – сказала она, подавая мне руку.

– Он здоров?

– Здоров, но не надо его волновать. Конечно, при встрече после долгой разлуки, нельзя обойтись без воспоминаний, но есть предметы – вы меня понимаете? – которых положительно не следует касаться. Он и без того слишком об них помнит.

Я нашел Ивана Михайлыча в столовой. Передо мной стоял прямой и длинный старик, до того худой и обнаженный от мускулов, что даже кости у него, казалось, усохли. Бледно-серая голова, словно мхом поросшая волосами, ничем бы не отличалась от головы мертвеца, если бы из глубоких глазных впадин не выглядывали две светящиеся точки. Увидев меня, он протянул ко мне свои длинные, худые руки.

– Приехали?.. куда?.. ха-ха! – приветствовал он меня.

Я бросился к нему, и вдруг внутри у меня что-то нахлынуло, закипело, защемило. Я не ждал от него смеха... ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнул, затрясся и, мучительно надрываясь от боли и, в то же время, как бы усиливаясь освободиться от нее, крикнул:

– Ну, да, в гроб, в гроб, в гроб!

Казалось, эта выходка поразила его. Он взял мою руку; одною рукою держал ее, а другою гладил, как бы желая успокоить.

– Ну, дайте я на вас посмотрю! – сказал он, подводя меня к окну, и затем, внимательно осмотревши, прибавил: – Всё в порядке. Теперь рассказывайте. А впрочем, что ж я! Прежде познакомьтесь. Юлия – внучка моя. Теперь она у меня одна.

Он спохватился и не кончил.

– Рассказывайте, рассказывайте! – повторил он.

Мне всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краев наполненная «сованиями», – есть, кажется, что порассказать. Но теперь, при этом, так сказать, ультиматуме, я вдруг стал в тупик. Не то чтоб я позабыл или застыдился, – нет, этого не было. Напротив, как нарочно, вся моя жизнь, со всеми деталями, пронеслась в эту минуту предо мной; а что касается до стыда, то, право, он не мог делать никакого диссонанса в доме, где и без того все говорило о стыде. Нет, просто показалось нелюбопытным, ненужным.

– Рассказывать-то, верно, нечего... ха-ха! – засмеялся он.

– Пожалуй, что так, – согласился я.

– Это, сударь, бывает, особенно в таких углах вселенной, где по части благочиния чересчур благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь, и все как-то около одного предмета вертишься: около вывески с надписью: «Управа благочиния»... ха-ха!

– Действительно, это воспоминание господствует...

– Так-то господствует, что вот я еще в восемьсот четырнадцатом году (восемьдесят восемь лет, сударь, мне!) начал надеждами гореть и потом все горел, все горел, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждом шагу плюхи... вот мерзость какая! Ну, делать нечего, давайте смотреть друг на друга и молчать. Юлия! ты у меня умная: скажи, ведь молчать – лучше?

– Да, дедушка, лучше.

– И я говорю: лучше... ха-ха! Только я вот еще что говорю: молчание – вещь обоюдоострая; иногда оно помогает забывать, а иногда – жжет, берedit. Точно вот слезы, которых не можешь выплакать, или стыд, который, хочешь не хочешь, а должен глотать. Так ли, господин надеждоносец... ха-ха!

Я прислушивался к его смеху, и мне положительно делалось неловко. Хохочущий старик – право, это целая трагедия. Какую нужно необъятную боль, чтоб добраться до дна старческой дремоты, разбудить все скопившиеся там боли, перебрать их одну за одной и обострить – до хохота!

– Что касается до меня, – сказал я, – то я, во всяком случае, полагаю, что молчание целесообразнее. С помощью его мы извлекаем свой личный стыд из публичного обращения и перестаем служить посмешищем. Я, собственно, ради молчания и воротился в деревню.

– А вы из стыдящихся? – вдруг прервала меня Юлия Петровна и так пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

– Она у нас стыдящихся не одобряет, – с своей стороны пояснил Иван Михайлыч.

– Не одобряете? но что же делать, если результат всей жизни выражается словами: довольно жить? – возразил я.

– Она таких результатов не признает. Не понимает, что для нас, старых надеждоносцев... если мы и к таким результатам приходим... и то уж заслуга... ха-ха!

Старик захохотал таким горьким и продолжительным хохотом, что Юлия Петровна встревожилась.

– Дедушка! оставьте этот разговор! он вас волнует! – обратилась она к нему.

– Мудрая, а не в силах понять, что у нас другого разговора не может быть! Ты говоришь: волнует, а я, напротив, утверждаю: развлекает, позволяет занимательно провести время... так ли, сосед?

– Не знаю, право...

– Нет, наверное. Вот, например, я говорю: как начиналось – и чем кончилось! Восклицание, кажется, не особенно мудрое, а между тем оно облегчает меня! И я очень рад, что есть человек, который меня поймет и вместе со мной постыдится... Так ведь?

Он взглянул мне в глаза и ласково потрепал рукой по коленке.

– Если бы я молчал – эта мысль глодала бы мои внутренности, шла бы за мной по пятам. А теперь, сделавши из нее составную часть *causerie de société*, [22] я все равно что отнял у нее всякое значение. Оттого-то я и повторяю: как начиналось и чем кончилось... ха-ха!

– Да начиналось ли?

– То-то вот... Она, впрочем, умная-то моя, не сомневается. Не только «начиналось», а началось, говорит, и не вчера, а от начала веков. И придет, несомненно придет! Юля! ведь так?

– Так, дедушка, придет.

– Она и на нас, стыдящихся, как-то особенно смотрит. Нечто в роде Закхеевой смоковницы в нас видит... ха-ха!

– Дедушка! я никого не осуждаю! Я говорю только...

– Что нужно верить?

– Нужно, дедушка.

– И что есть люди, которые не падают духом?

– Есть.

– Аминь!

– Аминь, – повторила Юлия Петровна.

Все умолкли, а старик понурил голову, словно задремал. Через минуту, однако ж, он вновь встрепенулся и взглянул в окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихий свет вечерней зари.

– Сколько раз, в былые времена, – словно про себя прошептал Иван Михайлыч, – я провожал глазами эту зарю и говорил себе: завтра я опять увижу ее там, на востоке.

– А теперь?

– А теперь говорю: сейчас она потухнет, и затем начнется ночь...

– Дедушка!

– Да, ночь... и навсегда! Ни надежд, ни «нас возвышающих обманов»... ничего, кроме ночи!

– Нет, дедушка, этого не будет!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горели, лицо ее было все как в лучах; даже в голосе слышались мощные, звонкие ноты.

– Заря опять придет, – продолжала она, – и не только заря, но и солнце!

Старик махнул рукой вместо ответа.

– Есть добрые, не падающие духом! есть! И они увидят солнце, увидят, увидят, увидят! – повторила она.

Иван Михайлыч быстро повернулся и протянул мне руки.

– Ну, прощайте! – сказал он, – тяжело! Говорить мы ни об чем не умеем, а только умеем раздражать себя... Тяжелы эти повторения старой сказки об упованиях! Не ездите ко мне... не нужно! Не затем мы живем, чтоб заниматься *causeries de société*... Будем изнывать каждый в своем углу... Довольно.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

I

Уныло доживал век старик Разумов в родном своем городе Подхалимове. Пять лет тому назад он приехал сюда, покончив счеты с долголетней службой, купил домик в Проломной улице, устроил, ухитил себе гнездо на славу и думал: вот теперь-то начнется настоящий покой! И действительно, «спокой» начался, но не совсем тот, на который рассчитывал Разумов. Начался «спокой» одиночного заключения,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подавляющий, преисполненный безрассветной мглы, тот «спокой», который, однажды захватив человека, окружает его непроницаемой стеной, без дверей, без окон. Сидит человек за этой стеной и ни о чем другом не мыслит, кроме того, что и в нем самом, и вне его все кончилось.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Разумов был старик бодрый, румяный и сильный. Начавши трудную жизненную карьеру с должности писца в подхалмновском земском суде, он не погряз в безыменной массе подьячих, но сумел выделиться из нее настолько выгодным образом, насколько это возможно для человека, у которого нет иной опоры, кроме замечательной деловой цепкости, споспешествуемой не менее замечательною выносливостью хребта. Разумеется, в его возвышении большую роль играл случай, который дал Разумову возможность сначала «понравиться», а потом сделаться «необходимым», но и собственной его заслуги было все-таки не мало. Трудно без особенно счастливого случая выбраться из подьяческой тьмы в излучины воинствующей бюрократии, но еще труднее не потеряться в них и не развратиться. И высокой похвалы заслуживает тот, кто не до конца погубит при этом «рассуждение», а ограничится только тем, что покорит его, поставит в пределы.

Разумов вышел в отставку с хорошей пенсией, и с чином тайного советника, но не совсем по своей охоте. Напротив, это случилось в самую цветущую пору его бюрократической деятельности, когда он всего менее ожидал, что услуги его скоро уж не понадобятся. Разумов никогда не занимал вполне самостоятельного места, но, как второстепенный деятель, он был незаменим. Это была своего рода неуязвимая департаментская репутация, перед которою спасовал даже отважный генерал-майор Отчаянный. Целая свита угрюмых сановников прошла перед ним, в продолжение его многолетнего жизненного искусства, и каждый из них неизменно начинал с того, что сулил ему в перспективе преисподнюю. Но он понимал, что стоит на твердой почве, и не страшился. Тридцать пять лет сряду ничего не страшился и только изредка жаловался на боль в пояснице. И вдруг, совсем неожиданно, почувствовал, что почва, которую он считал неподвижною, начинает шевелиться под ним. И точно: невдалеке пришел деликатный тайный советник Губошлепов (по странной игре случая, несмотря на свою чисто русскую фамилию, он назывался Василий Карлыч) и без угроз, в два слова, пресек жизнь, перед которою в недоумении остановился сам генерал-майор Отчаянный.

– Какой это такой пономарь ко мне давеча представлялся? – спросил он в самый день своего вступления в должность, пораженный высокою и как-то чересчур уж сановитую фигурой Разумова.

Ему доложили, что это был действительный статский советник Разумов, чиновник опытный, неутомимый и даже, в некотором роде, незаменимый по своей части.

– У меня нет «незаменимых»! – кратко отрезал Губошлепов и тогда же порешил в сердце своем положить конец служебному поприщу Разумова.

Нельзя сказать, чтоб Губошлепов был зол, но несомненно, что внутри его царствовали постоянные сумерки. Эти сумерки помогали ему отравлять жизнь подчиненных, не подвергая при этом самого себя никаким запросам со стороны совести. Он принадлежал к той породе бюрократов, которые думают, что бюрократический омут только тогда освежается, когда сидящий на берегу рыболов, от времени до времени, закидывает в него уду и ловким движением руки подсекает суетящуюся в омуте рыбную бель. Что оказывалось в результате этой подсечки: безобидная ли плотва или вороватая щука – это было для него безразлично. Он за результатами не гнался, а просто-напросто выполнял обряд. Из этого неумного занятия он выработал совершенно неумную доктрину, которая, к удивлению, в известных сферах, однако ж, создала ему целую репутацию. По крайней мере, когда в бюрократическом мире шла об нем речь, то все как будто понимали, об ком и об чем они говорят. «Этот человек с душком! у него – система!» – вот мнение, которое сложилось об нем в сознании каждого чиновника, и мнение это он, конечно, старался всеми мерами поддержать.

Я всегда говорил и теперь утверждаю: существует целый замкнутый мир, в котором таким словам, как, например: «мысль», «система», не дается почти никакой цены. Есть выражения, которые нравятся только потому, что они таинственно-заманчивы, хотя внутренний смысл их всегда остается неразгаданным. В результате получается смешение, и то, что в среде обыкновенных смертных зовется глупостью, в этом странном мире получает название «идеи», а то, в чем трудно усмотреть что-нибудь, кроме пустопорожности, украшается именем «системы». Этот особенный мир

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru родился, впрочем, недавно, как поправка и улучшение тому миру, который ни «идей», ни «систем» не знал, а знал только «ежовые рукавицы». Но действительно ли он принес улучшение – на это я положительного ответа дать не могу. Думаю, однако ж, что простые, бесхитростные «ежовые рукавицы» имели на своей стороне преимущество прямоты и откровенности и что вообще помещение таких, например, слов, как: «идея», «система» и т. п. в словари, которые, в видах общественной безопасности, должны отличаться безусловною ясностью, представляет совсем не обеспечение, а скорее угрозу.

Как бы то ни было, но в одно прекрасное утро Губошлепов, закинув в подведомственный ему омут уду, вытащил оттуда Разумова. Рыбина оказалась большая, даже редкостная, но не настолько, впрочем, чтоб такой доктринер рыболовства, как Губошлепов, мог затрудниться, как насчет ее поступить.

– Вы, кажется выслужили право на пенсию? – молвил он однажды Разумову после того, как покончил с ним обычное объяснение.

Разумов покраснел, точно его вдруг по затылку ударили. Ему показалось, что стены губошлеповского кабинета начинают шататься и сам он как будто скользит.

– Выслужил-с, – ответил он, однако, довольно твердо.

– А при этом, ежели чин тайного советника при отставке... гм?.. – продолжал тайный советник Губошлепов, но без жестокости, а именно только с полнейшим «нерассуждением». – Полный оклад пенсии и... чин тайного советника... гм? И так, до свидания... любезный коллега!

Губошлепов очень развязно протянул ему руку, и старик Разумов почтительно прикоснулся к ней концами своих похолодевших пальцев.

В этот день Разумов возвращался домой совсем пустой, точно внутренности из него вынули. Не то чтоб он жаловался или негодовал, а как будто никак не мог вспомнить что-то очень нужное, и в то же время потерял способность воспринимать ощущения. Он шел обычной дорогой, безошибочно поворачивая в те самые улицы и переулки, куда следовало, но делал это совсем машинально. Проходя мимо знакомой колбасной лавки, он, как всегда, зажал нос, но сделал это лишь инстинктивно, а не потому, чтоб его поразила окружающая лавку смрадная атмосфера. На одном переходе, где обыкновенно протекал грязный ручей, он сделал обычный прыжок, хотя на этот раз, благодаря какому-то исключительному стечению обстоятельств, никакого ручья в этом месте не было. И при этом он все время нервно шевелил губами, так как ему казалось, что он ведет беседу с каким-то воображаемым приятелем и что разговор их состоит из следующих немногих, но назойливо повторяемых фраз:

– Глупо-то как! – говорит он, Разумов, впрочем, без злобы, а с каким-то наивным изумлением.

– Умного нету! – вторит ему воображаемый приятель.

– Нет, ты пойми: глупо-то как! – опять настаивает он.

И так далее.

В этой мысленной беседе он дошел до Лиговки и только тут, задевши ногой за перила моста, очнулся на минуту. Но, увидевши себя в знакомой местности, опять тронулся в путь.

– Мухи не обидел! – вдруг мелькнуло у него в голове. – Мухи, мухи не обидел!

И ему показалось, что вся окрестность разом повторила это восклицание. И извозчик, едущий порожняком, и мальчишка, катящий ручную тележку с беремем пустых бутылок, и лавочник, высунувшийся из подвала. Все смотрят на него, все изумленно качают головами и в один голос вопиют:

– Мухи не обидел! мухи, мухи не обидел!

В таком полубодственном положении дошел он наконец до своей квартиры и дернул за звонок.

– В горле... – прохрипел он отворившей ему дверь прислуге, – в горле... воды бы! да Ольгу Афанасьевну поскорее сюда...

Принесли воды; прибежала Ольга Афанасьевна.

– Вот, сударыня... и уволили нас! – произнес он, выпив залпом два стакана воды.

Ольга Афанасьевна сразу не поняла, но и ей показалось, что стены дома шатаются и что она начинает куда-то опускаться, скользить...

– Уволили... совсем... вчистую! – повторил он, вразумительно отчеканивая каждое слово, чтоб она поняла.

– Что же ты сделал? – как-то изумленно воскликнула она.

II

Гаврило Степаныч Разумов женился поздно, когда уж ему было лет под сорок. Ни молодости, ни так называемого периода страстей у него не было; всю жизнь он прожил степенно, по-старчески, оглядываючись. Ни тогда, когда у него была одна своя голова на плечах, ни после, когда он обзавелся уж семьей, – ни разу он не почувствовал поползновения выйти из намеченной колеи, «рискнуть». Собственно говоря, это была не жизнь, а тиски, с которыми он, с самой бурсы, до того свыкся, что даже не чувствовал их давления. Содержание этого существования было полумистическое и в то же время совершенно рутинное. Ничего у Разумова не было ни самостоятельного, ни собственного, ему принадлежащего; все исходило из какого-то загадочного произволения, и все туда же возвращалось; причем на нем, Разумове, оставалась, однако ж, ответственность за это загадочное и не от него зависящее. И мысли, и действия, и желания его – все кружилось вокруг этого загадочного и, без рассуждения принимая те готовые формулы, которые оно предлагало, в них одних находило для себя питание. В зрелых летах такую всепроникающей формулой явилась служба и сопряженное с нею «дело».

Раз прилепившись к «делу», раз взявши на себя обязательство выполнить его «по сущей совести», Гаврило Степаныч почувствовал жизнь свою до краев наполненною. Он был нечестолобив и, кажется, даже не понимал честолобия. Не потому, чтоб, искушенный рядом жизненных обид, он смирился перед мыслью, что маленьким людям положен и маленький предел, – нет, он ни о каких пределах не думал, а просто шел, не обинуясь, по той колее, на которую поставила его судьба, и старался только о том, чтоб поступать по «сущей совести», разумея под этим: как приказано. Повышения и награды хогя и настигали его, но в установленном порядке, а не потому, чтоб он искал их; даже «необходимым» он сделался не за какие-нибудь «потворства начальственным страстям» (что в чиновничьем быту не редкость), а просто потому, что лучше других «вникал», лучше других умел неясному мельканию начальственной мысли найти связное и ясное выражение.

Он лелеял только «дело», мыслил только об «деле» и в этом «деле» умел находить материал для бесчисленного множества вопросов, взглядов, соображений и т. д. Он гордился этим и изредка даже говорил: я служу только «делу». Было даже удивительно, как «дело» приковывало его к себе, охватывало его всего, совершенно независимо от своего содержания, а только потому, что оно «дело». «Дело» раскрывалось перед его умственным взором с самым неожиданным разнообразием подробностей, с бесчисленными микроскопическими разветвлениями, из которых, в свою очередь, выбегали другие микроскопические разветвления; одним словом, со всюю суматохою своеобразной трупной жизни. И он не успокоивался до тех пор, пока все эти подробности и разветвления не укладывались по своим местам, пока трупная суматоха не угомонялась и «дело» не представлялось достаточно выясненным для того, чтоб можно было из трупных посылок вывести логические трупные заключения. Тогда он пускал «облупленное яичко» в ход и принимался за препарирование другого трупа, стоящего на очереди.

Есть на Руси великое множество людей, которые, по-видимому, отказались от всякой попытки мыслить и которым, однако ж, никак нельзя отказать в названии мыслящих людей. Это именно те мистики, которых жизненный искус заранее осудил на разработку тезисов, бросаемых извне, тезисов, так сказать, являющихся на арену во всеоружии непререкаемой истины. Они не анализируют этих тезисов, не вникают в их сущность, но умеют выжать из них все логические последствия, какие они способны дать. Это люди несомненно умные, но умные, так сказать, за чужой счет и

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
являющие силу своих мыслительных способностей не иначе, как на вещах, не имеющих к ним лично ни малейшего отношения.

Хотя такого рода занятия, в большинстве случаев, оказываются до крайности изнурительными, но Гаврило Степаныч даже от этого не страдал, благодаря своему железному организму, закаленному еще с детства бурсацким воспитанием. Сухой, широкоплечий и мускулистый, он не знал ни хворости, ни даже усталости, тем больше что однообразно-регулярный образ жизни был одною из коренных привычек, приобретенных им независимо от какой-нибудь предвзятой мысли, а просто потому, что он даже понятия не имел о развлечениях, а тем менее о прихотях. Только раз в жизни он почувствовал что-то похожее на радость, – это именно тогда, когда состоялся его перевод из Подхалимова в Петербург, – но это случилось уже так давно, что приятное раздражение, произведенное этим переводом, без труда утонуло в представлении о «деле» и об той «сущей правде», потребность в которой глубоко коренилась в его с детства дисциплинированной природе.

Однако, приближаясь к сорока годам, он начал испытывать, что в существовании его есть какой-то пробел. Не то чтоб он почувствовал пустоту холостого одиночества, но явилась смутная потребность внести в жизнь известный распорядок, который обеспечивал бы от неправильностей, неизбежных при холостом существовании. Или, лучше сказать, чтоб в квартире чувствовалось присутствие заботливой руки, которой только однажды нужно дать направление, чтоб жизненная обстановка раз навсегда вылилась в известную форму, в которой и установилась бы прочно и незыблемо. Холостой человек, хоть изредка, но все-таки должен промыслить о себе; должен кому следует растолковать, распорядиться насчет своего жизнестроительства, а это неминуемо отнимает у «дела» время и, следовательно, наносит последнему ущерб. Напротив, женатый человек может разом освободиться от всех мелочей, особливо ежели выбор будет сделан без претензий на связи и блеск. Гаврило Степаныч довольно долго задумывался над этим шагом, но потребность выйти из бесхозяйственности заговорила наконец так настоятельно, что нужно было покончить с этим вопросом. И вот он принял решение, одно из тех готовых решений, которые имеют за себя достоинство исконной общепризнанности.

У сослуживца его, Афанасия Иваныча Негропонтава, отца многочисленной семьи, была дочь Ольга, девушка уже не первой молодости (ей было в то время под тридцать) и не красивая, но кроткая, разумная и настолько самостоятельная, что, после смерти матери, она много лет заведовала всем хозяйством у вдового отца. На ней-то и остановил Разумов свой выбор. В один из редких воскресных вечеров, когда он позволял себе, в виде «экстры», оставить «дело», он, без особенных приготовлений и предварительных ухаживаний, улучил минуту, когда Ольга Афанасьевна была одна, и совершенно спокойно и рассудительно сообщил ей о своих намерениях.

– Словом сказать, с материальной стороны вы будете, по возможности, обеспечены. Только, может быть, вам скучненько с стариком покажется? – заключил он, как бы желая последнею фразой смягчить чересчур уж рассудительный тон своего любовного объяснения.

Но Ольга Афанасьевна даже не поняла этой тонкости. Так давно, в доме старика-отца, она была со всех сторон окружена стариками, что, казалось, совсем даже не имела понятия о том, что существует различие между старостью и молодостью.

– Какой же вы «старик»? – молвила она, взглянув ему прямо в глаза.

– Нет, голубушка, старик я, – подтвердил он, – я от природы старик – это нужно правду сказать. Никогда у меня никаких этаких «эпизодов» в жизни не было...

– А ежели не было, то тем и лучше, – ответила она, выражая этим косвенное согласие на сделанное предложение.

– Ну, вот, и слава богу! стало быть, теперь только родительского благословения испросить надо!

Само собой разумеется, родительское благословение не замедлило, и через месяц «молодые» были обвенчаны.

Гаврило Степаныч не ошибся: выбор его, действительно, оказался чрезвычайно удачным. Его жизнь потекла невозмутимо спокойно и до последних мелочей

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru правильно. Правда, что эта правильность была чересчур уж однообразна, но ведь, в сущности, ему ничего другого и не нужно было, кроме однообразия. Утром он проводил время за «делом» в департаменте и, по возвращении домой, был уверен, что обед не заставит его дожидаться: вечера проводил дома, отдавая себя всецело тому же «делу». Покуда он в кабинете «занимался», Ольга Афанасьевна тут же сидела с работой, и изредка они обменивались замечаниями. Этого было вполне достаточно, чтоб поддерживать между ними дружественную связь, главное основание которой лежало, по мнению Гаврилы Степаныча, совсем не в разговорах о «посторонних» предметах, а в том, чтоб муж, яко глава, добывал необходимые средства и чтоб дома, благодаря заботливости жены, было уютно, не голодно и тепло.

Через три года Ольга Афанасьевна родила мужу сына, которого называли Степаном. Гаврило Степаныч уже совсем было потерял надежду на потомство, и вдруг... С этой минуты жизнь его как бы раздвоилась, и он впервые почувствовал, что с ним случилось что-то вроде «эпизода». Даже женитьба не произвела в нем такого волнения, такого сладкого и в то же время щемящего избытка счастья, который заставляет опасаться, что чаша не чересчур ли наполнена. Между новым объектом жизни – сыном и старым объектом – «делом» сразу установилась прочная связь, и хотя старый объект уже не господствовал над жизнью, а только служил новому объекту, но тем более явилось причин ухаживать за «делом» и употреблять все усилия, чтоб закрепить за собой навсегда этот единственный источник, обеспечивавший благоденствие семьи.

Никогда, ни прежде, ни после, Гаврило Степаныч не был так счастлив, так бодр и так деятелен. Более детей у Разумовых не было, и хоть Гаврило Степаныч, по временам, позволял себе делать жене укоры в бесплодии, но, очевидно, он делал это в виде шутки, а втайне был даже доволен, что у него имеется только один объект, на котором всецело сосредоточивалась вся его нежность. Одним словом, на нем повторилось обычное в старческой сфере явление. Как будто природа, всегда скупая относительно стариков, случайно поступилась, в пользу его, одною из своих заветных тайн и, осветивши теплым лучом его существование, опять и навсегда закрыла доступ в лоно свое. Понятно, как глубоко он должен был дорожить этой уступкой.

III

При отставке материальные средства Разумова, конечно, значительно сократились. Хотя Гаврило Степаныч и получил хорошую пенсию, но все-таки она далеко не равнялась полному окладу содержания, которым он пользовался, состоя на службе. Сверх того, на службе, и кроме штатных окладов, все что-нибудь прилипает к рукам усердного чиновника: то полугодовые и годовые оклады, даваемые в награду, то остаточные, распределяемые между чиновною братией к рождеству, и т. п. Благодаря этим экстренным подачкам, жизнь шла своим чередом, жизнь, впрочем, скудная и строгая, все благополучие которой заключалось в том, что с истечением года каким-то чудом сводились концы с концами. Но впереди и того не предвиделось, а стало быть, нечего было и думать об том, чтоб вести прежний образ жизни. Надо было прежде всего оставить Петербург и поселиться в провинции.

Но он был не один, у него был Степа, которому, к этому времени, минуло четырнадцать лет и который прошел уж четыре класса гимназии. Чтоб не произошло в его учении неизбежной, при переводе в провинциальную гимназию, ломки, предстояло расстаться с ним, а это было самое несносное. Он уедет, а Степа останется в Петербурге... Только тогда, когда эта горькая перспектива с полною ясностью предстала перед ним, – только тогда Гаврило Степаныч понял, какое ужасное злодейство обрушилось на его голову по магию Губошлепова. До сих пор он даже не представлял себе, чтоб мог пройти хотя один день, в который он бы не видел Степу. Он и прежде не имел времени особенно заниматься с ним, баловать его, но чувствовал непреодолимую потребность каждую минуту сознавать, что сын тут, подле него. И эта потребность покамест была удовлетворена. Поэтому, когда он понял, что скоро наступит момент, который прекратит раз навсегда возможность наслаждаться чувством «ощущения близости», то внутри его все словно загорелось и загорелось.

– Губошлепов! что такое... Губошлепов? – безотвязно стучало в его голове. – Есть ли в нем человеческое естество? есть ли внутренности? что там таится, в этих загадочных, словно прокопченных глубинах? есть ли у него «дом», друзья, близкие? любит ли его кто-нибудь, любит ли он сам кого-нибудь, или просто так... существует? Мыслит ли он? ощущает ли радость, горе, физическую боль? питается

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ли? или наденет с утра вицмундир и скрежещет зубами? Ах... Губошлепов!

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое в этих людях, у которых смолоду как бы прокопчены внутренности. Ни рассуждения, ни чувства, ни даже самых простых человеческих порывов. Ни силы, ни слабости. Стоят они, как гильотина, посередь дороги: кто посильнее – тот проходит мимо нее и плюет, кто послабее – того она захватывает и обезглавливает. Воплощенное бесстрастное неразумие – вот настоящий сатана! Ах... Губошлепов!

Зачем? что случилось? что нужно было доказать? для чего понадобилось растоптать все привязанности человека, все его привычки, всю жизнь? Что такое? что такое? Ах, Губошлепов!

Разумов, бледный, ходил взад и вперед по кабинету и не мог оторваться от назойливых вопросов. Губы его вздрагивали, внутри жгло, во рту чувствовалась сухость, глаза машинально перебегали с одного предмета на другой, как бы всматриваясь, действительно ли привычная обстановка еще существует и стоит на своем месте. В задних комнатах уже хлопотала Ольга Афанасьевна, приступившая к сборам; до слуха Гаврилы Степаныча долетал стук заколачиваемых ящиков, возня перетаскиваемых сундуков. Степа уныло бродил по комнатам, с заплаканными глазами, точно не знал, куда деваться от тоски. Но Гаврило Степаныч ничего не слышал и не видел и все повторял:

– Губошлепов! Что такое... Губошлепов?

Но задачу эту так и пришлось оставить неразрешенною...

Решено было: Степу оставить на попечение семьи Негропонтовых, а самим ехать в родной город Подхалимов, где у Гаврилы Степаныча жил еще двоюродный брат, Аким Семенович Коловратов, семидесятилетний старик, занимавший место протоиерея в кафедральном соборе.

С Коловратовым Гаврило Степаныч оставался в самых дружеских отношениях, хотя, в течение своей тридцатилетней петербургской службы, был на родине всего один раз, а именно, женившись, ездил в Подхалимов отрекомендовать родным молодую жену. Коловратов гордился Разумовым, а с тех пор, как последний получил чин действительного статского советника, титуловал его не иначе, как «ваше превосходительство», и внутренне называл даже «вельможей». И когда однажды Гаврило Степаныч, в ответ на чересчур прозрачный намек на это вельможество, написал: «посмотрел бы ты, как сей знатный вельможа, с женою и сыном, при одной женской прислуге, в четвертом этаже, во дворе, в четырех небольших покойчиках ютятся, то, чаю, не высокое бы о таком вельможестве понятие возымел», то Коловратов не только остался при прежнем убеждении, но даже слегка попенял своему другу: «хотя скромность твоя приносит тебе довольно чести, но позволь тебе, ваше превосходительство, заметить, что между присными и близкими и прямое изложение вещей не может почестся нескромностью». Вообще между друзьями шла довольно оживленная переписка. Разумов, желая преизобиловать в духе своего друга, ставил в письмах теологические и нравственные вопросы. Коловратов же, по силе возможности, откликаясь на эти вопросы, в свою очередь, возлагал на Разумова ходатайство по некоторым нуждам местной епархии, и так как Разумову, вследствие связей в среднем чиновничьем мире, почти всегда удавалось успевать в этих ходатайствах, то мнение об его силе и вельможестве все больше и больше укреплялось в Подхалимове, преимущественно, впрочем, в кругу церковников.

Коловратову было уже за семьдесят, и он больше двадцати пяти лет состоял кафедральным протоиереем. Человек он был вдовый и бездетный, и после смерти жены принял к себе в дом свояченицу с дочерью Аннушкой. На Аннушке (в описываемую эпоху ей минуло тринадцать лет) он, так сказать, сосредоточил последние лучи своего потухающего сердца. В свою очередь, и она заботливо ухаживала за дедушкой и, несмотря на избалованность, обещала сделаться со временем отличною, серьезною девушкой. Жили они в просторной квартире большого соборного дома, жили дружно, не огорчая друг друга и вполне удовлетворяясь теми скромными радостями, которые выпадают на долю людей, живущих, так сказать, за пределами общей жизни. Он был уже настолько ветх, что в свободное от церковных служб время, большею частью, дремал в старинном вольтеровском кресле, предаваясь «приличествующим сану размышлениям» и изредка перечитывая «Часы Благоговения». Хозяйством же и вообще всем домом заведовала свояченица, женщина пожилая, смиренная и молчаливая. Очень возможно, что оба эти потускневшие под бременем лет существования незаметно

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
потонули бы в пучине уныния, если бы не освещала их неугомонная резвость Аннушки. Она одна представляла жизненный принцип среди этих молчаливых стен, одна приносила туда звук и движение. Даже преосвященный любил ласкового и живого ребенка и шутя отзывался об отношениях к ней Коловратова: старый да малый союз заключили – оба вопиют: помози!

Коловратов не без горестного изумления узнал об отставке Разумова, хотя фраза в письме последнего: «и при сем пожалован чином тайного советника» до известной степени смягчила его огорчение. Сам преосвященный, выслушав рассказ об этом, сказал: «да, чин не малый»; но через минуту, однако, присовокупил: «но необходимо при сем иметь в виду, что ныне великое тайных советников изобилие, а посему и надобность, вероятно, не во всех видится». Как бы то ни было, но Коловратов начал деятельно готовиться к приему родственника и друга, а так как Гаврило Степаныч просил о приискании ему небольшого дома, на покупку которого ассигновал прикопленные на черный день пять тысяч рублей, то скоро и это поручение было выполнено.

Разумов приехал в Подхалимов в один из холодных январских дней, как раз перед сумерками. Старый протопоп, который с утра в этот день недомогал, сидел в своем просторном кресле, обращенный лицом к западу, и следил за потухающим солнцем. Когда Разумов подошел к нему, он молча указал ему на подернутый бледно-розовым сиянием запад и старческим расслабленным голосом запел: Свете тихий. И, дойдя до стиха: видевши свет вечерний, склонил голову на грудь и сказал:

– Да будет, друже, и вечер жизни твоей подобен сему тихому свету вечернему!
Аминь.

Все были в волнении; Гаврило Степаныч тяжело дышал, Ольга Афанасьевна полегоньку всхлипывала, Аннушка разливалась рекой. Только старая свояченица молчаливо хлопотала в соседней комнате за самоваром. Затем друзья обнялись и повели беседу. Несколько раз у Коловратова был на языке вопрос: какая причина? – однако он воздержался и только заметил:

– Одно неудобство усматриваю: вел ты доселе жизнь умственную, а у нас в этом отношении недостаточно. Как бы не впасть в уныние!

На что Гаврило Степаныч ответил:

– Ничего! все в свое время найдется, а может, и дело какое набегит. Вот, бог милостив, с устройством покончим, а потом...

Он как-то растерянно огляделся кругом, как бы ища: что же потом?

– Главное, думать об этом не для чего, – продолжал он слегка дрогнувшим голосом. – Думай не думай, а старого не воротись. На новом месте надо и жить по-новому. И то сказать, под шестьдесят катит – в эти года не «дело», а спокой нужен!

С неделю прожил Гаврило Степаныч в соборном доме, а потом перебрался на Проломную улицу в собственное гнездо. И с этих пор началось для него то унылое существование, на которое одним почерком пера осудил его деликатный тайный советник Губошлепов.

Устроившись дома, Гаврило Степаныч сделал официальные визиты губернатору и прочим «начальникам частей», не потому, впрочем, чтоб заискивал, а потому, что, по мнению его, того требовал этикет. Сверх того, быть может, втайне он делал предположения и насчет бесполезности указаний, которые может подать «молодым людям» его умудренная долголетнею службой опытность. Все, дескать, послужу: если прямо нельзя, так хоть совет подам. Однако в этом отношении он грубо ошибся. Подхалимовские правители были люди хотя и молодые, но необыкновенно бойкие; поэтому они не знали ни препятствий, ни затруднений, в советах нужды не чувствовали, и при этом были совершенно искренно убеждены, что так называемые «законные основания» только стесняют, а никакой опоры не дают. Никому из них не только не пришло на мысль полюбопытствовать у приезжего заматерелого бюрократа, как смотрят на тот или другой предмет в бюрократических сферах Петербурга, но большинство даже не понимало, какие тут могут быть «предметы», и просто-напросто стеснялось, об чем говорить с этою новою личностью, очевидно, «не нашего общества». А главное, изобилие тайных советников было так для всех очевидно, что никто даже не задумался над тем, что в Подхалимове сделалось одним тайным

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru советником больше. И притом таким тайным советником, который должен был существовать на полторы тысячи рублей годового пенсионера.

Пришлось оставить всякие мечты о небесполезных советах, отказаться от знакомств в высших губернских сферах и ограничиться тесным кружком церковников. Но сфера эта такова, что церковничий день совершенно идет вразрез с днем обыкновенных смертных. Поэтому даже и в те дни, когда Гаврило Степаныч бывал «в гостях», у него все-таки оставалась пропасть порожнего времени, которое он не знал, куда девать и чем наполнить.

Это бездействие мучило его. С тех пор, как он уехал из Петербурга, – словно вот ножом отрезало. Исчезло «дело», около которого вращалась вся жизнь, которое в одно и то же время и изнуряло, и питало. Если бы спросить его по совести, в чем заключалось это «дело», он навряд ли нашелся бы, что ответить на этот вопрос. Это было какое-то решето, сквозь которое процеживалась жизнь целой массы чиновников, – и ничего более. Процеживаясь, эти люди не оставляли никаких следов своего личного пребывания в этих клеточках, хоть и выходили из них искалеченными и ни к чему другому неспособными. «Дело» составлялось из множества отдельных клочков; некоторые из них задерживались в памяти, в качестве анекдотов, другие – немедленно же улетучивались; но общего впечатления, связности, во всяком случае, не существовало. Да и самые клочки, послужившие основанием «делу», в большинстве носили фантастический характер, не имели ни между собою связи, ни точек соприкосновения с заправской жизнью. Тем не менее они все-таки представляли материал для обязательной работы, и это в значительной степени выкупало их непривлекательность. Нет нужды, что человек калечился, кружась в пустоте, и терял всякую самостоятельность – все-таки он хоть как-нибудь истрачивал свой день, а сверх того и получал пропитание.

С Разумовым случилось именно то, что бывает со всяким чиновником, которому, после долговременного подневольного корпения, приходится жить на свободе. Он не понимал этой свободы, а, напротив, слишком хорошо понимал, что ему нечего делать. Куда ни обращал он свою мысль – все оказывалось или несподручным, или неприступным. Читать – но в шестьдесят лет и чтение утрачивает свою привлекательность. Да и как читать, что читать человеку, который, с тех пор как вышел из семинарии, до того был поглощен переборкою «клочков», что даже свободной минуты не имел, чтоб заглянуть в книгу. Смолоду и он читывал, но ведь с тех пор материал для чтения прошел сквозь такое множество превращений, что, игнорируя эту последовательную переработку, почти неизбежно было стать в тупик. Недаром же рассказывали про генерал-майора Отчаянного, который, по выходе из кадетского корпуса, не читав ни одной книги, вдруг набрел на «Историю Государства Российского» и так был ошеломлен вольномыслием, в ней заключающимся, что исцарапал красным карандашом все двенадцать томов и прислал их в департамент с резолюцией: «сообразить и доложить с справкою, какому оный Карамзин наказанию подлежит, а также и о цензуре Бирукове». И только тогда успокоился, когда Разумов (к нему в отделение этот «клочок» попал) объяснил, что Карамзин был тайный советник и пользовался милостью монархов. Сам Гаврило Степаныч не раз смеялся, рассказывая это происшествие, а вот теперь то же самое повторилось и над ним. Попробовал он почитать, взял в публичной библиотеке книгу – и не поверил глазам своим. Точно вот возвратился из полувекового путешествия, в продолжение которого жил где-то затертый льдинами, и вдруг узнал, что Карла X нет и в помине, а на его месте чуть не Гамбетта сидит. Кто этот Гамбетта и как это он вдруг... ведь он, поди, напакостит!

Предсказание Коловратова исполнилось: в самое короткое время Разумов не знал, куда деваться от уныния и скуки. Только летом, во время каникул, он расцвел, потому что в это время в Подхалимов приехал в побывку Степа. Однако и тут не обошлось без горьких замечаний. Хотя и отец и сын по-прежнему беспредельно любили друг друга, но не в природе вещей было, чтоб Степа всего себя отдал старику-отцу. Этого, впрочем, и прежде не было, когда Разумовы всей семьей жили в Петербурге. И тогда Гаврило Степаныч видел сына довольно редко и был доволен тем, что «чувствовал» близость его. Но ведь тогда существовало «дело», которое сдерживало его отцовские чувства, а теперь была свобода, пользуясь которой он, конечно, готов был всякую минуту жизни посвятить своему детищу. Но этого-то именно и не понимал Степа и продолжал отдавать отцу столько же времени, как и прежде.

Степа был молод, и его влекло к молодому. Он охотно уходил к Коловратовым, куда привлекала его Аннушка. Даже дома он предпочитал проводить время скорее с

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru матерью, нежели с отцом, потому что мать не выпытывала, не «говорила», а молча гладила по голове и любовалась им. Да, наконец, об чем «говорить» и зачем «говорить» у себя, в своем доме, в кругу родных! Тем и хорош «свой» дом, что в нем можно и говорить, и молчать, и веселиться, и скучать, и умные вещи, и глупости делать. А присутствие Гаврилы Степаныча именно в этом смысле и стесняло. Он спрашивал, выпытывал, «говорил»...

Видел все это старик Разумов и, конечно, был далек от обвинений. А все-таки... Болело, ах, болело его старческое сердце, и с каждым днем все глубже и глубже погружался он в пучину той безрассветной пустоты, на которую обрекло его одиночество.

IV

Когда, возвращаясь, после объяснения с Губошлеповым (кончившегося его отставкой), домой, Разумов представлял себе, что вся природа, взирая на него, вопиет: мухи не обидел! – он был прав только отчасти. Он смешивал две различные вещи: свое личное отношение к «делу» и то, что составляло содержание этого «дела». То есть он думал, что если он делал «дело» по «сущей совести», то этим самым и содержанию дела придается характер «сущей совести». Или еще точнее: он прямо предполагал, что «дело» и «сущая совесть» суть понятия, друг другу вполне отвечающие, друг без друга невысказанные.

Эта точка зрения принадлежала не ему одному; она искони была и продолжает быть достоянием большинства. Существуют известные понятия и представления, которые возникают словно загадочным произволением и сразу становятся прямо, неколебимо, делаясь исходными точками дальнейшего жизнестроительства. Высшая польза должна быть предпочитаема пользе частной, высший интерес должен тяготеть над частным интересом – вот тезисы, за которыми надлежит идти. Справедливее этого, конечно, нельзя себе ничего представить, особенно ежели есть наготове вполне ясное определение, что такое высшая польза, высший интерес. Но так как для громадного большинства людей подобные определения только подразумеваются («так быть должно») и так как это большинство произносит известные выражения, не уясняя критически их содержания, то естественно, что отсюда должно проистекать великое множество недоразумений.

В массе «клочков», которые ежедневно перебирал Разумов, было достаточно таких, которые для одних оканчивались нравственной обидой, для других материальным ущербом. Конечно, эти ущербы и обиды, в мнении Разумова, прикрывались представлением о «высшем интересе» («так быть должно»), но беда состояла в том, что он принимал это представление на веру и даже не пытался анализировать его составные части. Едва ли, впрочем, слова эти значили что-нибудь больше простого «приказания».

Во всяком случае, он был вполне добросовестен, думая и говоря, что служит «делу» по сущей совести. Но ведь рядом с его добросовестностью могла существовать и другая добросовестность, которая тоже, с своей точки зрения, имела основание считать себя правою. Вот этого-то он и не принимал в расчет. Разумеется, если бы он мог, на основании твердых данных, опровергнуть эту другую добросовестность, то он обелил бы себя вполне; но он не опровергал, а просто отвергал. И даже, пожалуй, не отвергал, а просто-напросто ни о чем «постороннем» не думал, а выполнял свои обязанности «по сущей совести».

Можно было бы предположить, что он намеренно остерегается определений, чтоб не войти в разлад с самим собой и не очутиться в положении человека, сознающего, что ему приходится или покориться, или сжечь корабли и затем погибнуть. Есть много людей, которые поступают таким образом, то есть стараются «не думать», потому что размышление приводит иногда за собой такие неожиданные и трагические выводы, с которыми ужиться нет возможности. Но Разумов и тут поступал опять-таки вполне искренно: он «не думал», потому что незачем думать («так быть должно»). Это «недумание» было не вынужденное, а составляло одну из составных частей той «сущей правды», которой он так искренно всю жизнь поклонялся.

Отсутствие ясных определений помогало ему быть жестоким, хоть жестокость не лежала в его природе; оно затемняло в нем представление о силе наносимых обид, хотя лично никто так чутко и участливо не относился к слову «обида», как он. Все знали его за человека доброго, сердечного и притом безмерно осторожного в частных сношениях. Но незнавшие, нередко случалось, кляли его и настойчиво утверждали, что он, именно он – внушитель тех бед, которые обрушивались над их

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru головами. Он сам, наверное, больше всех удивился бы, если бы ему удалось слышать такие отзывы.

Но он ничего не слышал и продолжал поступать «по сущей совести». Бывали, конечно, минуты, когда и на него наносило ветром что-то вроде трупного запаха и когда он поневоле задумывался. В такие минуты он выходил из-за письменного стола, к которому считал себя прикованным, беспокойно шагал взад и вперед по кабинету, как бы под влиянием ощущений физической боли, и старался припомнить тот «высший интерес», который на сей предмет полагается. И, разумеется, в конце концов, припоминал и... успокоивался.

Однажды, однако ж, и с ним был «случай». Ходила к нему на дом, несколько дней сряду, какая-то просительница, упорно добиваясь личного свидания, но так как он, поступая по сущей совести, просителей у себя на дому не принимал, то, конечно, эту женщину не допустили до него. За всем тем она добилась-таки своего, и в одно утро, когда Гаврило Степаныч выходил из дома на службу, она, встретив его на крыльце, крикнула ему вдогонку, сатана! сатана! сатана! Это ужасно, до крови его оскорбило, однако ж он не бросился на обидчицу и даже никому не пожаловался. И только тогда успокоился, когда, по приходе в департамент, потребовал «дело» и убедился, что это не он, а генерал-майор Отчаянный. Он же только выполнил «по сущей совести».

Ольга Афанасьевна гораздо более его взволновалась этим происшествием и даже в первый раз в жизни горько жаловалась на мужа, что он этакое дело оставил «так». И все Негропонтовы, Аргентовы, Беневоленские, Птицины – все в один голос вторили Ольге Афанасьевне и доказывали Гавриле Степанычу, что ни один из них не оставил бы этого дела «так».

– Мать-с! – отвечал обыкновенно на эти доуки Разумов, – мать-с, а материнские чувства как нам судить?

Очевидно, что внутренне он даже сочувствовал этой женщине, хотя в то же время был совершенно искренно убежден, что помочь ей нельзя, что это не будет «по сущей совести». Тем не менее он был очень доволен, что мог в свое оправдание сказать: это генерал-майор Отчаянный, а не я! Хотя, в сущности, в Отчаянном гнездилась только инициатива, а он, Разумов, обставил эту инициативу «законными основаниями».

Поэтому, и по выходе в отставку, он ни разу не почувствовал потребности подвергнуть свое прошлое исследованию, хотя обилие досуга и давало ему полную возможность сделать это. Он был так убежден, что «не обидел мухи», что иногда ему становилось даже совестно. Это как-то не в натуре русского человека – прожить век, никого не обидевши. Предполагается, что ежели ты никого не обижаешь, то это значит, что ты – слабосильная, ничего не значащая дрянь, которую всякий может обидеть. И что, стало быть, ты – «дурак», «разиня», «рукосуй» и т. д. И действительно, Гаврило Степаныч, даже в разговорах с близкими, не всегда охотно обращался к своему прошлому: до такой степени ему было ясно, что, в сущности, он там никакой другой роли не сыграл, кроме роли «рукосуя».

Но один на одни сам с собою он припоминал. И, что всего хуже, припоминал, именно какой он был «фофан» и «разиня», какие кровавые обиды он принял, сквозь какой жестокий искус прошел. Начиная с статского советника Недотыки (которому ему первоначально удалось «понравиться» и который положил начало его чиновничьему подвижничеству) – это была целая картинная галерея. Один генерал-майор Отчаянный чего стоил! Он и теперь, двадцать пять лет спустя, метался перед Разумовым, как живой, потрясая эполетами, угрожая указательным пальцем, брызжа слюной и колебля департаментские стены криками: «сейчас же!», «сию минуту!», «немедленно!», «не выходя из присутствия!». Даже в Подхалимове, в Проломной улице, Гавриле Степанычу казалось при этом воспоминании, что весь его дом трясется и стонет от неестественных начальственных празднословий. Как он переносил все это? как не разнесло ему в то время голову от этого крика? как он... Но что же «как»? – переносил, и всё тут.

А то был еще действительный статский советник Зильбергрош – этот не кричал, а каждым словом, каждым движением язвил. Говорил – шипел, глядел – обливал презрением. Процедит сквозь зубы слово и взглянет: а хочешь, я тебя сейчас ногтем раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановит и задумается. «Гм... так

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
вы говорите: «а посему я полагаю»... это, то есть, я... я... А почему вы думаете, что я так полагаю?» И потом засмеется загадочно, беззвучно, ехидно... «Ну, скажет, ступайте; до завтра, может быть, и надумаетесь!» Так и уйдешь, бывало, ни с чем, и потом живешь целый день между смертью и жизнью... А завтра он, ни слова не говоря, возьмет и подпишет.

А Лихошерстов? а Ненаедов? а барон Доброезжий?

Один Байбаков генерал оставил после себя добрую память, потому что был ленив, в департамент не ходил, а принимал у себя на дому, в одном нижнем белье. Но и тот черт знает где руки держал...

При этих воспоминаниях, несмотря на старческое малокровие, щеки Разумова загорались краской стыда; он брал себя руками за голову, затыкал уши и закрывал глаза, чтоб не видеть и не слышать.

И в результате всей этой свиты воспоминаний – отставка и сладкое убеждение, что не обидел мухи... Ах, фофан! ах, ротозей!

А он-то старался, усердствовал! Уловлял самые непредвидимые движения души, усиливался угадать самые беспардонные мысли, просиживал ночи, подыскивал для них «законные основания»... Дурак! дурак! дурак!

По милости его, Зильбергрош даже умницей прослыл. Он, Разумов, сам собственными ушами слышал, как, в его присутствии, некоторый обер-туз сказал Зильбергрошу: «Очень-очень остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карл Адамыч, махинацию эту подвели!» А кто подвел махинацию? кто взлелеял ее в ночной тишине? он подвел! он взлелеял! он, Разумов! А Зильбергрош за нее похвалу получил!

Разумеется, все эти припоминания и ретроспективные ропоты Гаврило Степаныч допускал только внутренне, но однажды не вытерпел и проговорился даже Ольге Афанасьевне.

– Не так бы нам в ту пору поступать надо было! – сказал он, напомнив ей несколько действительно характерных случаев прошлого.

– А как же бы ты поступил? – удивилась она.

– А так бы вот... купил бы лист гербовой: просит, мол, такой-то, а о чем...

– А потом куда бы ты пошел?

– Ну... куда? Мало ли... слава богу, не клином свет сошелся! То-то вот мы с тобой смиренны уж очень, всю жизнь к сторонке жались да твердили: ах, как бы не задеть кого да не обидеть! Вот нас за это...

– Ах, друг мой! друг мой!

Сказавши это, Ольга Афанасьевна грустно покачала головой, и после того разговор на эту тему уже не возобновлялся.

«То-то вот и есть, что клином сошелся!» – мелькнуло у него самого в голове. До такой степени клином, что вот теперь, когда он, по манию тайного советника Губошлепова, пущен в пространство, он не знает, куда приклонить голову. Он не только чувствует себя непригодным к какому бы то ни было настоящему делу, но даже беспокоится, куда бы ему «идти» в тот урочный час, в который он, состоя на службе, имел обыкновение «уходить» в департамент. Он переносит из комнаты в комнату свою скуку, слоняется, смотрит в окно, брюзжит и каждую минуту чувствует, что он даже в своем собственном доме лишний, мешает.

И все-таки повторяю: ежели он и винил в чем-нибудь свое прошлое, то совсем не в том, что кого-то когда-то обидел, придавил, обездолил, а, напротив, скорее в том, что он именно никого, даже мухи, – не обидел...

V

Во всяком случае, приходилось подчиниться насущным результатам этого прошлого и уживаться с насильственной праздностью, им завещанной. И действительно, после первых трех лет «спокоя», Разумов настолько смирился, что даже обуревавшая его

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
скука бездеятельности мало-помалу улеглась. Он еще не дошел до признания нормальности своего положения, но мало-помалу утрачивал силу противодействия и делался неспособным роптать. И в то же время он начал очень быстро дряхлеть.

Жизнь его была кончена – в этом нельзя было сомневаться. Налицо оставался только пепел, под которым не только ничего не вспыхивало, но и не тлело. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителем, как жизненный процесс мало-помалу ослабевает и меркнет в его организме. Вот и сегодня что-то ослабло и притупилось, а там, глядишь, из-за угла сторожит и еще немочь. И таким образом идет день за день, без всякой надежды на просвет, все к разрушению, исключительно к разрушению. Ужасно обидно это сознание бесповоротности, бессилия, особенно ежели в прошлом не было ни тепла, ни света, ни страсти, ни радости, ничего, кроме «сущей совести». Ах, эта «сущая совесть»!

Но подле него ютилась другая жизнь, молодая, только что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться от этой жизни. Существовали данные, которые сообщали этой мысли тревожный, гнетущий характер. Нельзя сказать, чтоб личные качества Степы возбуждали неудовольствие или порицание; напротив, Гаврило Степаныч знал наверное, что это юноша честный, трудолюбивый и притом до крайности кроткий, любящий, сердечный. Но в самом воздухе носилось что-то такое, что именно эти-то качества делало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться к этой чувствительной, нежной натуре, обидеть и затереть ее.

Когда Гаврило Степаныч раздумывал об этом, то, по временам, ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, он чувствовал, что в эти тревожные думы, по-видимому, посвященные исключительно настоящему, врываются какие-то смутные отголоски из его чиновничьего прошлого. Словно далекий, чуть слышный стук или неопределенное напоминание, вроде того, какое иногда испытывается при чтении книги. Помнится, что где-то, когда-то затрогивался известный предмет, но где и когда – не доищешься. Только случайность может раскрыть кроющуюся тут связь и иногда раскрывает ее очень трагически.

Но покамест явление это выразилось еще не настолько резко, чтоб заставить его серьезно вдуматься в него. Поэтому Разумов все свои тревоги сосредоточил только на тех случайностях, которые, так сказать, вытекали исключительно из личного положения его сына. Он чувствовал потребность знать его жизнь изо дня в день и потому требовал, чтоб сын как можно чаще и подробнее писал об себе и о своих знакомствах. Разумеется, Степа выполнял это требование аккуратно. Письма его, искренние и подробные, перечитывались по нескольку раз; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шаг, особенно ежели он возвещал о новом знакомстве; угадывалось, нет ли какой нужды, которую приятно было бы, но мере сил, удовлетворить. Во всяком случае, общее впечатление получалось довольно успокоительное: Степа жил в надежном семействе, занимался отлично и обычным порядком переходил из класса в класс. Уж три года минуло с тех пор, как Гаврило Степаныч вышел в отставку; в это время Степа два раза гимназистом побывал на каникулах в Подхалимове, и в оба раза родители не нарадовались на него. В третий раз он приехал студентом университета. Жизнь широко растворила двери перед юношей, жизнь, напоминавшая о том, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себе самому. Старый отец умилился, но сердце его забилось еще тоскливее. Жизнь! что такое жизнь? с тревогою спрашивал он себя поминутно и чувствовал какой-то панический страх, когда, после многих бессильных потуг приходил к убеждению, что он никакого сколько-нибудь обстоятельного ответа на этот вопрос дать не в состоянии.

Свою собственную жизнь он, конечно, мог себе растолковать, но разве такая жизнь прилична его сыну? Его личная жизнь исчерпывалась словами: «повинны беша работе». В старину и все так жили. Жизнь сразу вкладывалась в известные рамки и незаметно изживалась до тех пор, пока клубок до последнего вершка не развертывал намотанную на него нитку. Последний вершок нитки истрачен – и от человека ничего не осталось, совсем ничего: ни слов, ни дел. Бывали, конечно, и в старину исключения, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало их. Большинство так мало ждало от жизни, что и опасений иметь не могло: немного лучше, немного хуже – вот и все. Такова была и его жизнь; но разве Степа на то рожден и воспитан, разве на то в него положили всю душу, все чаяния, чтоб он с таким же тупым терпением тянул лямку, как и отец, как и все? Нет, это было бы и несправедливо, и обидно.

Притом же он знал, что с тех пор многое изменилось, что нынче даже нельзя

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru бессрочно оставаться в одних и тех же рамках, во-первых, потому, что это прямо свидетельствует о неспособности, а во-вторых, и потому, что нынче, более нежели когда-либо, даже самые скромные существования находятся под угрозой чего-то непредвиденного, самые нищенские пожелания – и те рискуют увидеть себя разбитыми, растоптанными. Это последнее «знамение времени» он испытал на собственной шкуре. Что такое он был? – ползущий червь! В чем заключались его пожелания? – в том, чтоб оставаться ползущим червем, куда само собой не оскудеет его скромное, ползущее существование. Однако и этому нищенскому требованию не суждено было осуществиться. Почему не суждено было? каким образом? – вот этого-то он и не мог себе разъяснить, хотя чувствовал, что нынче – иначе не может и быть.

Ему представлялась по этому поводу какая-то нелепая суматоха, которая одних топит, других – выбрасывает на поверхность. Бессмысленно, безрасчетно, без всякого плана. Но ежели даже его нищенски-старческое существование сделались жертвой этой суматохи, то какая же будущность ожидает существование молодое, не тронутое, не изломанное, такое существование, которое, по самой полноте своей, должно предъявлять к жизни требования, неизмеримо более широкие и резкие? И что же! вот в эту-то загадочную суматоху, в самый её развал именно и вступил его сын. Как теперь поступить? какой совет ему дать? С каким напутствием поставить его перед раскрытыми настежь дверями жизни?

Когда слова: «совет», «напутствие» мелькнули в его голове, он почувствовал, что тот неясный стук прошлого, который и прежде, по временам, застигал его врасплох, начинает слышаться явственнее и явственнее, что выделяются из тьмы некоторые очертания, которые беспокоят, отнимают у мысли ее обычное безмятежие. Однако ж и на этот раз дело ограничилось одною смутною тревогой. Проблески появились, осветили случайно тот или другой угол картины и опять утонули. Существенный результат от этих проблесков получился только один: как ни надумывался Гаврило Степаныч, какой совет высказать сыну, – ничего придумать не мог. Много знал «советов», полны карманы их были у него, но не решался он выговорить эти советы. Сказать сыну застарелое общее место было совестно, а сказать что-нибудь дельное и действительно полезное – он не мог, потому что не знал, что, по нынешнему времени, считается полезным и дельным. Может быть, подлость. Так он и промолчал.

Притом же, как только молодой студент явился в Подхалимов, Гаврило Степаныч сейчас же заметил, что он значительно изменился против предшествующего года. В нем проявилась небывалая прежде живость, пылкость, почти что восторженность. На первый раз эта восторженность имела, так сказать, педагогическую окраску: он гордился своими гимназическими успехами, ни об чем так охотно не говорил, как о «науке», некоторыми учителями восторгался, о других отзывался чуть не с презрением (не нравилось, ах, как не нравилось это Гавриле Степанычу: а ну, как узнают!) и заранее предвкусал лекции университетских профессоров. Но кто может поручиться, что он и впоследствии удержится на той же педагогической почве, то есть будет исключительно восторгаться «наукой» и с тем же усердием «учиться» в университете, с каким «учился» в гимназии? Кто поручится, что он не увлечется сначала – товариществом, а потом, пожалуй, и тем, что на языке современных белых нигилистов известно под именем «мечтаний» и «заблуждений»? Предостеречь ли его? сказать ли ему, что мечтания – пустяки, а заблуждения – пагубны?

Конечно, по сущей совести, Гаврило Степаныч не мог одобрить ни мечтаний, ни заблуждений. Вся его прошлая служебная деятельность представляла самое непререкаемое доказательство этого неодобрения. У него была незыблемая точка зрения на эти предметы, и этой точкой зрения он, наверное, не поступился бы никому. Спрашивается, однако ж, каким путем он к ней пришел? – Увы! Он пришел к ней эмпирически, даже не подозревая, что идет речь о какой-то точке зрения, и только уже в конце своей служебной карьеры догадался, что в основании его деятельности лежал так называемый принцип. Но ведь тогда он уж состарился (хотя и смолodu никогда не был молод) и в убеждениях своих больше руководствовался изречениями: «плетью обуха не перешибешь» и «выше лба уши не растут». Молодость же, а особенно молодость свежая, невымученная, могла иметь и иную точку зрения, и руководствоваться совсем другими изречениями. Каким образом доказать, что правильна старческая, а не молодая точка зрения? Где найти поддержку своему старчеству, кроме посконного уличного благоразумия, к которому юность обыкновенно относится несколько пренебрежительно, свысока? Имеет ли она право относиться так высокомерно к мудрости веков? – конечно, не имеет, но то-то и есть, что, имеет ли, не имеет ли, дело не в том, а в том, что относится она так, и ничего с этим не поделаешь И, наконец, эти «мечтания» и «заблуждения» – не

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru представляют ли они тех неизбежных, фаталистических спутников, без которых самое представление о молодости не может считаться правильным?

Как ни кинь – все клин. Но допустим даже, что он, старик Разумов, сумеет с непререкаемой очевидностью доказать сыну, что «мечтания» – пустяки, а «заблуждения» – пагубны; убедит ли он? Не предпочтет ли Степа его очевидным доказательствам неочевидные внушения своего молодого темперамента? «Ах, убьется! убьется!» – день и ночь мучительно твердил себе Гаврило Степаныч и молчал...

Ясно, что задача была ему не под силу и что, в известном смысле, осьмнадцатилетний, еще не успевший прикоснуться к жизни Степа был неизмеримо сильнее, нежели он, старый, умудренный опытом старик.

А Степа между тем, нимало не подозревая отцовских тревог, беззаветно и полною грудью пил аромат молодости, посреди которого он витал, словно окутанный лучистым облаком. Подобно отцу, он был несколько дик с чужими, но в кругу близких давал полную волю своей общительности, искренности и восторженности. В его присутствии Гаврило Степаныч весь сиял, хотя это не мешало ему потихоньку вздыхать. Ольга Афанасьевна не выражала своей радости, но все ее существо освещалось улыбкой. Даже старик Коловратов – и тот отдыхал под его говор, хотя и не всегда похвалял его юношеское дерзновение.

Но, разумеется, самым сочувственным для него существом в этой среде была Аннушка. Ей минуло шестнадцать лет, ему осьмнадцать, и между обоими сверстниками сразу образовались самые искренние товарищеские отношения. Могло ли из этих отношений выродиться когда-нибудь нечто другое – ни он, ни она об этом не думали. Находясь почти бессменно вместе, они чувствовали себя хорошо, счастливо – и этого было покамест достаточно. Никаких «трепетов» они не ощущали, никакие нескромности не смущали их воображения. Все в них еще дышало тою раннею молодостью, когда чувственный инстинкт спит, а ежели, по временам, и пробуждается, то не сознает себя.

Беседы их были нескончаемы; говорил, впрочем, исключительно он, а она только слушала. Ей было нечего сказать, тогда как в его голове, несмотря на относительную скудость гимназической подготовки, сложился уж целый, разнообразный мир. Этот мир был для нее не только нов, но и заманчив. Он говорил порывисто, страстно, волнуясь. Иногда в речах его слышалась и искусственность, – ясно что он подражал манере облюбованных учителей, – но без этой искусственности разве можно себе представить истинную молодость? Аннушка инстинктивно повторяла его слова, усваивала его приемы, и, в скором времени, у них образовался даже целый условный язык. Иногда они проговаривались на этом условном языке при старших, и это возбуждало общий наивный смех, впрочем не обидный, а только свидетельствующий, какой непечатый родник нежности жил в этих потухающих сердцах.

Никто не вмешивался в взаимные отношения молодых людей – до такой степени они были для всех ясны. Только Ольга Афанасьевна, яко женщина, разрешала себе втайне строить какие-то планы относительно будущего, но и она помалчивала, потому что Гаврило Степаныч, наверное, пугнул бы ее за них. Вообще, отказавшись от намерения напутствовать сына при вступлении в жизнь, старик Разумов решил предоставить его самому себе. Чем больше он вглядывался в Степу, тем больше убеждался, что он твердо пойдет по избранной им честной дороге. Только что стоит в конце этой дороги?

VI

Но в следующую же зиму Гаврило Степаныч совсем неожиданно был взволнован до глубины души. Негропонтон писал, что с Степой творится что-то мудреное: «скучает, чуждается близких, даже к учению, по-видимому, охоту теряет». К этому известию присоединился и еще один тревожный признак: Степа, который дотопе писал часто и, так сказать, любил изливать в письмах душу, начал писать редко и как-то чересчур уж форменно. Тщетно старался старик Разумов узнать причину этой резкой перемены: Степа настойчиво уклонялся от разъяснений, а из Негропонтонных никто и сам не мог уразуметь, что случилось. Несколько раз Ольга Афанасьевна предлагала мужу послать ее в Петербург, но Гаврило Степаныч упорно отклонял эти предложения: им вдруг овладел безотчетный страх. Он чувствовал, что почва опять колеблется под его ногами, что впереди стоит какая-то неотразимая и совсем новая обида, которая окончательно подорвет его жизнь, подорвет непременно, неизбежно... И под влиянием чувства самосохранения он всячески отдалял решительную минуту.

– Успеем! – отговаривался он жене, – еще дождемся! ведь только радости ползком ползут, а горе да беда всегда вскачь навстречу летят. Настигнут.

Одновременно с этим замечена была перемена и в обращении Аннушки. Она по-старому была ласкова с Ольгой Афанасьевной и даже, пожалуй, крепче, нежели прежде, жалась к ней, но относительно Гаврилы Степаныча сделалась значительно сдержаннее. Неохотно отвечала на его вопросы, как-то принужденно здоровалась, встречаясь с ним, избегала смотреть ему в глаза. Долго Разумов не обращал на это внимания, но наконец и ему сделалось ясно, что тут скрывается что-то недоброе. Вспомнилось при этом, что Степа постоянно переписывался с Аннушкой, что прежде она охотно делилась получаемыми ею известиями, а теперь примолкла, скрывает.

– Так вот он где, узел-то! – догадывался старик и решился во что бы то ни стало выяснить это дело.

– Степа продолжает переписываться с тобой? – спросил он однажды Аннушку.

– Пишет.

– Прежде ты делилась с нами его письмами, а теперь скрываешь... отчего?

– Ах, дядя! не всегда ведь удобно.

– Что же, однако, он пишет тебе?

– Да ничего особенного... Вообще...

– Вот ты говоришь теперь: ничего особенного, а сейчас сказала: неудобно показывать. Если бы ничего особенного не писал – какое же неудобство показать?

– Ах, дядя! точно вы меня в допрос взяли!

При слово «допрос» Гаврилу Степаныча болезненно передернуло.

– Не допрашиваю я тебя, а прошу! – продолжал он как-то особенно мягко, взявши ее за руку. – Прошу! прошу! прошу!

Она слегка побледнела и как будто заколебалась. Наконец из глаз ее хлынули слезы, она вырвала руку и стремглав выбежала из комнаты, почти крича:

– Не могу! не могу! не могу!

После этой сцены старик серьезно задумался. До сих пор у него была возможность истолковывать происшедшую в сыне перемену случайностью, но теперь он положительно знал, что случайности нет, а есть какой-то факт, который от него скрывают. А при этом и прошлое... Положительно из этого прошлого выделялись все более и более ясные очертания... «Ах, горе! великое, вижу, горе упадет на мою седую голову!» – говорил он сам с собою, но никому не жаловался, так как с детства был дисциплинирован в школе терпения. Даже с Коловратовым избегал говорить, хотя последний, с самого начала, предлагал обстоятельно допросить Аннушку.

– Нет, зачем? – отвечал он на эти настояния, – свое там у них... нам прикасаться не след...

Так прошло целое томительное полугодие. И без того безмолвный, домик Разумовых окончательно погрузился в оцепенение. Старики сидели каждый в своем углу, а ежели и сходились в урочные часы, то вздыхали и избегали говорить. После «допроса» Аннушка сделалась еще сдержаннее; продолжала посещать Разумовых, но молчала. Иногда Гаврило Степаныч подстерегал ее взгляд, устремленный на него с таким любопытством, как будто она рассматривала диковину.

Постоянно видеть себя в разобщении от всего живого и в то же время быть вынужденным глотать в одиночку какие-то загадочные предчувствия – вот настоящий скорбный путь. И около кого сосредоточены эти предчувствия? – около сына!.. Дни и ночи проводил Разумов в бесплодных отгадываниях, дни – ходя бесцельно из комнаты в комнату, ночи – ворочаясь с боку на бок. И все его преследовала одна и

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
та же страшная в самой своей неясности мысль: что такое? что случилось?

– Ах, хоть бы смерть! вот кабы смерть!

И он инстинктивно начинал перебирать свое прошлое по мелочам; но чем больше предавался этой переборке, тем меньше поводов находил установить свою прикосновенность к тревожившей его задаче. Нет, никого он не обидел! Напротив, его обидели, его вытолкнули на старости лет в пространство, над ним насмеялись, его растоптали, разбили, а он...

– Мухи не обидел! – в тысячный и тысячный раз повторял он, усиливаясь рассеять и успокоить наплывавшие со всех сторон сомнения.

И все-таки он выдержал: не умер и даже не заболел. Чувствовал только, что жизнь сделалась как бы несообразностью, что теперь самое время было бы умереть, да вот смерти нет. С этим чувством и дождался лета.

В урочное время Степа вновь появился в родительском доме.

По наружности он не изменился. Он крепко обнял мать при свидании и так же, как и прежде, приласкался к отцу. То есть почти так же. «То, да не то», – почуялось Гавриле Степанычу, но – кто же знает? – может быть, именно потому и почуялось, что он уж сам себя заранее предрасположил к подозрениям.

– Скажи, пожалуйста, что такое? – обратился он к сыну вскоре после приезда.

– Что именно?

– Ну, да сам знаешь... точно впервой слышишь!

– Ах... это! Пустяки... так...

– Затосковал, учиться перестал... на курс-то перешел ли?

– Разумеется, перешел.

– Ну, и слава богу; а то было я...

Однако ж дома видали Степу довольно редко. Уж через час после приезда он убежал к Коловратовым и остался там весь вечер; то же повторилось и в следующие дни. Степа приходил домой ночевать, а днем оставался на глазах лишь самое короткое время и затем исчезал. Только издали видал Гаврило Степаныч, как он ходит с Аннушкой в крошечном садике при разумовском доме.

– А ведь Степа-то совсем нас обросил! – сказал он однажды Ольге Афанасьевне.

– Что же ему с нами сидеть? – удивилась она.

– Все-таки. Год не видались, приехал – можно бы минуту отцу уделить!

– Ах, Гаврило Степаныч! Гаврило Степаныч! а ты умеи смотреть на него да радоваться!

Но старик не удовлетворился этим объяснением и спустя некоторое время опять пристал к жене.

– Вижу я! вижу! – говорил он, шагая в волнении по комнате.

– Что же ты видишь?

– Все вижу и все... понимаю!

– Старики мои – это они тебя взбудоражили.

– Нет, не старики, а вообще... Не по-прежнему он... нет в нем этого... прежнего! Бывало, хоть и на минутку прибежит-повернется, а сейчас видишь!

Так и остался Гаврило Степаныч при своем убеждении, и верил этому убеждению,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru потому что его подсказывало ему ревнивое отцовское чувство. Вот и ничем, кажется, не обнаруживает Степа охлаждения, а видит отцовский глаз убыль, чует вещее отцовское сердце утрату. «Не по-прежнему!», «не тот!» болезненно ноет все нутро отцовское.

Догадывался ли Степа, какое горе точит отца? Вероятно, догадывался, судя по тому, что он и сам старался, как мог, усилить внешние выражения ласковости. Но даже и эти усилия замечал Гаврило Степаныч, и их истолковывал не к своей выгоде. «Прежде и не старался, а хорошо выходило, – твердил он себе, – бывало, прибежит, повернется – сейчас видишь!»

Конечно, Степа мог бы сказать в свое успокоение, что против такой странной логики ничего не поделаешь; но, в сущности, это была логика верная.

Однажды, вечером, вся семья собралась у Коловратовых. Гаврило Степаныч, которого неразгаданное горе сделало, в последнее время, молчаливым, на этот раз охотно поддерживал общую беседу. Дело было за чаем, и молодые люди присутствовали тут же. Старик Разумов, как говорится, расхотелся, и так как у него на первый план все-таки выступали служебные воспоминания, то понятно, что они же главным образом и теперь составили канву для разговора. Рассказывал он, как два раза чуть с ума не сошел, в первый раз – от крика генерал-майора Отчаянного, во второй – от ехидства Зильбергроша.

– Что за человек был этот Зильбергрош – даже представить себе трудно! – объяснял Разумов, – глядит, бывало, на тебя и постепенно зеленеет, даже губы у него начинают трястись. Так, ни от чего. Просто видеть равнодушно не мог человека, которому он может вред сделать: как, мол, я до сих пор его не раздавил?

Во время этих рассказов Степа несколько раз удивленно взглядывал на отца, но расхотевшийся старик не замечал этих взглядов и продолжал:

– И сколько он наград, этот Зильбергрош, получил – и всё из-за меня! Все эти мероприятия – кто их обнатурил, съютил, кто им ход и осуществление дал? – всё я! Я ночей недосыпал, куска недоедал, а он... награды получал! Однажды сам главноначальствующий, при мне, в моем присутствии, его благодарил – и хоть бы он пикнул! Хоть бы слово вымолвил: вот, мол, ваше сиятельство, сотрудник мой!

Гаврило Степаныч жаловался долго, пространно, и в то же время бесплодно, задним числом. Выходило жалко и нелепо. Несмотря на это, в старческом кругу Коловратовых настолько привыкли к этому безобидному переливанию из пустого в порожнее, что и теперь, как всегда, слушали Разумова с снисходительной внимательностью. Поощренный этим, он не замедлил, конечно, перейти и к перечислению самых мероприятий, причем, разумеется, самоуверенно приписывал себе ежели не инициативу, то осуществление.

– Ведь они – как! – говорил он, – вождение у них есть – это точно; но ни словесности, ни подготовки, ни соображений, ни законных оснований – ничего этого нет! Все это он на тебя валит. Придет, крикнет: хочу! – а ты уж и статью подыщи, и в приличную форму облеку – все ты! Может быть, он и вождения-то своего не понимает – и опять-таки ты! Объясни ему досконально, чего он желает, да полегоньку, смотри – не то он, того и гляди, обидится! Он одно два слова цыркнет, а ты ему целое соображение сейчас выложи, как и что!.. Да с улыбкой, словно и сам недоумеваешь: так ли, дескать, я, ваше-ство, понял? Ну, как не-так! разумеется, так!

И за примерами ходить недалеко. Такую-то меру – чай, помните? – это все он. Разумов, выходил. А вот такую-то – как, чай, забыть! – и эту стрелу он же, Разумов, пустил! И вот эту, и вот эту. Словом сказать, где ни копни в департаменте, – везде он свой след оставил, везде под всякой деловой обложкой его рука сохранилась!

Да и случаи у него бывали – истинно диковинные случаи. Был случай такой-то, а еще вот какой, и, наконец, третий – еще курьезнее. Путали его, сильно путали, и так, и эдак провести старались, но он везде вывертывался, везде выходил победителем!

– Ну, да ведь и то сказать, и побеждать в ту пору было легко, потому что сила на нашей стороне была, – заключил он, – как ни измышляй, как ни извивайся вьюном, а

Но он не кончил, потому что в эту самую минуту два стула с шумом отодвинулись от стола. Это были стулья, на которых сидели Степа и Аннушка. Оба разом молча встали и направились в другую комнату.

– Что же! и чай не допили? – крикнул им вслед Гаврило Степаныч.

– Не нужно! – сухо и не оборачиваясь, ответил Степа.

Разумов понял, что ораторское увлечение его обратило в бегство сына, и в голове его мелькнуло: ах, так вот оно что! Во всяком случае, это сухое «не нужно!» облило его как ушатом воды. Рассказы о временах чиновнического подвижничества оборвались, и весь остальной вечер прошел тускло, почти безмолвно.

Назад возвращались все Разумовы вместе. Гаврило Степаныч, идя дорогой, обдумывал, объясниться ли ему с Степой, или нет. Ежели объясниться – пожалуй, и узнаешь, да еще хуже будет; ежели не объясниться... но что же может быть мучительнее тайны, которая легла между отцом и сыном! Вот уж сколько месяцев он изнывает под игом этой тайны – неужто и вперед так будет? Мало, видно, страданий на его долю послано, мало насильственной праздности, мало одиночества, старческих недугов – нет, нужно прибавить к этому что-то неслыханное, неизъяснимое, что разом погребло все старческие упования, что в один миг затушевало все перспективы, кроме одной: перспективы могилы...

– Хоть бы смерть... ах, кабы смерть!

Наконец он предпочел-таки объясниться, чем продолжать пить отраву капля по капле.

– Что ты так вдруг из-за стола вышел? – обратился он к Степе.

– Я?.. так... я – ничего...

– Нет, ты не ничевокай, а говори прямо: разговор мой тебе не понравился?

– Я, папенька... ах, папенька, право бы, я на вашем месте не вспоминал... – с трудом проговорил Степа.

– Об чем не вспоминал?

– Об этом...

– А! так вот оно что! То-то я... Скажи, пожалуйста, что же в моем разговоре тебе не по нутру?

– Ах, папенька, разве я могу!

Гаврило Степаныч горько усмехнулся и с минуту помолчал.

– Нынче молодые люди... – начал было он, но, как бы что-то вспомнив, поперхнулся и продолжал подавленным голосом, – так, значит, ты... пре-зи-ра-ешь?

– Ах, нет! Папенька! умоляю вас! оставьте! оставьте этот разговор! Я не буду... я был глуп! это не мое дело! Я никогда, никогда ничем не выражу!

– Стало быть, во всяком случае... ты не одобряешь? – безжалостно настаивал Гаврило Степаныч.

– Папенька! ради бога!

– Да ведь я же по сущей совести поступал! Выслушай, рассуди, пойми! По сущей совести!

VII

Объяснение это, однако ж, не раскрыло сердце, а, напротив, как будто заперло их. Старик Разумов был подавлен и в то же время чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он относился к Степе без раздражения, но перемененно, как бы боясь

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru навязываться; Степа, с своей стороны, в присутствии отца сидел опустивши глаза. Ко всему этому, Ольга Афанасьевна, не понимая, в чем суть, и думая, что Гаврило Степаных, по-старчески, почувствовал оскорбленным свое авторское самолюбие, приставала к Степе, чтоб «он попросил у папеньки прощения», и это выходило тем нелепее, что иногда она надоедала с своими приставаниями в присутствии самого старика Разумова. В первый раз в жизни рассердился на нее Гаврило Степаных.

– Все умная была, – выговорил он, – а вот теперь, как до настоящего дела дошло, так и ума не стало. Только досада берет, на вашу дурью породу глядя!

Умолкла Ольга Афанасьевна, а за нею умолк и весь дом, словно мгла опустилась на все эти бедные существования. Мало-помалу Гаврило Степаных стал избегать встреч с сыном и чаще прежнего начал уходить к Коловратову, убедившись наперед, что ни Степы, ни Аннушки нет в соборном доме. Он ни об чем подробно не рассказывал Коловратову, но старики чутьем понимали друг друга. Старый протопоп смотрел потухающими глазами в потухающие глаза своего друга и угадывал, что там, в этом потухающем сердце, завязывается великое, неутолимое горе.

– Худо? – не то спрашивал, не то соболезновал он.

– Жить тяжело, – подтверждал Разумов.

– Смиряться!

– Да ведь смирению-то срок полагается. Отстрадал, искупил – вот и конец. А тут где конец найдешь? Жизнь-то уж написана – как ты ее по-новому, новыми словами напишешь? Погубил бы себя – так и погибель твоя не нужна!

Старики временно умолкали, вторя друг другу покачивающимися головами.

– Вот, говорят, трудно нынче молодым людям жить, – снова начинал Разумов, – а старикам разве легче? Вот и моя жизнь: кажется, вся дотла сгорела, и тлеть-то, по-видимому, нечему, так нет, живи, мучься!

– Спокою дух просит, а по обстоятельствам выходит иное... Помнишь, когда ты приехал, сумерки наступали, я на вечернюю зарю тебе показывал? – припоминал Коловратов.

– «Видевше свет вечерний»... – горько иронически усмехался Разумов.

– Да, думалось тогда, а вот не привелось...

– То-то, друже, что не всякому, без печали, до этого «света вечернего» дожить приводится. Вот и я в то время, вместе с тобой, мнил, что меня «тихий свет» осиял, а заместо того...

Нескончаемо велись эти разговоры, как нескончаема была и печаль, их породившая. Гаврило Степаных чувствовал, что они не врачуют, а пуще растравляют его раны, но все-таки ему легче было растравлять себя в обществе старого друга, нежели изнывать дома, один на один с давящей мглой, которая, казалось, так и ползла на него из всех углов. Дома он чувствовал себя глубоко несчастлив. Ольгу Афанасьевну он щадил, боялся высказаться ей, какая беда его постигла, так что поделиться горем было решительно не с кем. Он сидел в своем углу и молчаливо давился своим горем. «Неужто же всё... вся прошлая жизнь? – думалось ему, – неужто нет в этой жизни ничего... смягчающего!» Разумеется, сам-то он очень хорошо понимал, что «смягчающего» и даже вполне «обеляющего» в его жизни было очень много, что везде в этой жизни наткнешься или на Отчаянного, или на Зильбергроша, или, по малой мере, на «так водится». Он понимал даже, что это была совсем не какая-нибудь необыкновенная жизнь, что «все» так жили, «все» этой дорогой шли... Иногда он «по всем ведомствам» перелетал мыслью и находил, что, в сущности, везде одно и то же. Везде все то же «дело» делалось, да и теперь делается, только формы, может быть, разные. И на службе, и в частной жизни. И сам Степа, если доживет до поры самостоятельности, тоже будет это самое «дело» делать, в какую бы нору ни прятался от него, какими бы замысловатыми названиями ни прикрывал свою «новую» деятельность. Атмосферу надо изменить, всю атмосферу – вот тогда, может быть...

– Так это! именно всё так! – заключал он обыкновенно. – Ничем «особенным»

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
попрекнуть я себя не могу... А впрочем, и то сказать: не в том дело, что я прав, а прав ли, расправ ли – как его-то в этом уверишь!

Стар он – вот в чем настоящая-то беда, да еще в том, что, в его положении, старость есть синоним отчаяния. Ни обновить, ни погубить себя – ничего он не может. Нет у него силы для жертвы, а главное, не нужна, не нужна его жертва. Он должен сидеть на берегу моря; в глазах его налетит ураган и расшвыряют волны, в глазах его будут бороться и погибать пловцы, а он осужден бесплодно метаться на своем месте и испускать стоны. Кто услышит эти стоны, да и кому они нужны! В этом закружившемся сплошном вихре, в этом громадном стоне целой природы какое значение может иметь его бессильный старческий стон? Старик! ты лишний! ты мешаешь! – вот что слышится ему среди гвалта и воплей разгоревшейся сечи, той неумолимой, беспощадной сечи, в которой и прошлое, и настоящее, и будущее, кажется, соперничают друг с другом в жестокости. Ринется ли и он в эту сечу? с чем?!

Нет у него ни настоящего, ни будущего; есть только прошлое, но с этим прошлым идти некуда. Если бы это было прошлое органическое, исторически объяснимое, он все-таки имел бы основание выйти с ним на арену. Прав ли он был бы, или неправ – это вопрос особый, но, защищая это прошлое, он защищал бы нечто собственное, пережитое, переживаемое. Но такого прошлого у него не было: его прошлое было случайно, не собственное, приказанное... Не ясно ли после этого, что он действительно лишний и может только мешать?

Но что всего хуже – он узнал об этом только вчера, и узнал не сам собой, а случайно. А до тех пор он был совершенно убежден, что и с его прошлым прожить можно. Опочить от дел, погрузиться в спокой, безмятежно испустить дух, устремив глаза в потухающую вечернюю зарю и напевая «Свете тихий». И точно: свет просиял для него, но не тихий, а зловещий, и просиял... через сына. Он думал, что сын – утеха, а вышло, что он – просияние. Каким-то проклятым образом переплелись эти два совсем несовместные понятия, и нет возможности распутать их. И утеха, и просияние – какой ад! Ах, нет, нет! Утеха, утеха, утеха!

Слышишь ли ты это, Степа? Подсказывает ли тебе сердце, что какое бы громадное несчастье ни придавило тебя, это же самое несчастье во сто крат, в тысячу крат тяжелейшим молотом придавит беспомощную голову твоего отца! Нет у этого отца ни настоящего, ни будущего, нет даже прошлого, но ведь и в этом человеке-обрывке трепещет сердце... Тобой полно это сердце, тобой, одним тобой!

Вот она, старуха-просительница: пришла бог весть откуда, почуяв беду; шаталась по улицам, стучалась во все двери, не знала, где голову приклонить, терпела, ждала... и дождалась-таки! Крикнула ему вслед: сатана! сатана! сатана! Вот сколько любви могут вмещать в себе эти тлеющие отцовские и материнские сердца!

Высказать ли все это Степе? – нет, не нужно. Словами и за один присест нельзя это выразить: выйдет несвязно, беспорядочно, непоследовательно. Многие годы нужно это рассказывать, исподволь, постепенно наводить человека. Да и повода теперь для такой исповеди нет. С чего вдруг взбудоражился, старик? кто тебе мешает жить... живи! Глотай в молчании последнюю обиду, которую облюбовала для тебя судьба! Но не ропщи, не стони... о, жалкий, беспомощный старик!

Вот что думалось Разумову. Это были совсем новые мысли, но они до такой степени охватили его, что, казалось, заслонили от него весь остальной мир. Что-то жестокое пронзало его сердце всякий раз, как он встречался с сыном, до того жестокое, что, напоследок, он начал даже желать, чтоб вакантное время поскорее прошло. Не того он боялся, что «просияние» доконает его, а того, что оно его замучит и эти мучения, быть может, отразятся и на самом виновнике «просияния»! Что нужды, что сын дал ему казнь – пусть он остается для него утехой, к которой не примешивается ни капли горечи. Когда он уедет, равновесие, может быть, восстановится. Конечно, отравы «просияния» не прекратит своей разъедающей работы, но хорошо уж и то, что источник этой отравы перестанет ежеминутно напоминать о себе: вот я, который растоптал твою жизнь! И имя ему по-прежнему будет одно: утеха утеха, утеха!

Даже Ольга Афанасьевна смутно поняла, что у Гаврилы Степаныча нехорошо на душе и что этому нехорошему оказывается нечуждым Степа. Поэтому, когда наступил конец августа, то обычных выражений горести, предшествующих расставанию, почти что не было. В час отъезда старик Разумов смотрел мрачнее обыкновенного; Ольга

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Афанасьевна принужденно улыбалась и напоминала, как бы не опоздать на поезд, сам Степа чувствовал себя неловко и торопился. Одна Аннушка горько и долго плакала, но Гаврило Степаныч почти с ненавистью смотрел на эти слезы.

С некоторого времени он невзлюбил Аннушку: он чувствовал, что Степа ничего не скрывает от нее. Следовательно, ежели Степа представлял собой «просияние», то она представляла – «укор». Этого укора, идущего не кровным путем, Разумов совсем не понимал. Он помнил, с каким волнением она однажды ответила ему: «не могу! не могу! не могу!» – и навсегда запечатлел в своем сердце этот факт, как выражение досадного оскорбления. Не ей судить, не ее ума дело. Именно одну досаду производило ее вмешательство.

Как бы то ни было, но с отъездом Степы в маленьком доме Разумова установилось сравнительное спокойствие. Хотя Гаврило Степаныч заметно опускался и хирел, но мысль его уже не столь исключительно сосредоточивалась на «просиянии», а чаще и чаще отклонялась в сторону «утехи». Что-то «утеха» наша теперь в Петербурге делает? Легко ли ей живется? тепло ли? удобно ли? кто приласкает, согреет, приголубит ее? – ежечасно вопрошали друг друга старики.

VIII

Не прошло, однако ж, месяца, как Гаврило Степаныч получил из Петербурга следующее письмо:

«Дорогой и добрый друг!

Есть вещи, которые заставляют меня глубоко страдать и о которых говорят при мне, нимало не стесняясь. Иные с похвалю; другие – более нежели с порицанием. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мне возражают, что это до меня не касается, и что стоит только «совсем порвать», чтоб относиться к этого рода вещам с такою же объективностью, с какою относятся к ним и другие. Но я не могу. Я слишком слаб, слишком люблю. Для меня бесконечно дороги воспоминания о неистощимой нежности, которая везде и всегда сопровождала меня, – как я порву с ними? Для чего вы так любили, так холили меня? Для чего изнежили мое сердце? Может быть, я и устоял бы, порвал бы, что ли, а теперь – не могу. Простите меня. Я знаю, как мое письмо поразит вас, знаю, что от меня на вас падет последний удар, – и все-таки не могу. Тоскливо, горько; сердце рвется на части. Не могу, не могу. Выдержите ли вы?

Прощайте! Целую ваши руки, те руки, которые никогда не протягивались ко мне иначе, как с ласкою. Прощайте. Передайте мамаше, что моя последняя мысль будет принадлежать ей. И вам, мой дорогой, бесценный отец.

Степан Разумов».

Прошло больше часа после получения письма. Старик Разумов продолжал сидеть в своем кресле, устремив неподвижные глаза на фатальный листок, лежащий на письменном столе. Казалось, что, застигнутый впечатлением панического страха, он до такой степени утратил жизненную энергию, что уже не может собственным усилием выбиться из оцепенения. Наконец в кабинет вошла Ольга Афанасьевна и, увидав письмо Степы, прочитала его.

– Что ты такое сделал? – в ужасе вскрикнула она, сама не понимая, к кому обращен ее вопрос – к живому человеку или к трупу.

ЧУЖУЮ БЕДУ – РУКАМИ РАЗВЕДУ
Пускай умру – печали мало..

Я человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра...

Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болезненной бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороку не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость – вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого, в виде

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
итога, вырастает сознание: «ни зла, ни добра», даже названия не подберешь.
Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.

Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то, в конце концов, прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившейся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла – и на том спасибо! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я возлагаю на эту соломинку великие надежды.

Мы переживаем время, которое несомненно представляет самое полное осуществление ликующего бесстыдства. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие и хищничество на степень единственных жизненных регуляторов. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, честь; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, краснели; нынче – те же люди краснеют только тогда, когда задуманная пакость не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство – чувство отживающего человека, – но, во всяком случае, я делаю ее искренно, и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько – действительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как напр<имер>: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать, – это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело, все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки.

Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и зловещее. Увы! предчувствия не обманывают. Хохот заключает в себе так много зачатков плотоядности, что естественное его тяготение к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, напр<имер>: наплевать в лицо, повалить на землю и топтать ногами, взять за волосы и бить головой об стену. Все эти действия суть видоизменения того же хохота, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастье случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь ее, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его...

Как бы то ни было, но я могу сказать смело, что проявления совести, самоотвержения и проч. никогда не возбуждали во мне позова к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее сочувственно, или, лучше сказать, опрятно... хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека, но поставьте все-таки мою доброжелательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое бессилие может претендовать на название подвига. Хохот не только жесток, но и подозрителен. Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет бессилию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг, – то именно только до поры до времени, и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент (а может быть, уж и наступил), когда он прямо потребует, чтобы вся воинствующая армия была в строю и чтобы все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, – вдруг очутится если не прямо в положении Дон-Кихота, то, во всяком случае, в

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал», не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда»... Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет!

Имея в перспективе возможность такого момента, ужели я не прав, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться с своею совестью?

Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набег в область действительности... нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набег производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто опрятных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими, неумелые – как и следовало ожидать – вымирают, ибо набег в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.

Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, ввиду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.

Поймите, что ведь торжествовать, то есть хохотать, плевать в лицо, наяривать, хватать за горло, – все-таки материально выгоднее, нежели умирать в твердой памяти собственного бессилия.

Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.

Особенность первая: тоска. Тоскливое чувство – и притом не напускное, а совершенно искреннее – с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия бесстыжества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния.

Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем... воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше в незнаемую раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться угрызениям тоски, – вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось формулировать с достаточной ясностью. Потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой – не могу и не умею самоотвергаться. Не могу! не умею! Это не претензия на оправдание, а факт. Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть.

Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных; я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает предо мною, но что именно – я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана, – я и на это ответить не умею. «Не могу!» и «не умею!» – мучительно повторяю я себе, и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.

Я смотрю на факты самоотвержения и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не об том. Выйдет не самоотвержение, а нелепый водевиль с переодеванием, что-то вроде «La fille de Dominique».[23] Никто не

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями, но всякий, даже снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!

Я боюсь этих приговоров, не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы – другие песни! говорю я себе и стараюсь, во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя, или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.

Вторая моя особенность: стыд. С некоторых пор мне кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. Сверх того, я сознаю себя до того слабосильным, малорослым, загнанным, затерянным в какой-то безымянной толпе, что всякая возможность чем-нибудь заявить о своей личности, о своих симпатиях и антипатиях представляется навсегда для меня утраченной. Быть может, в этих заявлениях и надобности нет (старрого тряпья! кому нужно... старрого трряпья!), а все-таки сдается, что претензия эта не только не преувеличенная, но даже совсем-совсем естественная. Тем не менее отыскать практический вывод из этого более или менее несносного положения я все-таки не в состоянии (я убежден, что жизнь, в конечном результате, поставила меня лицом к лицу с глухой стеной и что, стало быть, бесполезно даже предпринимать что-нибудь, чтобы перескочить через нее); но я могу стыдиться его, и пользуюсь этой возможностью, то есть стыжусь искренно, всеми силами души. И верю, что стыд – хорошее, здоровое чувство, которое может быть рекомендовано даже в качестве целесообразного практического средства.

Стыд очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному – внушает мысль о подвиге. Нужно, чтобы возможно большее количество людей почувствовало стыд. Нужно, чтоб люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач, чтобы в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи – две. Только тогда вполне выяснится, что нравственный уровень общества настолько назрел, что пощечина сделалась единственно возможным мериллом для оценки поступков и действий. Только тогда получится решимость во что бы то ни стало уйти из области пощечин, хотя бы это освобождение стоило невероятных усилий.

В моем стыде нет ничего героического, – я знаю и это, но думаю, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений несомненно бесстыжего торжества, уже может служить бесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы – и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из общей массы торжествующих бездельников и глупцов. Они стремятся подыскаться под него, но, за недостатком солидных прицепов, сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектов не вполне закоренелых, сколько таких, которые попали в лагерь торжествующих или по малодушию, или по недоразумению! Все это люди робкие, в которых вид стыдящегося человека может пробудить не только мерцания совести, но и опасения возмездия. В них еще нет настолько наглости, чтобы совсем игнорировать представление о стыде, и потому они хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходят к стыдящемуся человеку и жмут ему руку. Я убежден, что как ни смутны эти позывы к стыду, но они и на практике не остаются бесследными. Что они сопровождаются известными проблесками, которые производят в торжествующем лагере ежели не прямой разлад, то брожение, и что когда-нибудь это брожение настолько созреет, что достаточно будет ничтожного внешнего толчка, чтобы робкие проблески превратились в целую заразу стыда. Вот какие зачатки заключает в себе стыд, и вот во имя чего он должен быть зачтен даже такому существованию, которого итог формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность – это искреннее убеждение, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыд еще могут в известной степени иметь воспитательное значение, но значение это, в смысле практических от него последствий, полезно только для других, я же лично ничего из них не извлекаю, кроме страстного желания исчезнуть, уйти. С давних пор я вижу последнюю страницу с начертанным на ней словом «конец» и, право, никого не желаю надуть, говоря, что это самая

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
желательная страница, какой только можно желать. Подумайте, какая масса срама
вдруг перестанет существовать! и какая громадная свита безобразных видений
рассеется, как дым, и не будет больше тревожить испуганное воображение!

Несомненно, что стремление сократиться и исчезнуть – всего ближе подходит к
девизу: ни зла, ни добра, и что в этом смысле оно не должно бы даже значиться в
числе оправдательных документов. Но, взятое само по себе, независимо от
практических применений, оно все-таки имеет право быть выделенным. Когда есть
сознание, что «продолжение впредь» не представляет иных перспектив, кроме
перспективы хронического бессилия, тогда не может быть желания более законного и
естественного, а пожалуй, даже и более нравственного, как желание исчезнуть.
Сколько есть таких, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются
и хватаются дрожащими руками за колеблющиеся нити срамного существования, почему
же, рядом с ними, не допустить и таких, в сердцах которых это жадное ловление
жизненных нитей производит только скуку, граничащую с отвращением?

Одним словом, ничего не умалчивая, но ничего и не преувеличивая, я нахожу
возможным заранее сложить самому себе такого рода надгробное слово:

«Милостивые государи! перед вами лежит прах человека, которого жизнь была
осуществлением девиза: ни добра, ни зла. Этот человек не самоотвергался лично,
но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и
не устраивал из него водевиль с переодеванием. Он слышал новые песни, и ежели не
имел ни сил, ни умения вторить им в тон, то, во всяком случае, соглашался, что
его собственная песнь спета. Клики торжествующего бесстыдства не соблазняли его,
а, напротив, поселяли в его сердце уныние, тоску... стыд! Представление о стыде
составляло руководящее начало очень достаточной части его существования и в
значительной степени примиряло его с тревогами совести. Стыд примирил его и с
идеей исчезновения; он помог ему видеть в этом акте не тяжкую разлуку с благами
жизни, но освобождение от уз срама. Геройство не было в привычках этого
человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его, но при этом нельзя
не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и обеспеченности, на лоне
которых был этот человек воспитан, а во-вторых, и того, что геройство вообще не
обязательно. Это последнее соображение в особенности веско, хотя довольно редко
принимается в расчет. Как бы то ни было, но кажется, что сказанное в этих
немногих словах дает возможность, не обременяя памяти этого человека словом
укоризны, заключить расчет с пройденным им жизненным путем словами: *Sit tibi
terra levis*». [24] и довольно.

Я сидел в своем углу и изнемогал; Глумов, по обыкновению, большими шагами ходил
по комнате и был угрюм. Мы только что прочитали газеты и вели по этому поводу
разговор.

– Ну, можно ли так! – восклицал я, – ведь это значит, что самого простого
практического смысла – и того нет!

– Нет, ты обрати внимание, до чего понизился уровень нашей печати! – вторил мне
Глумов, – простой совести – и той нет!

Поговорили, поахали и, наконец, обратились к самим себе. Мы-то какую роль играем
в круговороте современности? Что мы такое? Что мы можем, зачем живем? Но это
обращение еще больше раздражило нас обоих. Это был один тюк бесконечных
разговоров, которые ведутся собеседниками, как бы для того, чтобы мистифицировать
друг друга, в которых чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей,
в которых предмет спора не формулируется, да и самый спор ведется так, что не
оставляет никакой надежды на серьезный вывод. Очевидно, обе стороны смотрят в
одну и ту же точку (да и смотреть-то им больше некуда), одну и ту же мысль в
голове держат, но почему-то им понадобилось тянуть праздную канитель,
высказывать друг другу мнимые возражения, щеголять друг перед другом
диалектическими тонкостями и проч.

Я говорил:

– Существовать и постыдно и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере
толкущихся – мы одинаково не у места. Мы умеем только жалкие слова говорить, а
это и неприлично, и надоело. Стало быть, выход для нас возможен один:
стушеваться, уйти.

Глумов возражал:

– Ну, нет, для меня это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности, а среди всеобщего направления умов в сторону травли – это качество далеко не лишнее!

Через несколько минут разговор опять возвращался к этому пункту, и тот же Глумов говорил:

– Да, голубчик, как ни кинь – все клин. Одни вам говорят: уйдите! вы своим унылым видом только в смущенье приводите! Другие: эге! да вы, никак, слезы проливать собрались! Умирать надо – вот что!

На это уж я возражал:

– Ну, нет, с этим теперь я не согласен! И в нашем существовании есть смысл, которого могут не видеть только люди, преднамеренно ходящие с закрытыми глазами. В нас имеется брезгливость, имеется стыд, который не только может наводить на размышление, но и производить известное практическое действие. Стыд – великое дело, мой друг!

– Великое-то дело великое, да черта ли в том, что ты будешь стыдиться один на один с самим собою, или сам-друг со мною, вот как теперь...

И так далее.

На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренне сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью ветошь... Понятно, что это не успокаивает, а только раздражает.

– А вывод все-таки возможен один: кружимся мы вот в этих четырех стенах, суесловим, острословим, сквернословим – и ничего из этого у нас не выходит! – наконец сказал я, в форме заключения.

По совести, я не могу, впрочем, сказать, что выходило из моих слов: были ли они действительным заключением прежнего разговора, или же, напротив, служили началом разговора нового. Но раздавшийся в передней сильный звонок решил в пользу завершения.

В комнату вошел Алексей Степаныч Молчалин. Я так мало был приготовлен к его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло в голове, уж не желает ли он мне сообщить свое мнение насчет высылки Мидхата-паши в места не столь отдаленные. Но, взглянув на него, тут же убедился, что случилось нечто не совсем обыкновенное.

Он был очень бледен; лицо осунулось, нос обострился, углы губ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

– Дайте воды – пить хочу! – вымолвил он осиплым голосом, точно слова с трудом выходили из пересохшего горла, – был около вас, и вдруг почувствовал: пить хочу... Не потревожил?

Он жадно выпил стакан воды с вином, потом налил другой, опять выпил, и с минуту не мог отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то неприятность, и, судя по тому, что день был будничным и время близилось к двум часам, когда Молчалиных даже нельзя представить себе иначе, как водворенными в соответствующих департаментах, я сначала подумал, что неприятность эта служебного свойства: чего доброго, в отставку велели подать... И вдруг меня словно обожгло. Вспомнилось, как однажды Алексей Степаныч об сыне стужался: «А ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет?» Неужто ж сболтнул?

– Помните, мы намерлись с вами об Павлуше беседовали? – как бы угадывая мою мысль, спросил меня Алексей Степаныч.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вопрос этот точно обухом ударил меня по голове. Догадливость моя показалась мне до того зловещею, что я боялся даже мыслить, чтоб и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыхание, смотрел я на этого человека, который – так недавно еще мне это казалось – ценою неслыханных усилий успел-таки приурочить свое трудное существование к чему-то прочному, почти безмятежному.

– Да-с, так вот это самое... Именно этот случай и разыгрался у нас... Пошел я давеча к князю – к начальнику-то своему – а тот говорит: сами, сударь, виноваты! правил настоящих не умели внушить! Что ж! и прекрасно! Это точно, что я не внушал, – ну, я, стало быть, и ответ за это должен дать! А то помилуйте! Я – не внушал, а Павел Алексеич, извольте видеть, все-таки знать обязан... «настоящие правила»! На что похоже!

Он высказал это бессвязно, едва ли сознавая значение своих слов. И вслед за тем так же машинально потянулся за сигарой, зажег ее и начал муслить во рту.

– Смешно, право! – прибавил он в заключение, как будто все «предыдущее» было для нас так же ясно, как и для него.

Но, в сущности, оно было действительно ясно. Жизнь приучила нас к целому ряду явлений, которые мы угадываем с одного намека. Все современные семейные драмы (во всех, в качестве действующего *premier sujet*, [25] является подрастающее поколение) построены до того на один лад, что можно заранее расположить их сценарий и угадать заключительную катастрофу. Стенографические отчеты газет знакомят нас с этими драмами довольно аккуратно, хотя и нельзя сказать, чтобы вполне обстоятельно. А именно: не все действующие лица выходят на сцену. Мы видим только так называемых заблуждающихся, и, смотря по темпераменту, или по тому, порядочные или непорядочные привычки даны нам воспитанием, восклицаем по поводу их: «ах, негодяи!» или: «ах, бедные!» Но нам почти никогда не приходит на мысль, что у каждого из этих заблуждающихся существует известная обстановка, данная рождением, воспитанием, дружбою. Стенографические отчеты решительно умалчивают о таких обстановках, а между тем в них встречаются действующие лица не менее интересные, как и главные сюжеты, это – отцы и матери заблуждающихся, которые мечутся, истекают слезами и кровью и тем с большею болью отзываются на удары судьбы, что последние падают на организмы, уже обессиленные прежними ударами. Поэтому, ежели читатель стенографических отчетов хочет знать, где находится настоящий узел современных семейных драм, то он должен перенестись мыслью к этим анонимным, без речей изнемогающим лицам. Тогда многое делается для него понятным, ибо он на себе самом почувствует цепенящее дуновение того ужаса, который заставляет анонимных людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексея Степаныча: мне казалось, что я встречу в лице его нечто такое, что должно меня уничтожить. До сих пор я видел в нем только несомненно доброго человека; теперь, – он представлялся мне верховным судьей, который, силою сосредоточившегося на нем трагизма, всю мою жизнь может привести к нулю. Да, я не знал, как это страшно; я не понимал, что может существовать такая боль. Вот человек, которого жизнь, до самой глубокой старости, была сцеплением всевозможных «обстановочек», который вполне удовлетворился этим, думал только о том, как бы ему поудобнее устроить последнюю «обстановочку» – «обстановочку» смертного часа, и на которого вдруг, из-за угла, налетела неслыханнейшая трагедия и заставила метаться в пустоте, истекать сухими слезами, не сознавать значения собственных речей, не понимать, зачем и куда он пришел...

Да, я уверен, что он находился в состоянии полусна и сознавал только одно: что его постигла внезапная и совсем нестерпимая боль. Больно везде: мозг горит, сердце рвется, спину переломило. И надо куда-то бежать, о чем-то звать – и все это в такие минуты, когда рассудок отказывается действовать, когда колеблющиеся ноги не могут выносить тяжести вдруг осевшего тела, когда с каждым шагом кажется, что проваливаешься в бездну. Несомненно, что старик уже с раннего утра мыкался по городу, но был ли он где-нибудь и зачем был, – наверное, он в эту минуту даже рассказать не мог. Бывают положения, когда человек ни о чем больше и думать не может, кроме того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда он спешит, оставляет все дела, выходит на улицу – и не знает, в какую сторону броситься. Я убежден, что он и ко мне зашел машинально. Пить захотелось, он взглянул на дом, мимо которого шел, показалось что-то знакомое, – он и позвонил. Вот и теперь, хотя глаза его были устремлены в ту сторону, где мы стояли, но, в сущности, он смотрел не на нас, а через нас, в тот неведомый угол,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru откуда слышался ему дорогой голос: «Мы, папаша, знаем, что вы нас любите, и очень вам за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему несколько холодными (он, как и все старики-отцы, не прочь был посентиментальничать), но теперь они звучат в его ушах, как высшее выражение сыновней любви. Да, именно так, просто и без излишеств, должен говорить сын с отцом, такой сын, который ждет от отца серьезно-любовного отношения, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновнего обращения даже ему, старику, делала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала. Теперь для него это было совсем ясно: не сын должен был до него подняться, а он до сына. И вот, этот самый сын... Господи! да ведь не дальше, как вчера утром, он ходил, обнявши его, по зале и не надоедал ему старческой болтовнёю, а только осторожно заглядывал ему в лицо. Отчего вчера, а не сегодня?

И, подавленный этой мыслью, он продолжал смотреть через нас в пространство, в то небольшое, но лучезарное пространство, в котором сосредоточивалось искупление, обретенное ценою крестного жизненного пути.

– Голубчик! да вы хлопотали ли? – первый прервал молчание Глумов. Алексей Степаныч слегка вздрогнул; вопрос этот снова возвратил его к чувству действительности.

– Был, – отвечал он, – и у своего князя, и у других... Все говорят: сам, старик, виноват! вожжи-то покорооче держать было надо. Помилуйте! вожжи!

– Обнадеживают ли, по крайней мере?

– Обнадеживают... да только ведь я Фома неверующий! мне ведь сейчас его надобно... вот теперь, сию минуту! А этого, говорят, нельзя! Ну, я и сам знаю, что нельзя!

– Отчего же?

– Нельзя, сударь... служба, долг!

– Да расскажите подробнее: как вас приняли, что сказали?

– «Нельзя!», я, признаться, только это и слышал. – А в прочих частях, разумеется... за что же меня дурно-то принимать! Старик... с ума сходит... любит... не камни и они! Один генерал даже руки жал... слеза на глазах... «Успокойтесь!» – говорит.

При этом воспоминании Алексей Степаныч нервно повернулся в кресле и усиленно начал муслить потухшую сигару.

– Что ж, я ведь и не беспокоюсь! – продолжал он, – я на стену не лезу, на приступ не иду, а прошу!.. Сердце у меня в клочки изорвали – вот я что говорю! Служба, долг – все это я знаю! Сам всю жизнь... вот и слово у меня на языке вертится, и сердце во мне кипит: так бы и вымолвил это слово – а все-таки вымолвить боюсь... Чего еще спокойнее!

– Да не можем ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать? – начал было я.

– Нет, друг мой, что уж! Вот воды напиться дали – за это спасибо! – поблагодарил Алексей Степаныч, и вдруг, как-то пристально взглянул на нас, покачал головой и прибавил: – Ах, господа, господа!

Меня даже в жар бросило от этого восклицания. Господи! да ведь он понял! думалось мне. Он понял, что ему с нами делать нечего; он, может быть, даже разговор угадал, который мы вели до его прихода. Бывают такие минуты прозорливости, когда видимое человеком пространство вдруг освещается каким-то совсем особенным светом, и пред умственным его взором совершается что-то вроде откровения. Вот одну из таких минут переживал и Молчалин. Он как бы очнулся и мысленно спрашивал себя, каким образом, при каких несомненно трудных для него обстоятельствах, он очутился здесь, в кругу «приятных знакомых»?

И действительно, он посидел еще минут пять, но уже не говорил, а только возился с сигарой, безуспешно пытаясь зажечь ее. Наконец он грузно поднялся с кресла и простился с нами.

– За дело пора! – сказал он, направляясь к выходу.

Мы опять остались глаз на глаз с Глумовым. Некоторое время мы безмолвствовали, как бы стараясь вникнуть в смысл сонного видения, которое мелькнуло перед нашими глазами! Увы! смысл этот был так ясен, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментариями. Видение стояло перед нами несомненным укором и практически подтверждало то самое, о чем мы, при каждой встрече, вели бесконечную, хворую канитель. Даже теперь я заметил, что меня занимают не столько Молчалины отец и сын, сколько мое личное отношение к обрушившемуся на них злоключению. «Не могу! не умею!» – затянул было я и вслед за тем с каким-то омерзением подумал: «Господи! да ведь это опять все та же канитель!» Противно сделалось; зарыться куда-нибудь хотелось, забыть. Но для этого нужно было, чтобы Глумов ушел, а он не уходил. Канитель преследовала.

– Пить попросил! – начал я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

– Да, попросил.

– И заметь: когда я предложил ему свои услуги, он даже и не задумался. Какие, мол, услуги вы, приятные знакомые, оказать можете! вот напиться дали – за это спасибо! Старик – и тот!

– Да, и тот!

– Старик – и тот ничего от нас не чаает... ха-ха!

– Видно, что так.

– И тот говорит: вот покалякать с вами – я с удовольствием; а что касается до серьезного дела, до такого, в котором, так сказать, кровь говорит, – это уж слуга покорный! Лучше, дескать, я к квартальному обращаюсь: может быть, вместе какую-нибудь «обстановочку» выдумаем!

– То-то, что не сильны мы насчет «обстановочек»-то! Это верно!

– Да и не насчет одних «обстановочек», а вообще... Ничего мы не можем. Старик – и тот это понял, а представь себе, если б нам пришлось, например, предложить свои услуги самому Павлу Алексеичу...

– Ну, тому вряд ли бы даже предложить пришлось, потому что ведь он, поди, и в мыслях не держит, что мы существуем.

– Положим, однако ж. Допустим, что нам как-никак удалось бы напомнить ему о своем существовании – ведь он... Ах, какое это, однако ж, нестерпимое, оскорбительное положение!

Глумов не возражал. Обыкновенно, мы диалоги вели: он говорил, я – подавал реплику, и наоборот. Но на этот раз перед ним стоял факт, который все-таки до некоторой степени обуздывал. Глумов даже прекратил свое обычное хождение по комнате, уселся на диван и как-то уныло смотрел на меня.

– Хворы, брат, мы – вот что! – сказал он.

– Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечем прошлого-то! Эти экскурсии в область «униженных и оскорбленных» – ах, я забыть об них не могу!

– А это еще лучшее, что было!

– Но ведь это разврат! это сонное любострастие! вот ведь это что! На деле-то я себе в пищу отказывал, лишь бы в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ, Сеня Бирюков, носил! Я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал!

– И в то же время занимался экскурсиями в область «униженных и оскорбленных»... было, брат, это, было!

– Разве это не сонное любострастие! Ах, что это за молодость была! Ведь ни

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
одного шага, ни одного поступка искреннего не было, ничего, кроме лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видел! И, странное дело, все знали, все понимали, что мы лжем, и никто не уличал, никто не сказал нам: молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себе старость!

– Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует!

– И вот, теперь мы старики – и никому до нас дела нет! Молчалин – пойми, Христа ради, тот самый Молчалин, который к Софье Павловне по ночам на флейте играть ходил! – и тот говорит: ничего я от вас не жду, а вот воды напиться дадите – скажу спасибо!

Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся, уже совершенно непоследовательно заключив свою диатрибу восклицанием:

– За что?!

– А вот за то самое, в чем ты сейчас себя уличал! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг – за что?!

– Да, но ведь все-таки... Не все же во мне умерло! ведь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека, – все это давным-давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь...

Но на этом слове я осекся и покраснел.

– Что же «теперь»? – спросил меня Глумов угрюмо.

– Зла я не делаю! зла!

– Христос с тобой!

– Да, но ведь и это... Что же, наконец, остается нам? при чем мы стоим? что нам делать?

– Жить – вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя – ну, и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в четырех стенах и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования, но буде чего не понимаешь в них, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! живи!

На этом слове мы расстались.

К сожалению, я не последовал совету Глумова и впутался. В ближайший же праздничный день, после посещения Алексея Степаныча, я отправился на Пески и, часу во втором, не без тревоги звонил у подъезда знакомого одноэтажного деревянного домика. [26] Но, по беззаботному виду, с которым прислуга отворила мне дверь, я догадался, что все семейство Молчалиных налицо и что, следовательно, тревога моя напрасна.

– Вот и чудесно! – встретил меня Алексей Степаныч, – теперь уж я вас не выпущу. Спасибо, мой друг, спасибо! Ведь и вы... да, голубчик, помню я, очень помню, какое вы намерение участие приняли! И готовность вашу и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у вас какая... лакомство, а не вода! У нас вот на Песках все как-то лиговкой припахивает, а в ваших краях – прекрасная, прекраснейшая вода!

Алексей Степаныч обнял меня и поцеловал в обе щеки.

– Стало быть, все благополучно?

– Как вы тогда сказали, что беспокоиться преждевременно, – так и оказалось! Слава богу! слава богу! слава богу!

Действительно, фигура Алексея Степаныча дышала спокойствием, так что от тревоги «того дня» не осталось и следа. Лицо пополнело и посветлело; грудь и живот

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приняли обычную слегка дугообразную форму; стан выпрямился, голова несколько откинулась назад, как у человека, который вполне понимает, что сегодня праздник, в продолжение которого он сам себе господин.

– Пустяки! – прибавил он с таким жестом, в котором я усмотрел даже некоторое посягательство на молодечество.

– Ну, и отлично. Во всяком случае, я очень рад, что все объяснилось.

– Разумеется, пустяки! – повторил он. – Молодой человек... важность какая, сделайте милость!.. Ну... поняли!

– Отпустили, значит... безо всего?

– Даже без всякого умаления. Нынче, впрочем, с чем-то нибудь не отпускают. Или совсем, или безо всего. Такая, значит, метода принята. А вам все-таки – я вот как благодарен! Пожалели вы меня, старика, побаловали! Вот и господин Глумов тоже – большое, большое участие принял.

– Очень рад. Так, стало быть, мешать мне вам нечего; вам, по случаю счастливого исхода дела, и без посторонних теперь хорошо. Прощайте.

– Ни-ни, и не думайте. У нас уж обед почти на столе. Что ж такое! Мы рады – отчего же и вам с нами не порадоваться!

Одним словом, как я ни отпрашивался, старик настоял, чтобы я остался обедать и увел меня в кабинет.

– Только вы уж сделайте милость, любезный друг, – прибавил он дорогой, – об происшествии-то нашем не напоминайте. Ведь Павел-то Алексеич недотрога у меня – недолго и разбередить! Нынче же промежду публики гаду много развелось; вместо того чтоб мирком да ладком – только и слышишь: мальчишка! негодяй! Вот он, Павел-то Алексеич, и настораживает уши!

– Конфузится?

– Да как сказать? В первые два-три дня, как явился к нам – точно, что был будто не в себе... Да ведь у меня в доме насчет этого – дисциплина! Чтобы ни слова, ни полслова, ни гугу! Теперь, кажется, обошелся. Ну-с, милости просим.

Мы вошли в кабинет, уселись, закурили папиросы и начали беседовать.

– Довольно-таки было мне беготни, – начал Алексей Степаныч, – в одном месте пять минут, в другом – десять минут, да на лестницу, да с лестницы – смотришь, ан к вечеру и порядочно ноги отбил.

– Хорошо, по крайней мере, что успели.

– Да, мой друг, очень это хорошо. Я, впрочем, не ропщу. Роптать свойственно сильным мира сего. Вот кто на высоте стоит, и вдруг его оттуда шарахнут! или чином обойдут, или он Владимира вторья к празднику мечтал получить, а его короной на Анны отпотчевали. Тут поневоле возропщешь. А мне – что! самолюбиев да честолюбиев у меня и в заводе никогда не бывало. Сижу да корплю. Сыт, обут, одет, начальство не притесняет, жалованье в срок выдают, семью бог хранит – чего еще надо? Скажу тебе откровенно, что я и на праздничные нынче не особенно рассчитываю. Прежде, это, точно что, по молодости, фантазии играли: все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздник соорудить; а нынче – умудрился! Дадут – хорошо; не дадут – и на том спасибо!

– Философ вы, Алексей Степаныч!

– Нет, не философ, а пожил – вот и вся философия. Я даже в то время, когда беда-то эта надо мной стряслась – большая беда, мой друг! – и то не роптал, а только как бы потерялся! Не понимаю, чувствую, что везде больно, суюсь во все стороны... А теперь, как все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, как бы сказать, взгляд получил.

– Вот как, – и «взгляд»? Так что, пожалуй, с точки зрения этого «взгляда»,

– Сохрани бог! Я не об Павле Алексеиче... об нем я даже говорить не могу: права не имею! А вообще судя... Ведь и сквозь пальцы тоже смотреть...

– Алексей Степаныч! батюшка! да не вы ли же сию минуту на нынешнюю публику жаловались, что только и слов у ней на языке, что «мальчишки» да «негодяи»?

– Да; но ведь я свой «взгляд» про себя хороню: иметь имею, а зря – по большим дорогам не выбалтываю. Легко сказать: негодяи! – да каково после, как подлость-то эту с языка своего смывать придется! Сегодня ты на всех перекрестках «мальчишки» да «негодяи» кричишь, а завтра окажется, что у тебя собственный сын там завяз! Ах, как осторожно нынче нужно эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, как в свою собственную кровь попадешь!

– Воля ваша, а того, что вы сейчас высказали, совершенно достаточно с точки зрения «взгляда». Каких же еще особенных «взглядов» нужно?

– Нет, это поведение, а «взгляд» – это опять другое. Нельзя без «взгляда», мой друг. Вот и об турецких делах в газетах читаешь – и тут «взгляд» себе составляешь... Что, мол, Бисмарк скажет? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинит? Все хочется заранее рассчитать и угадать.

– А Бисмарк возьмет да совсем другое скажет?

– Что ж! он скажет, а мы с тобой послушаем. Ведь это и всегда так бывает: мы, публика, взгляды составляем, а начальство возьмет да взгляды наши поправит! Так-то, мой друг!

Алексей Степаныч снисходительно потрепал меня по коленке и прибавил:

– Начальство-то наверху стоит – оттого ему и видно! Оно не только взгляды имеет, но и применяет их, а мы соображаться должны. Вот я, не дальше как вчера, с князем Тугоуховским, с начальником моим, разговор об нынешних этих делах имел – и что ж, сударь! Может, и не совсем это для меня приятно, а все-таки должен сознаться, что во многом я, после этого разговора, свой «взгляд» изменил!

– А не будет это нескромностью, ежели бы <я> вас попросил объяснить мне, в чем взгляд князя Тугоуховского состоит?

– Отчего не объяснить – с удовольствием! Сначала, об делах, разумеется, говорил, а потом и другое многое к слову молвилось. Об Павле Алексеиче речь зашла: рад, говорит, душевно, что благополучно кончилось, хотя с другой стороны... Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будет? И вдруг взял он меня за обе руки и говорит: «Ах, Алексей Степаныч! Алексей Степаныч! ты думаешь, нам легко? Легко нам эти меры-то принимать?»

Алексей Степаныч остановился на мгновенье, взглянул на меня и продолжал:

– Да, мой друг, и им тяжело, стало быть, тяжело, коль скоро он со мной, своим подчиненным, не выдержал, в откровенность вошел!

– А мне так кажется, что ваш князь напрасно отягощается. Совсем уж он не такая важная птица, чтоб на себя тяготы-то эти принимать.

– Важная не важная, а все-таки птица. В нашей служебной иерархии и малая птица значение имеет, потому что она на себе образ и подобие больших птиц отражает. А к тому же, если Тугоуховский и небольшая птица, так ведь я-то перед ним уж совсем воробей.

– Так неужто ж в одном этом и весь «взгляд» вашего князя состоит?

– Нет, многое и другое было говорено. Вот, говорит, который уж год неурожай везде, заработков нет, торговля в умалении, земледелие пало – надо же меры принимать!

– А вы бы ему сказали, что «мерами» урожаев не сделаешь и заработков не создашь.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Сказать, мой друг, все можно, да к месту ли будет?

– Вот это – другое дело, с этим и я, пожалуй, соглашусь. А насчет «взгляда» остаюсь при прежнем мнении: никакого взгляда в словах вашего князя не заключается.

– Помилуйте, сударь, что еще нужно! Жить тяжело! жизнь все труднее и труднее становится!

– Трудно – это правда; но ведь еще недостаточно сказать: «трудно», надобно хоть причину трудности выяснить.

– Куски наперечет стали – вот и причина. Прежде, когда во всем обилие было, – и дух легче был, и расположенность чувствовалась, а нынче, как на зуб-то положить нечего стало, – ну и смотрит на тебя всякий, словно за горло ухватить хочет!

– Прекрасно! Значит, так и надобно устроить, чтоб всего было вдоволь. Тогда опять и легкий дух, и расположенность явятся. Вот насчет этого как ваш князь рассуждает?

– А как ты это рассудишь, голубчик? Сокрушается наравне с прочими – ну, и довольно!

– И часто он таким образом сокрушается?

– Прежде реже было, а с тех пор, как пошли эти воровства да банкротства... Представь себе! ведь и его Иван-то Иваныч ожег! Сегодня ему банкротом себя объявить, а вчера наш князь к нему в контору три тысячи на текущий счет внес!

Я хотел было еще что-то спросить, но разговор выходил как-то уж чересчур запутан и сложен. Тут и неурожаи, и отсутствие заработков, и банкротства. Помилуйте! да ведь это целый курс политических, экономических и общественных наук! И вдруг – «взгляд»! И притом взгляд, выраженный в такой своеобразно-условной форме, как: «неужто ты думаешь, что нам легко эти меры-то принимать!» Об чем же тут собственно разговаривать?

А между тем эти разговоры ведутся во множестве, да едва ли не одни они и ведутся. По крайней мере, на меня пахнуло чем-то до того знакомым, что воображение мое даже целую картину нарисовало. Почудилось, что я сам удостоен от князя Тугоуховского аудиенцией, и он, в кратких словах, изливает передо мной свою душу. «Поймите меня! – говорит он, – с одной стороны, меры – необходимы; с другой стороны – принимать их не легко!» Сказавши это, он на минуту впадает в меланхолию и прибавляет: «да, топ cher, [27] не легка наша задача, хотя с божьего помощью и не непреодолима. Во всяком случае, я очень рад, вы имели случай узнать мой «взгляд». Этого, я надеюсь, совершенно достаточно, чтоб обеспечить мне ваше содействие в будущем!» Затем он весьма любезно делает знак ручкой, извещающий меня, что аудиенция кончилась...

Я мог бы продолжать эту картину и далее. Мог бы рассказать, как я был очарован словами князя, как я ел его глазами, ловил каждое движение губ и беспокойно двигался в кресле, в знак понимания, как я шевелил губами, как бы желая сказать: «ваше сиятельство! да я... да неужели?!», как я потом вышел из квартиры князя на свежий воздух, начал припоминать, припоминать... и вдруг остолбенел! «Что он сказал? что такое он хотел выразить?» – мучительно завертелось у меня в голове...

Но я не успел еще надлежащим образом развить эту картину, как в передней раздался звонок.

– А вот и сам Павел Алексеич, кажется, явился, – молвил Алексей Степаныч и, после минутного размышления, прибавил: – А что бы вам, с своей стороны, молодого человека слегка пожурить? право!

– Помилуйте, Алексей Степаныч! вы, отец – и то не журите? с какой же стати я-то в это дело мешаться буду!

– Нет, и я, признаться, журил, да как-то им скучно стариков-то слушать... Скажу вам откровенно, не только сам я журил, да и знакомого священника, отца Николая, приглашал. Да тот как-то уж странно... «звезда от звезды» да «ему же честь –

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru честь»... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павел Алексеич только стоит да обмахивается, словно мухи около него летают.

– Вот видите ли! Ну, и со мной то же самое будет, точно так же обмахиваться начнет.

Сказал я это очень твердо и, по-видимому, совершенно искренно в эту минуту был убежден, что, в сущности, Павлу Алексеичу ничего другого и не предстоит, как только обмахиваться под гудение моей жульбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало. «А что, в самом деле, ежели бы пожуришь? – шептал искушающий голос, – не строго, не в духе пророка Илии, а в минорном тоне – хороший, мол, вы молодой человек, а одобрить, извините, не могу! Да-с, не могу-с!.. Не так-с! не этак-с! Стремитесь-с! шествуйте впе-ред-с!.. Но не так-с!..»

И я опять слегка начал рисовать картину: вот так я стою, а так – он стоит. Язык у меня без костей, слова – так и льются: не так, сударь, не так-с! и правая рука поднята вверх, и указательный палец в воздухе болтается: не так-с! Гм... да ведь и это, пожалуй, своего рода взгляды..

В эту минуту Павел Алексеич вошел в кабинет. Он значительно возмужал с тех пор, как я его в первый раз видел, но в манерах его замечалась прежняя юношеская застенчивость и как бы угловатость. Он поздоровался с отцом, протянул мне руку, и хотел было немедленно удалиться, однако Алексей Степаныч остановил.

– На совещании был? – спросил он его.

– Ходил к одному товарищу.

– Карту Европы вдвоем рассматривали? Господина Черняева с Гарибальди сравнивали?

– Нет, этого мы не делали.

Молодой человек вновь сделал движение, чтоб удалиться.

– Что же вы делали? сядь, посиди с нами! довольно за утро с молодыми наговорился – можно и со старшими посидеть.

Павел Алексеич, не говоря ни слова, сел несколько поодаль и закурил папиросу.

– А мы сейчас тоже об современном этом направлении говорили. Я порицаю, а вот он (Алексей Степаныч назвал меня по имени и по отчеству): извинить, говорит, надо!

Павел Алексеич продолжал молчать, но я заметил, что он действительно сделал такое движение рукой, словно обмахнулся.

– Позвольте, Алексей Степаныч, – вступился я, – я не совсем то говорил. Я говорил, что молодые люди увлекаются, что увлечение свойственно этому возрасту! – вот что я говорил! А извинять или не извинять – это совсем другой вопрос! Я рассматривал, я взвешивал... пожалуй, даже констатировал, но не считал себя вправе ни осуждать, ни, тем менее, извинять.

Странное дело! в сущности, как читатель сам может убедиться в этом из предыдущего, я ничего не говорил, но в эту минуту мне до того ясно представлялось, что я именно говорил то самое, что даже угрызений совести не чувствовалось. А внутри так и подмывало: пожури да пожури!

– А по-моему, так это именно и значит «извинять»... Увлекаются «молодые люди» – что ж это как не извинение? – рассудил Алексей Степаныч.

– Нет, это не то-с! Чтобы «извинять», надо сперва предположить существование «вины», а на это я покамест не признаю за собою права. Я не извиняю и не осуждаю, просто говорю.. Но и тут опять: я не только не считаю своего мнения обязательным, но даже высказывать его решусь лишь в таком случае, когда есть уверенность, что оно может кого-нибудь интересовать! – Я взглянул на Павла Алексеича, в чаянии, не поощрит ли он, но, увы! он опять обмахнулся – и только. Зато Алексей Степаныч поощрил меня.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Отчего же не высказаться? – сказал он, – ваше мнение для всякого, сударь, интересно!

Но я решился не вдруг. С одной стороны, внутренний голос подсказывал: пожури! с другой, думалось: а ну, как что-нибудь вроде: ина слава луне, ина слава звездам, выйdet?

– Не так! – сорвалось у меня наконец, – не это нам нужно!

– Вот-вот, вот! Это же самое и я ему говорю! – вмешался Алексей Степаньч. – Никогда, говорю, не бывало, чтобы яйца курицу учили! и за границей этого нет, а у нас – и подавно! Следовательно, коли ежели старшие говорят: погоди! имей терпенье, – значит, так ты и должен сообразоваться! Язычок-то на привязи держать, да уважать старших, да расположенность их стараться сыскать... так ли я говорю?

– Нет, я не об этом! Я вообще говорю: не так! Не то нам нужно!

Должно быть, двукратное повторение одной и той же формулы действия повлияло на Павла Алексеича раздражительно, потому что он не выдержал.

– Позвольте! что же собственно нужно-то вам? – спросил он довольно, впрочем, спокойно.

– Выше лба уши не растут – вот что памятовать нужно! – формулировал, наконец, я, – и сообразно с сим поступать!

– Но ведь это то же самое, что «яйца курицу не учат»!

– Нет-с, не то! то есть, коли хотите, оно и то, да не то! В предположении Алексея Степаньча, яйца должны навсегда остаться яйцами. Их можно сварить, яичницу из них можно сделать. Я же говорю: вот яйца, из которых со временем нечто должно вылупиться! Но прежде – и вот где разница между мною и вами, молодой человек! – прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказал это горячо и с убеждением; даже старческая слеза выступила. Господи! да ведь тут уж целый план! Сперва вылупитесь, потом подрастите, а там уж что бог даст! Так именно и понял меня Алексей Степаньч.

– А как вылупитесь – вам сейчас: цып! цып! Ты знаешь, Павел Алексеич, что маленьким-то цыпкам и зерна сначала не дают, чтоб их носков жестким кормом не попорти<ть>, а яйцами рублеными да манной кашей кормят!

Но я как бы не слышал этого замечания и продолжал:

– Да-с, это не то! Я сам был молод, сам увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но, извините меня, не рассудительна! Она не хочет понимать, что всякое общество есть союз, заключенный во имя совершившихся фактов и упроченных интересов; что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя! что ежели, наконец, и не невозможно к ним прикасаться, то прикосновение это может быть допущено лишь с величайшей осторожностью и крайним благоразумием!

– С подходцем, мой друг, с подходцем! – подтвердил и Алексей Степаньч.

Я был в ударе и хотел сказать многое. Даже целую картину сбирался нарисовать, как оно катится и, словно снежный ком, нарастает и нарастает... Само катится, милостивые государи, и само нарастает... само! Но новое замечание старика Молчалина как-то разом подкосило меня. Увы, Алексей Степаньч был неумолим! Он не только подавал руку помощи, но еще комментировал, выводил на свежую воду. В самом деле, разве не одно и то же мы говорили? Сначала он сказал: вот он извиняет, а я возразил: нет, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потом он свел разговор на тему: курицу яйца не учат, а я возразил: нет, и это не так, а вот как: уши выше лба не растут! Наконец, я сказал: к совершившимся фактам следует прикасаться с осторожностью, а он прибавил: с подходцем!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я – он, а он – я?

Я смотрел во все глаза и не мог прийти в себя от изумления. Алексей Степаньч, перегнувшись в кресле, болтал руками между колен, <и> – благодушно покачиваясь,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
приговаривал: да, брат, с подходцем – а ты думал как? «Молодой человек»
покуривал папироску и совершенно безучастно смотрел в окно. Такая скука была
написана на лице его, что я сразу понял, какое действие произвела на него моя
журьба. Это действие формулировалось словами: вот-вот сейчас будет «звезда же от
звезды разнствует во славе» – и конец разглагольствованию!

Наконец он не выдержал и встал.

– Я, папенька, пойду, – сказал он, – наши уж от обедни пришли.

Мы опять остались одни со стариком Молчалиным.

Алексей Степаныч имел такой вид, как будто сейчас проснулся. Очевидно, и он не
ждал, что так выйдет. Может быть, он думал, что я представление дам: возьму
шляпу, покажу ее внутренность: пусто? – и вдруг в ней окажется яичница, или
живой голубь, или букет цветов. А оказалось, что я почти то же сказал, что и
отец Николай. Однако он не только не попенял мне за это, но, как человек вполне
незлопамятный, даже поощрил.

– Ну, спасибо, голубчик! – сказал он, подавая мне на прощанье руку, – большое
вам за это спасибо, что моего молодого человека уму-разуму наставили! Горьконько
ему, конечно, правду-то эту выслушивать, зато впоследствии благодарен будет, как
действие-то ее на себе ощутит! Да, зарубит он кое-что, зарубит-таки себе на
носу!

Я возвращался от Молчалиных и с тревогой, почти с болью спрашивал себя: то ли я
сказал, и мог ли сказать что-нибудь иное?

Да, я сказал то самое, и едва ли мог сказать что-нибудь иное. Но я сказал
некрасиво, не постарался – оттого и вышло, что я как бы повторил Тугоуховского,
Алексея Степаныча и отца Николая.

Несмотря на такие симпатичные стороны, о которых я подробно упомянул выше, у
нас, людей отживающих, людей старых песен, есть огромный недостаток: мы боимся.
Не насильем боимся, а вот грубости, нечистоплотности этой. Мы и свободу любим на
греческий и римский манер: чтобы амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы
мудро беседовали. Даже смерть мы представляем себе в красивой форме: по образцу
смерти Тразеи Пета, с разговором, в кругу друзей, о непрочности земных благ и с
восклицанием, в виде заключения: хвала Юпитеру-Освободителю.

Увы! Нынче нет ни амфор, ни сиракузского вина, ни красивой смерти, ни даже
Юпитера-Освободителя. Нынешняя жизнь, даже в запросах своих, воплотилась в
какие-то странные формы, чуждые светотеней, аляповатые, грубые, почти циничные.
Хотелось бы порой сказать ей слово сочувствия, а внутри так и колышется: фуй!
Гадливость, коли хотите, инстинктивная, но, благодаря непрерывному возбуждению,
очень легко переходящая в привычку, в страх.

Вот этот-то страх и есть то общее, что приравнивает нас к Тугоуховским,
Молчалиным и проч. Не в том дело, что мы не тех результатов боимся, которых
боятся они, а в том, что и мы и они ждем своих различных результатов из одного и
того же источника. Поэтому, хотя мы выражаем наше отношение к современности
несколько иначе, нежели Тугоуховские и Молчалины, но разница лежит скорее в
форме, нежели в сущности.

Поэтому же ничего у нас ясного не выходит, да и не ждет от нас никто ничего. Мы
и скорбим, и стыдимся, и к смерти взываем, а нам говорят: уйдите с глаз долой!
живите или умирайте, – как вам угодно, но только там, в своих углах. Это очень
больно, но средств к излечению этой боли, кажется, не предвидится. Что бы мы
ни говорили, какой бы «обмен мыслей» ни предпринимали – все-таки в результате
окажется: «ина слава луне, ина слава звездам». Разве это разговор? Нет, правду
сказал Глумов: живи и удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. И
еще: не глумись, а говори прямо: не понимаю! Да, только это и остается.

Не успел я мысленно произнести имя Глумова, как почувствовал, что кто-то берет
меня за локоть.

Оглянулся – он!

– Пари держу, что у Молчалина был?

– Да, был.

– Ну, и что ж?

Я рассказал все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

– И поделом, – рассердился на меня Глумов, – малодушный ты человек, вот что! Говорено было тебе, что нашему брату не с проповедью выходить пристойно, а сидеть в углу и молчать! Да тебя, впрочем, не убедишь! Вот и теперь, чай, придешь ты домой, сядешь за стол и скажешь себе: а ну-тка, благословясь, я эту о «новых людях» настрочу! Не хорошо, не моги!

КНИГА О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ

ГЛАВА 1

Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший – и в сторону. А потом, «глядя по время», либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию! Как ты около нее ни вертись, а не дается она, как клад в руки! Кажется, мильон живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку заполнить!

И что это за конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось – право, и сам не знаю. Будет ли при этой конституции казначей? – мелькало у меня в голове. Коли будет – ну, тогда, конечно... Ах, хорошо бы этакую должность заполучить! Образ казначея при конституции минут с десять неясно, словно изморозь, кружился перед моими глазами и так приятно на меня действовал, что я даже потянулся. Вот при уложении о наказаниях нет казначея – оттого, может быть, оно и дано нам. А, впрочем, конституция... ведь это и есть уложение... а мы-то тоскуем!

Я человек культуры, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что заказываю платья у Шармера и обедаю по субботам в Английском клубе. Там всё культурные люди обедают. Нынче в Английском клубе, впрочем, всё чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, секреты из высших сфер сообщают, судьбы какие-то решают, словом сказать, даже за обедом себя прилично вести не умеют. А на роже так и написано: чего изволите? Того гляди, скажешь ему: а принеси, братец, бутылочку... Смотришь, ан у него звезда сбоку. Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало. Да и те, которые остались, как-то развратились. Всё за чиновниками следят, как они между собой шепчутся, словно думают: что-то со мной теперь сделаю! И глаза какие-то подлые, ласковые у всех, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг заговорит...

Говорят, что утробисто-культурные люди все в Москву перебрались или по своим губернским городам засели. Там будто бы они едят и пьют и об политике разговаривают на всей своей воле. Только об губернаторах говорить не смеют. И губернаторы, говорят, очень за этим следят, чтобы про них пустяков не рассказывали, а ежели что – сейчас того человека: фюить! Оттого об них и не говорят. А о прочих предметах, как-то: об икре, об севрюжине, об свинине, даже об Наполеоне III – говори что угодно. Можно, впрочем, сказывают, и об конституции молвить, ежели ты выпить любишь и губернатор знает это, – донесут: такой-то, мол, ваше превосходительство, вчера за ужином в клубе об конституции разговаривал. – «Пьян, что ли, был?» «Точно так, ваше превосходительство!» «Ну, оставьте его: он... он благонамеренный!» И оставят.

Уж не удрать ли, в самом деле, туда, в губернский город Залупск? Хорошо ведь там. Утром встанешь, не торопясь умоешься, не торопясь чаю напьешься – гляди-ко, уж двенадцать часов на дворе. Потом походишь, покуришь, посвищешь, кто-нибудь заедет – пора завтракать. После завтрака опять походишь, покуришь, а ежели скука уж очень начнет одолевать – тройку заложить велишь. А-ах! у-ух! Эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротишься – ан обед на столе. В комнатах тепло, светло, щи, солонина с хреном, поросенок с кашей... Солонина мягкая-мягкая – ешь, да язык не проглоти! И никогда один не обедаешь. Ежели настоящий человек не наклонется, так секретарь какой-нибудь, наверное, забегит. Все расскажет: кто кому плюху дал, кто кого по лицу ударил... ба! половина девятого – не пора ли и в клуб! А в клубе уж все в сборе и все утробистые. Кто в карты играет, кто о

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
прежнем благополучии рассказывает, и один по одному, в буфет да в буфет.
Постепенно-постепенно – и вдруг: конституция! А что ж такое, что конституция!
Приедешь домой, ляжешь спать – сном все пройдет! А на другой день, – и опять.

Да; а вдруг ежели... Ах, нынче и в провинциях много этих поджарых развелось. Ищут, нюхают, законы подводят. И в клубы проникли: сперва один, потом другой, потом, глядишь, уж и в старшины попадать начали. Брякнешь при нем: конституция! – а он: вы, кажется, существующей формой правления недовольны?... А мне что!.. форма правления... эка невидаль! Какая тут форма правления! Я так... сам по себе... Разговаривал!

И вдруг ты – не на хорошем счету! и вдруг – фюить!

Сами утробистые во всем виноваты. Это в то время, как прожженные только что появились в губерниях – тогда надобно было меры принимать. Явился прожженный – и с богом, живите, сколько вас есть, про себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, напивайтесь, прелюбодействуйте, но в наш культурный клуб – ни-ни! Валяй, братцы, черняков, чтобы вперед неповадно было! <Жили> бы теперь культурные люди припеваючи, и не таскали бы у них из гнезд их культурных птенцов. И разговаривали бы об конституции, покуда живы, а умерли, дети бы разговаривали... И шло бы себе потихоньку да полегоньку. А то на-тко! скоро уж и разговаривать некому будет!

Да, некуда теперь деваться: изгажены наши провинциальные палестины, испакощены. В Петербурге долговязые глисты первого сорта шепчутся, а в Залупске долговязые глисты второго сорта шепчутся. Так бы, кажется, и... что?

Нет, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел в клуб – проходи сторонкой, не задеть бы вот этих двух выродков, которые по секрету об тебе суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебе смягчающих обстоятельств не даст, либо сына у тебя живьем задерет! Сторонись же и иди прямо к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что если ты рот разинешь – это может оскорбить вон тех двух выродков, которые тоже по секрету рассуждают, какому роду истребления тебя подвергнуть. И потому садись за обед и ешь до отвала. Вздыхай и ешь...

Да, много виноваты утробистые в печальной судьбе своей, но ведь, с другой стороны, нельзя и осуждать их слишком строго. Прожженные люди, именно, как глисты, втерлись в среду культурных людей. Все о благосклонности просили, зане надежду на земскую культурную силу полагали, да сами же первые и об конституции заговорили. Да как еще заговорили-то! С хохотом, с визгом, с слюною... В лицах всякую форму правления представляли, песни пели, брудершафта предлагали... Ну, культурный человек и смяк. Видит, малые разухабистые на всякую штуку: и поплясать, и представить, и прочесть что-нибудь зажигательное в пользу вдов и сирот – на все мастера. Милости просим! да вы попросту! пообедайте... Вечерком... к жене... Да в клуб! Что же вы в клуб! там у нас танцы по воскресеньям... жена... дочери... пожалуйста! Вот и заползли они всюду, а как заползли, так сейчас – цап-царап!

«Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах те побери! Я так... сам по себе... а он: форма правления!

И жены наши тоже довольно тут виноваты, больше даже, нежели утробистые. Легкомысленны наши жены, ах как легкомысленны! А глисты эти прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шепота и грудь поднимается, и глаза искрятся, и лицо полымем пышет. «Ты что ж, душенька, к нам мсьё Глиста не пригласишь?» «Глиста! ах, сделайте милость! Господин Глист! милости просим! запросто! вечером, обедать... вот жена!»

А господин Глист между тем пакость в уме держит. И все насчет формы правления. Он и прелюбодействует-то неспроста, а словно думает: хорошо, что я теперь знаю, как у него в доме обыск сделать!

Нет, совсем нет у культурных людей ни предусмотрительности, ни *esprit de corps*. [28] – Тех утробистых представителей культуры, с жирными кадыками, с пространными затылками, которые, завязавшись салфеткой, ели и «независимо» сквернословили, – нет и в помине. Нынешний культурный человек либо на теплые воды удрал, чтобы там изумлять мир своею культурностью, либо сам в «поджарые»

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru полез. Только и слышишь кругом: да отчего же нам не доверяют! отчего к нам за содействием не обращаются! разве мы хуже действительного статского советника Глиста! Да нас только помани... да мы... А ежели у вас такая охота смертная, так что же! Мы не прочь! Рапортуйте, любезные, рапортуйте! Фу, подлость! Живешь-живешь – а все словно грудной ребенок должен *permettrez moi de sortir*[29] спрашиваться. Мне пятьдесят лет – а я на всей своей воле об конституции поговорить не могу, Разве я что-нибудь говорю? разве я переменить что-нибудь хочу? Да мне – Христос с ними! Я так... разговариваю...

Хочешь ему сказать: да вы что, в самом деле, милостивый государь! Да я сам моего государя дворянин! Я в кавалерии, государь мой, служил! В походах не бывал, но на походном положении... и даже в лагерях... да-с! Хочешь сказать все это, и молчишь! Потому что повсюду, во все углы, во все щели клубов – везде они напознали! Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, я и не знаю, что у тебя в затылке шевелится... все, мой друг, знаю, и при случае...

Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на свою внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи и те понимают. Прежде, бывало, кому первый кус? – культурному человеку, которому и по всем правам он следует. А нынче, смотришь, культурного-то человека обходят да обходят, а все ему, все действительному статскому советнику Глистову. Ну, и опешались. Позвольте я вашему превосходительству рапортовать буду! – Рапортуй, братец, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы услышим: у меня, ваше превосходительство, сын-мерзавец превратными идеями занимается!.. Фуй, мерзость!

Да, смяк ты, утробистый человек, совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят, жене твоей подлости в уши нашептывают. Скучно, друг! И дома у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, и в собраниях твоих, этих палладиумах твоих вольностей, – какая-то жгучая, надрывающая пустота царит. Не метено, не чищено, окна трясутся, не топлено, угарно... Рапортуй, мой друг, рапортуй!

И именно с тех пор ты смяк, как культурным человеком назвался. С тех пор и действительный статский советник Глист обвился кругом тебя, с тех пор ты и к рапортам учинился привычен. Культурность обязывает. Культурный человек «содействует» не потому, чтоб у него охота содействовать была, а потому, что он не может не содействовать. Культурный человек да не содействует – что же это будет! Действительный статский советник душу свою за общество полагает, потеет, приглядывается, принох<ив>ается, а никак он ни до чего донюхаться не может. А отчего? – оттого, что крутом все утробистые да чистопсовые: спят, лежебоки, и не чувствуют, что не нынче, так завтра светопреставление будет! Проснитесь же, чистопсовые люди, и будьте отныне культурными! Познайте, что культурность обязывает! Рапортуй, мой друг, рапортуй!

Вот почему мы, культурные люди, так тоскуем. Никто в целом мире ни в какую эпоху истории так не тосковал, как мы тоскуем. Мы чувствуем, что жизнь ушла от нас, и хотя и цепляемся за нее при пособии «содействия», но не можем не сознать, что это совсем не то, совсем не та жизнь, которой мы, по культурности своей, заслуживаем. Мой прадед, например, если б ему заикнулись о «содействии» – я, право, не знаю, что бы он сделал. Наверное, он бы сказал: я, ваше превосходительство, государю моему слуга, а не лакей-с! Я сам бунто-вал-с! да-с! Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной рубашке из дворца вынес... и был за это награжден-с! А дедушка мой сказал бы: я в Ропше был-с! а потом следовал на сером аргамаке за великою государыней в Петербург. Как вы, государь мой, назовете этот поступок, заблуждением или подвигом благородного человека? А отец мой сказал бы: я тоже заблуждался, и хотя после принес чистосердечное в том раскаянье, но не содействовал-с! нет, не содействовал-с! и все они были бы обижены, и будировали бы, непременно будировали... до тех пор, пока им не прислали бы Станислава на шею! Но не за содействие-с! Нет, не за содействие...

А я, правнук, внук и сын, – что я скажу! Я могу сказать только, что я культурный человек, и в этом качестве не могу даже «чистосердечного в том раскаяния» принести. Ибо я никогда не заблуждался – нет, никогда! И потому даже не понимаю, что такое «заблуждение»! Ни «заблуждений», ни «истины», ни «превратных идей», ни «благонамеренных» – ничего я не знаю – а стало быть, могу только содействовать. Содействовать – вот моя специальность; ни делать, ни производить, а именно

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru содействовать. И многие от этой специальности устраниются, бегут на теплые воды и там влачат с горем пополам культурное существование.

Не однажды меня интриговал вопрос, каким это образом вдруг, словно из земли, русский культурный человек вышел! Всё были густопсовые да чистопсовые – и вдруг культурными людьми сделались. Сидит себе чистопсовый человек или в Залупске, или в Ницце, за обе щеки уписывает и говорит: теперь вы на мой счет легонько! я из тарелки ем, а не из ложки, я салфеткой утираюсь, а не стеклом – я культурный человек! И как только появился этот культурный человек, так рядом с ним явился и действительный статский советник Солитер. Не было культурных людей, не было и Солитера. Были действительные статские советники Довгочуны, Неуважай-Корыты, Ивановы, Федоровы, Семеновы, ели и пили, а в свободное от еды время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: раззоряю, раззоряю, раззоряю...

Не раз хотел я даже историю возникновения культурных людей написать. Подробно, по документам. Как они сначала до обморока были доводимы и как потом, будучи постепенно привлекаемы к содействию, в чувство пришли. В какое чувство?

Вот на этом-то вопросе я и поперхнулся. Коли назвать это чувство – будет ли это своевременно, а ежели не назвать его – какой же смысл будет иметь мой исторический труд? Я знаю, что многие историки именно с тем и предпринимают свои труды, чтоб ничего из этого не выходило, кроме того, что великая княгиня Ольга Коростень сожгла, а великий князь Святослав сказал: не посралим земли русския! – но то историки серьезные, а я... какая же серьезность во мне?.. Я пишу, потому что меня культурная тоска одолела, тоска, тоска и тоска! Тоска, похожая на угрызение, словно я грехопадение какое совершил с тех пор, как меня в культурные люди произвели.

С одной стороны, нет ни умения, ни быстроты в ногах, ни здоровья – и рад бы посоддействовать, да взять нечем! С другой стороны – тоска, что-то неопределенное под сердцем сосет. Жюдик – видел, Шнейдершу – видел, у Елисеева, и на Невском, и на бирже – был. Все, что можно было в пределах культурности, кроме содействия, совершить, – все совершил. Повторять то же самое надоело, а между тем надо жить. Ни смерть, ни болезнь – ничто меня не берет. Встанешь утром – и какими-то испуганными глазами глядишь в лицо грядущему дню. И завтра и послезавтра будут дни, а чем их наполнишь? Не сходить ли в Александринку, на Пронского посмотреть – может быть, хоть это потрясет. Или вот в Педагогическом обществе побывать, послушать, как Водовозов реферат будет защищать? И вдруг окажется, что это отравка! И потом прокурор будет доказывать, что кто-нибудь из родственников меня нарочно отравил, чтобы потом наследством моим воспользоваться. И присяжные, обдумав зрело обстоятельства дела, скажут: да, виновен. Нет, слуга покорный! я родственников люблю и ответственности подвергать их не желаю...

Итак, я дома и не знал, что делать с собою. Начал с севрюжины и конституции, кончил Пронским и Водовозовым.

ГЛАВА 2

Дело было в половине апреля. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на сумятицу, которая происходила в природе. Воздух был наполнен каким-то невообразимым мельканием; крупные, крупные снежинки, мокрые, разорванные, словно проливной дождь, тяжело ударяли в окна. На подоконниках уже образовалась порядочная грудка белого вещества, рыхлого и тающего; мостовая, еще часа два тому назад серая, начинала белеть. По улице сновали извозчичьи пролетки с пассажирами, озлобленно скрючившимися под зонтиками. Ряд домов, мокрых, осклизлых, загадочно глядели своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на второй час дня, окутывало город ранними сумерками. Гул экипажей и мельканье лошадей, которые некоторое время раздавались усиленно (был первый день святой недели), постепенно начали стихать, стихать, и наконец совсем сделалось тихо. Даже ликующие столоничальники – и те, по-видимому, успокоились.

Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день летал и метался; придешь в одно место – распишешься, швейцару целковый подаришь и, нимало не медля, – в другое место, опять распишешься, опять целковый подаришь... Да в мундире, сударь, в мундире! А нынче вот сажу у окна да глазами хлопаю – на дворе праздник, а никуда глаза показать не хочется. Почему не хочется? – а потому просто, что незачем...

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Прежде я потому ездил, что было у меня убеждение: здесь претерплю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и потом наверстать. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив, но я знал, что у меня имеется стимул, двигающий моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый, несостоятельный, лишенный предусмотрительности, – прекрасно! Я понял это и, может быть, даже вполне искренно отказался от тех идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же я, оставив прежние стимулы, не усвоил себе новых? Для чего я живу? Для того ль только, чтобы представлять собой образчик русской культурности... велика невидаль!

Я знаю теперь, что ездил я или не ездил, поздравляй или не поздравляй, все-таки я ничего не наверстаю, потому что и наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и заставляет мелькать перед моими глазами какие-то виды, но, право, мне кажется, это он просто, ради блезиру, делает. Следуй, говорит, по моим указаниям, и будешь ты век сыт и век пьян – а куда следуй, этого он и сам растолковать не может. У самого-то, брат, у тебя яичница в голове, а тоже других приглашаешь!

Да если б он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать – разве я могу туда идти? Да и не только туда – никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я могу только адвоката нанять, а сам истца от ответчика отличить не умею. Кто их знает! – там адвокат разберет! По части народного просвещения – я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула или Ромул волчицу, – что ж я на экзаменах-то спрашивать буду? По части финансов я знаю одну систему: дери и в случае недобора бесстрашно занимай! а как и на какой бумаге ассигнации печаются – ничего этого я не знаю! Вот разве по части... ну, нет, Солитер, этому не бывать. Действительно, по этой части никаких познаний не требуется, только культурность одна, но я ведь не позабыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес!.. Нет, не позабыл! Ибо ежели я сам лично ничего не сделал, даже чистосердечного раскаянья не принес, то прадед мой...

И откуда нынче такие действительные статские советники развелись! И прежде были действительные статские советники, назывались Довгочхунами, Ивановыми, Федоровыми, Семеновыми, ели, пили, сами балы делали и откупщиков заставляли делать, ездили по гостям, играли в клубах в карты, а в свободное от занятий время писали: утверждаю, отрицаю, отрицаю, отрицаю. А Солитер пишет: разоряю, расточаю, развращаю!..

И ничего. Разоряет – и не созидает, расточает – и сам стоит невредим, развращает – и состоит членом общества распространения грамотности. Кто поймет эту тайну? Есть у него один ресурс, который выручает его. Ресурс этот – лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет постоянно, лжет, как рязанский дворянин, когда начнет рассказывать, какие у него, при крепостном праве, персики в оранжереях родились. В этом случае недавняя чистопсовость вся целиком выступала у него наружу. Он лжет, и сам к своему лганью прислушивается, как соловей к собственному пению. И верит. Верит тому, что он, ехавши тройкой, в одну прорубь со всем экипажем провалился и потом за двадцать верст в другую прорубь выскочил. Следуйте, говорит он, следуйте только моим указаниям, а в свое время мы – наверстаем!

И многие до сих пор верят ему. Я убежден, например, что Прокоп даже в эту самую минуту мечется как угорелый по городу и все поздравляет, все поздравляет. Домой, думает, приеду – всё наверстаю! И это он, в течение десяти лет, аккуратно из года в год так делает. Каждый год кукиш с маслом получает, и все шибче да шибче поздравляет и надеется.

Уж целую неделю, как я в газетах прочел, что он в Петербург приехал – и ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились, наконец, вместе в сумасшедшем доме сидели – и вот! Чай, всё перспективы выглядывает, связи поддерживает, с швейцарами да с камердинерами разговаривает. Чай, когда из Залупска ехал, тоже хвастался: я, мол, в Петербург еду, об залупских культурных нуждах буду там разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай... с швейцарами!

Кому интересны залупские нужды, культурные или некультурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
высокопоторжественного дня, подставить – ну, тогда мы бы тебя послушали! А то: Залупск – разве об нем кто-нибудь думает! Есть у вас там, в Залупске, Солигер – и будет с вас. Он вас там разберет: и стравит друг с другом, и помирит, если нужно... «Zaloupsk! – qu'est ce que c'est – que Zaloupsk?»[30]

И вот, ради разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом соратнике и собутыльнике забыл! Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра Солигер разрешил ему за свой превосходительный каблук подержаться – он уж и рыло воротит. Я, говорит, наверху нынче стою, сверху мне все перспективы виднее. Вы, мол, как лягушки, в болоте квакаете, а мы, аисты, на горах расселись, да как налетим оттоль... Да на кого же ты налетишь-то, птица ты бестолковая! Посмотри, и болото-то уж пустым-пустехонько стоит: нечего скоро и зацепить-то там будет!

Мне сделалось досадно и жалко. Бедный Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и домик есть, и палисадничек при нем, и посуда, и серебрецо, и постелька для приятеля... видно, что человек живет! А мужик что! Вон у нас на селе у крестьянского мальчишки тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне есть! Милый, милый Прокоп! Как сейчас вижу, как он в залупском клубе, за ужином, завязавшись салфеткой, сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок проглотит и еще слово скажет. И слова всё – такие мелкие: текут, плывут, бегут – не поймаешь! Ест, а сам одним глазком в соседнюю залу заглядывает, потому что там действительный статский советник Солигер с статским советником Глистом о чем-то по секрету совещаются, а титулярный советник Трихина так и юлит, так и кружит около них. «Дай срок, уже от Трихины все выведаю!» – думает Прокоп, а что выведаю, зачем выведаю... бежит, течет, плывет!

И так мне вдруг захотелось Прокопа увидеть, так захотелось на затылок его полюбоваться, что не успел я формулировать моего желанья, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.

Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах. Лицо его, слегка напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильное утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги, живот колыхался, ноги тряслись. Мне показалось даже, что он раздражен.

– Обогрей, ради Христа! – было его первое слово.

– Откуда, голубчик? поздравлял?

– Разумеется, поздравлял. Вот ты, так и день-то какой нынче, чай, позабыл?

– Ну, нет, брат, я и у заутрени был. А ты?

– Еще бы. Я еще третьего дня билет получил.

Прокоп сел против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.

– Да ты бы скинул с себя форму-то, – предложил я, – вместе бы позавтракали, вина бы... А какое у меня вино... по случаю! краденое!

– Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй – опивки какие-нибудь! Опивки краденые – вот это так. А ты вот что: завтракать я не буду, а ежели велишь рюмку водки подать – спасибо скажу.

– Отчего же бы не позавтракать?

– Нет, я на минуту, у меня еще двадцать местов впереди. Поважнее которые дома – у всех расписался уж, а прочие и подождут, невелики бары!

Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и закусил. Не знаю почему ему вдруг показалось, что я всматриваюсь в него.

– Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны? – спросил он.

– Помилуй, мой друг, я рад тебя видеть – и только.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– А рад, так и слава богу. Замучился я. Погодища нынче – страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься – ну, и сидишь, как на выставке. Да как на грех, еще приключение... препоганое, брат, со мной приключение сегодня было.

– Что же такое?

– Да приезжаю я к особе к одной – ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит – и угоразди меня нелегкая с ним в разговор вступить. Рано ли, мол, встает его сиятельство? прогуливается ли? кто к нему первый с докладом является? не слышно ли, мол, что про места: может быть, где-нибудь что-нибудь подходящее открывается? Только разговариваем мы таким образом – и вдруг вижу я, вынимает он <из> кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снял крышку да ко мне... Это, говорю, что?.. – Понюхайте-ко, говорит. – Да ты, говорю, свинья, позабыл, кажется?..

– Так и сказал?

– Так прямо и брякнул. Я ведь, брат, прямик! Я не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!

– Нехорошо, брат; горяченек ты, любезный друг! с страстями справляться не умеешь!

– А что?

– А то, что он теперь тебе мстить будет – вот что!

Прокоп задумался на минуту, даже вилка, направленная по направлению к балыку, словно застыла в его руке.

– Я, брат, и сам уж об этом думал, – наконец молвил он.

– Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером будет с его сиятельства сапоги снимать и скажет: был давеча вот такой-то – не нравится он мне, невежей смотрит. А завтра ты явишься к его сиятельству, а его сиятельство посмотрит на тебя да и подумает: кто бишь это мне сказывал, что этот человек невежа?

– А что ты думаешь? ведь это, пожалуй, и вправду так будет?

– Верно говорю. Эти камердинеры да истопники – самый это ехидный народ. Солитер-то, ты думаешь, как пролез?

– Ну, Солитер и так, сам собой пролезет!

– Нет, он сперва в камердинеры пролез, а потом уж и...

– Ну, так прощай; я бегу!

– погоди! куда ты! рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?

– Чему у нас делаться! Солитер... Я было жаловаться на него приехал, да вот приключение это – пожалуй, завтра и не выслушают!

Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги посмотрел, поправил шпагу и уж совсем на ходу заметил:

– Я, брат, с женой и дочерьми здесь. В Гранд-отеле стоим, за границу едем.

– Надежда Лаврентьевна здесь? и ты не говоришь ничего!

– Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером – посидим.

Он рысцей направился в переднюю, накинул на себя шинель и вдруг опять встревожился.

– Как ты думаешь? – спросил он меня, – ему... хаму этому... трех целковеньких довольно будет?

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Дай, брат, пять! – посоветовал я.

– Ладно. Так ужо вечером. Жена давно к тебе посылает, да нельзя было... всё приключения эти...

Он исчез в дверях, а я остался опять один с своей тоскою. Я стал резюмировать <разговор>, который мы сейчас вели, и вдруг покраснел. Что я такое сейчас говорил? мучительно спрашивал я себя, и какие такие советы насчет пяти рублей подавал? Господи! да неужели же это холопство имеет такую втягивающую силу! Вот я: по-видимому, совсем было позабыл: и мундира культурного нет у меня, и поздравлять я не езжу – так, сам по себе, глазами хлопаю! – а увидел человека с красным околышем и не вытерпел! Так и лезет-то, так и прет из тебя это проклятое холопство! И рожа ослабляется, и язык петлей складывается, как начнут про шейцаров да про камердинеров разговаривать. Да; нынче в Франции целая школа беллетристов-психологов народилась – ништо им! У них психология простая, без хитростей – ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел. Ему, по-настоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он вот с лакеями об внутренней политике разговаривает да еще грубит им... лакеям-то! Да и я тут же за компанию вторю: отомстит он тебе; не три, а пять рубликов ему надо дать! Сказал и не почувствовал, что у меня от языка воняет, – ничего, точно все в порядке вещей! Какое сцепление идей бывает, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, при помощи которой возможны подобные разговоры? Вот кабы ты, Золя, присутствовал при таких разговорах, то понял бы, что самое фантастически-психологическое лганье, такое, какое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, ни прокурорам, ни адвокатам, – должно встать в тупик перед этой психологической непроходимостью.

И в то самое время, как я думал все это, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснула мысль: Прокоп за границу едет, а что кабы с ним вместе удрать?

Сейчас обвинял Прокопа в холопстве, сейчас на самого себя негодовал за то, что никак не могу с себя ярма холопства свергнуть, – а через минуту опять туда же лезу! Я знаю, что Прокоп вместе с своей персоной весь Залупск Европе покажет, что он повезет Залупск в своих платьях, в покрое своего затылка и брюха, в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять, во всем. И за всем тем, все-таки не могу я отвязаться от него, стремлюсь обонять залупские запахи, слушать залупские речи... И вместе со мной этим речам будут внимать Средиземное море и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат их в предвидении нашествия варваров.

ГЛАВА 3

Для тех, которые позабыли о Прокопе, считаю нелишним восстановить здесь его физиономию. Это чистейший тип культурного русского человека, до последнего времени и не подозревавшего о своей культурности. В физическом отношении он шарообразен и построен как-то забавно: голова круглая, затылок круглый, брюхо круглое, даже плечи, руки, ноги – круглые, так что когда он находится в движении, то кажется, словно шар катится. Лицо у него – портрет красавца-мопса и принимает те же выражения, какие принимает морда мопса в различных обстоятельствах жизни. Когда он сыт, лицо принимает выражение беспечное, почти ласковое, как будто бы говорит: соснул бы теперь, да очень уже весело. И чувствуешь, что у него где-то должен быть хвост, которым он в это время виляет. Когда он голоден, то на лбу и на носу образуются складки, рот злобно ослабляется и углы губ плотоядно опускаются книзу. В нравственном отношении он лукав, не лишен юмора, преимущественно обращенного против него самого, легковверен, льстив, наклонен к лганью и в высшей степени невежествен. Когда он говорит, то почти всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых нет возможности отличать правду от лжи. Некоторые полагают, будто бы он зол, но это положительно не верно. Он не добр и не зол, не умен и не глуп – он так, сам по себе. Репутацию злости составили ему его инстинкты, в которых действительно очень мало человеческого и которые иногда делают его способным огрызаться и рычать. Но ежели надеть на него хороший намордник, то он сейчас же притихнет, и в Залупске совершенно справедливо заметили, что с тех пор, как упразднено крепостное право, он стал огрызаться и рычать значительно меньше против прежнего.

Имя его совсем не Прокоп, а Александр Лаврентьич Лизоблюд – из тех Лизоблюдов,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокопом его называли на смех, в честь Прокопа Ляпунова, известного рязанского помещика и ревнителя русской славы, в то время, когда ему, после трех трехлетий, проведенных в звании представителя залупской культурности, поднесли на блюде белые шары в знак оставления в том же звании на четвертое трехлетие. Так как и Прокоп ревновал, и Лизоблюд ревновал, то и называли Лизоблюда Прокопом, да с тех пор словно даже и забыли настоящую его фамилию: все Прокоп да Прокоп.

Прокоп гордился своими предками. Не говоря уже о том Лизоблюде, который еще в доисторические времена тарелки лизал, много было Лизоблюдов, которые лизали тарелки и во времена позднейшие, освещенные светом истории. Проводя время в этом занятии, некоторые из них приобрели себе вотчины и до такой <степени> усилились, что когда вступил на престол Гришка Отрепьев, что Кирюшка Лизоблюд был послан в Астрахань для побуждения мятежных астраханцев к скорейшей присылке икры для царского стола. Но в половине XVIII столетия звезда Лизоблюдов померкла. Никита Лизоблюд, имея наклонности пьяные и прожорливые, замешался в историю Лопухиной, и хотя сентенцией суда был приговорен к наказанию кнутом с урезанием языка и к ссылке на каторжные работы, но ради неистовой его глупости урезание языка и ссылка на каторгу были заменены ссылкой в залупские вотчины навечно. С этих пор и до наших времен фамилия Лизоблюдов делается исключительно рассадником залупской культурности и играет большую роль в той оппозиции, которую чистопсовы с такою твердостью выдерживали против местной администрации.

Семейство Прокопа состояло из жены, сына и двух дочерей уже на выданье. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, когда ей было уже около сорока, она производила в Залупске сенсацию. Это была очень добрая и до крайности жеманная женщина, как все русские провинциальные барыни, родившиеся в захолустье и привыкшие с детства играть в нем роль. Во всех культурных подвигах Прокопа она приносила ему весьма существенную пользу; никто не умел так ласково принять и так радушно накормить, как Надежда Лаврентьевна, ни у кого не подавалось таких роскошных обедов, и никто так красиво и строго не выступал в зале собрания во время балов. Даже губернатор называл ее не иначе как царицей Залупска и во всех официальных торжествах выступал с ней в польском в первой паре. В особенности же видно выдавалась она во время выборов, когда со всей губернии съезжались в Залупск из деревень «песьи головы», как называл их Прокоп. В то время, как муж политиканил с старцами, то есть накачивал и набивал им мамоны, а некоторым даже шил на свой счет по паре платья, Надежда Лаврентьевна делалась центром, около которого собиралась молодежь. В этих кружках бывало всегда весело – тут присутствовали все представительницы залупского высшего общества, сытые, белые, полные, с сахарными плечами, охотницы и сами поврать и послушать как другие врут; тут велся прятный и щекочущий разговор, бесцеремонно бивший на возбуждение чувственности. В результате – поднесение на блюде белых шаров, которые Прокоп принимал со слезами на глазах.

Не менее полезна была мужу Надежда Лаврентьевна и в сношениях с залупской администрацией. Прокоп был груб и не раз ставил администрацию в тупик своею бесцеремонностью, хотя после и приносил в том чистосердечное раскаянье. Однажды администрация даже не на шутку рассердилась, и уверяли, что было уже произнесено слово: фюить! Прокоп малодушествовал и плакал, но прощения не просил. Этот загадочный малый желал бы, чтоб администрация, по секрету, видела его слезы и убедилась в его раскаянии и чтоб прощение пришло само собой. Но никто слез не видел и слово «фюить» было сказано вторично. Тогда на выручку явилась Надежда Лаврентьевна, и в первый раз, как «хозяин губернии» подал ей в польском руку, она так томно вздохнула и так трепетно держала его руку, что он невольно спросил ее: а ручку поцеловать можно, ежели я к вам завтра утром приеду? – и сейчас после того сам подошел к Прокопу и заговорил с ним как ни в чем не бывало.

Единственный сын Прокопа Гаврюша похож на отца до смешного. То же круглое брюхо, те же круглые плечи, то же мопсичье лицо, забавное во время покоя и со складками на носу и на лбу во время гнева. Прокоп любит его всем нутром своим, ласково рычит во время появления его в воскресенье и праздничные дни, сам садится, а его ставит перед собой, берет за руки, расспрашивает, чем его во время недели кормили, смотрит в него словно в зеркало. Воспитывается Гаврюша в Лицее прежде всего на том основании, что оттуда титулярными советниками выпускают, а еще больше потому, что в закрытом заведении, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки «человеком» сделаешься.

– По себе, брат, знаю, что дома ученье плохое, – открывался мне по этому случаю

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Прокоп, – чего уж покойный папенька со мной ни делал – и сек, и голодом держал, и в темную сажал – не могу никуда экзамена выдержать, да и полно. До сих пор ни одного текста из катехизиса не знаю – что хорошего!

– Да ведь на собраниях из катехизиса не спрашивают, – возражал я.

– Все-таки. Разговоры бывают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я экзамены-то выдерживал, и я бы из географии разговаривал, а теперь только на других смотришь, смеются или нет.

– Так что ж! сходило до сих пор – и слава богу.

– Ну, брат, не всегда. Ехидные нынче люди пошли: испытывают. Иной, братец, целый разговор с тобой ведет – ты думаешь вправду, а он на смех.

– И все-таки дай бог всякому таким «человеком» быть, каким ты сделался.

– Да уж это я после человеком сделался, когда папенька за ум взялся да определил меня в полк. Надели на молодца солдатскую шинель да стали на корде гонять – ну, и сделался человеком.

– Так и с Гаврюшей ты так поступи.

– Нельзя, голубчик, не тем нынче пахнет. Нынче над юнкерами-то смеются. А в заведении в этом... а вдруг, братец ты мой, Гаврила Александрович мой министром будет!

Прокоп захохотал, но тем загадочным смехом, из которого нельзя понять, точно ли человек смеется или только в заблуждение вводит.

– Так вот я и решился. Только бы он у меня экзамен выдержал, а там уж я буду покоен. Туда только поступить нужно, а там уж доведут. Разве вот человека зарежет...

– Что ты! Христос с тобою!

– То-то, об этом-то я и говорю. А ты, впрочем, что об этом думаешь? Я брат, маленький тоже чуть-чуть человека не зарезал – да! Раз, после грамматики, секли меня, секли – ну, думаю: непременно я этого проклятого учителя зарежу!

– Так неужто же ты так-таки и зарезал?

– Эх, братец, чудак ты! Я сказал для примера, а он и поверил!

И действительно, Гаврюша третий год находился в заведении – и ничего. Жаловались воспитатели, что он во время репетиций забирается в шинельную и спит там, вследствие чего потом уроков отвечать не может, но Прокоп и не требовал от сына блеска, а просил только бога, чтоб как-нибудь его до конца довел.

Дочери у Прокопа были уж невесты: одна, Наташенька, восемнадцати лет, другая, Леночка, – семнадцати. Обе пошли в мать и наружностью, и жеманством, и склонностью к лакомству. Наташенька склоняла голову на правую сторону, Леночка на левую, что сообщало им какую-то трогательную грацию. Обе ходили в одинаковых платьицах, обе подавали посетителю ручку как-то нехотя, словно вынужденные обстоятельствами, и обе ходили, слегка привскакивая на носках. Вообще были девушки здоровые, полные и аппетитные, но как бы совестились за свою аппетитность и от всей души просили бога о ниспослании им <худобы>.

Вечером, когда я пришел к Прокопу, у него уже сидел какой-то генерал, но до такой степени унылый, что я подумал, что у него или жена сегодня скончалась, или болит живот. Он имел такой странный вид, словно его пеплом обсыпали. Лицо пепельного цвета, волосы пепельного цвета, даже мундирный сюртук не чищенный, словно кусочки пепла на нем. Прокоп рекомендовал его мне:

– А вот его превосходительство генерал Николай Батистыч Пупон! Русский! Отец его, Батист Северьяныч, – тоже генерал был, только француз, вместе с русскими Париж в восемьсот четырнадцатом году брал, ну, а этот уж настоящий русский, наш залупский дворянин.

Надежда Лаврентьевна приняла меня любезно и позволила даже ручку поцеловать. Наташенька и Леночка любезно поклонились, каждая с своей стороны, Гаврюша сидел в углу, держа в обеих руках по яйцу и пробуя, которое крепче.

– Обделал! – шепнул мне на ухо Прокоп, – десятирублевенькую дал!

– Что ж! куда же?

– Нет, говорит, теперь местов нет, а впоследствии... Будут, говорит, скоро два места, да уж их обещали! А потом, говорит...

– Да не врет ли?

– Верно, братец! После этих двух мест – первое...

– Ну, и слава богу. Покуда ты за границу съездишь, покуда что – смотришь, оно и откроется!

Сели в кружок и стали разговаривать. Разумеется, сначала на погоду пожаловались и выразили мнение, что никогда такой скверной святой не бывало. Потом пошли новости из Залупска, странные новости, в которых главную роль играли плюхи.

– У нас, брат, нынче все разговоры плюхами кончаются! – весело резюмировал Прокоп рассказы Надежды Лаврентьевны.

Подали наконец самовар и целую кучу булок и кренделей. Гаврюша, все упорствовавший сидеть в углу, при виде самовара оживился и стал помаленьку пододвигаться к столу. Прокоп толкнул меня локтем в бок и подмигнул в его сторону. Маневр сына, очевидно, радовал его.

– Что, брат, видно, булками запахло? – пошутил Прокоп и потом, обращаясь ко мне, прибавил: – Вот, брат, тебе хочу на сына жаловаться – урока не знал.

– Ах, мой друг, охота тебе ребенка конфузить! – вступилась Надежда Лаврентьевна, – тебе, Гаврюша, с чем: со сливками или с вареньем?

– Мне, маменька, сливок побольше.

– Ешь, братец, ешь. От еды здоров человек бывает, только одна еда тоже не годится: еда сама по себе, а урок сам по себе.

Гаврюша тряхнул головой, словно муху смахнуть хотел.

– Поди ко мне. Говори: отчего ты урока не знал?

Прокоп притянул Гаврюшу к себе, поставил против колен и всем своим лицом смотрел на него. Очевидно, что в эту минуту он не променял бы никакого Ньютона на своего не знающего урока Гаврюшу.

– Отчего ты урока не знал?

Гаврюша вдруг фыркнул.

– Стыдно, братец! А я давеча еще говорил: министром у меня Гаврюшка будет! Ну, теперь ешь.

– А вы что ж, ваше превосходительство! – обратился Прокоп к генералу, – хлеба бы да с маслицем!

– Да, да, маслица, молочка, яичек... это можно! Надежда Лаврентьевна! Маслица бы, маслица мне! – как-то жалобно попросил генерал и затем, сложив руки между колен, оглядел всех безнадежным взглядом.

– Вот и генерал с нами за границу едет, – сообщил мне Прокоп.

– Да вы серьезно едете? – спросил я Надежду Лаврентьевну.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Едем. Надо же...

– Я раз шесть за границей был, а оне еще ни разу, – объяснил Прокоп. – Пускай поездят да посмотрят. Нельзя же...

– А вы, генерал, для здоровья?

– Нет, я здоров, даже совсем здоров. Вот только грусть у меня... Никто объяснить не может. Воды какие-нибудь, может быть...

– Генерал еще в кадетском корпусе мозгу сотрясение получил, – с обычной бестактностью влепил Прокоп, – с тех пор вот и не может...

– Не могу! и рад бы, да не могу! Даже в цирк не езжу, потому что из пистолетов стрелять стали. Хотел было по дипломатической части идти – папаша не позволил. Папаша у меня храбрый был, у Марии-Антуанетты ручку целовал. А теперь вот мы русские.

– Однако дослужились же вот генерала? – не мог я воздержаться от вопроса: до такой степени сильно было мое недоумение.

– Да по кавалерии... кажется, я по кавалерии нахожусь?

– Нет, в ученом комитете заседаете, – сострил Гаврюша, и тут же сам фыркнул своей остроте.

– С генералом, брат, такие приключения были – и не дай бог! расскажите-ка, ваше превосходительство!

– Нет, мой друг, нет! Я вот еще немножко маслица, да и домой... бай-бай пора! в другой раз!

– Ах, генерал, генерал! женился бы ты, друг, и всю бы эту робость с тебя как рукой сняло! А у меня кстати и невесты есть – выбирай!

Генерал покраснелся, молодые девицы строго взглянули на отца и гордо выпрямились. Даже Надежда Лаврентьевна словно растерялась.

– Чего на меня глазами уставились? – продолжал хладнокровно Прокоп, – разве не правду я говорю? Чем не невесты! Генерал! смотри! – <2 нрзб.>

Все как-то оторопели, один Гаврюша так фыркал, что брызги летели с блюдечка во все стороны. Вероятно, собственно для утешения Гаврюши Прокоп и завел этот разговор. Генерал заторопился и стал прощаться.

– Куда, брат? испугался? Небось, силом под венец не поведем! – разуверял его Прокоп, – я только так говорю: невесты, мол, есть – первый сорт.

– Alexandre! финиссе! – строго заметила Надежда Лаврентьевна.

– Ну-ну, ступай, генерал Пупон! Спи там. Постель-то у тебя узкая да холодная... или, может быть, мамзель...

– Александр! тебя просто слушать нельзя! – сказала Надежда Лаврентьевна с гневом, но так, что глаза ее так и искрились от удовольствия.

– Ступай, ступай, жених! так через десять дней едем! – говорил Прокоп, провожая генерала в коридор и тотчас же возвращаясь назад.

– Бог знает, что ты говоришь! – укоряла его Надежда Лаврентьевна.

– Что ж я сказал! сказал, что дочки у меня невесты – это всякий видит. Что они пышки – и это всякому видно! А другой, может, и видит да не смекает – ему наука: вникай, братец! Вот хоть бы он! может, жениться захочет – чем не пара! – указал он на меня и в то же время перемигнулся с Гаврюшей, так что он опять фыркнул.

– А впрочем, будет! Пошутили, Гаврило Александрыч, крошечку, – и будет! Довольно, мой друг! родите<льница> гневаться будет! А я тебе про этого генерала

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
когда-нибудь расскажу! – обратился он ко мне.

– Знаете ли что? не поехать ли и мне с вами?

– А чего ж лучше! и прекрасно! С нами, брат, весело будет. Да ты уж бывал?

– Нет, не был. И даже намерения не имел. Да вот сегодня, пришел ты, говоришь: еду – ну и я задумался. Надо же... в самом деле!

– Разумеется, надо. Только уж ты, брат, коли едешь, так меня держись. Я эту «заграницу» как свои пять пальцев знаю, знаю, где что спросить, где как поест, где гривенничек сунуть. Я как приеду в гостиницу – сейчас на кухню и повару полтинник в руки. Всё покажет. Да я уж тебя научу.

– И так это приятно будет! – отозвалась Надежда Лаврентьевна, – все вместе и останавливаться будем! за границей – и все равно как у себя дома. Не правда ли, генерал?

– Не знаю... я ванны брать буду!

– Не все же в ванне будешь сидеть. Чай, и поест захочешь! – засмеялся Прокоп.

– Нет уж, я уж...

– Уныние ты на всех будешь наводить – вот это верно. Ах, генерал, генерал! Храбрый ты какой был, сражение на Средней Подъяческой выиграл – и вдруг, что с тобой сделалось!

– Таковы плоды человеческой ненасытности!

Генерал сказал это таким безнадежным тоном, что все вдруг смолкли. Даже я, ничего не понимая, вздохнул. Этот унылый вид, это пепельное лицо, очевидно, скрывали какую-то тайну. Кто знает? Может быть, он ждал в этот день награды и не получил ее?

– Больно? – первый прервал молчание Прокоп, обращаясь к генералу.

Но генерал даже не ответил на этот вопрос. К величайшему моему удивлению и к смущению девиц, которые в одно мгновение куда-то скрылись, он вскочил с места и начал расстегивать свой форменный сюртук. Потом расстегнул жилет, рубашку и обнажил довольно волосатую грудь.

– Смотрите, молодой человек, и да будет это вам уроком! – обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека, – читайте! вот здесь, пониже левого соска, – что вы видите?

Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, замечалось четвероугольное пространство, усеянное беловатыми пупырышками вроде сыпи. Но когда генерал ударил по этому месту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочесть следующее:

К СЕМУ ТЕЛУ АГГЕЛ

САТАНЫ, ИВАН ИВАНОВ,

ДОМОВОЙ, ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ,

ПЕЧАТЬ ПРИЛОЖИЛ.

АНАФЕМА!

– Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! – произнес генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него, – покуда я был субалтерн- и штаб-офицером, все знали отважного Пупона, все приглашали и чествовали его, отовсюду слали ему телеграммы, во всех трактирах пили его здоровье, даже историк Соловьев, задумывая сороковой том своей истории России, чуть не упал от радости в обморок, когда я доставил ему докладную записку под

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru названием «К истории Смутного времени». Теперь я генерал – и все вдруг изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон отчислен по кавалерии, а в довершение всего, я получил сегодня от господина Соловьева свою записку обратно с надписью: «невозможно, чтобы человек, в здравом уме находящийся, мог совершить столь великое множество дел, коим даже не весьма стыдливая Клио – и та не решается верить». Скажите, как по вашему мнению: обидно это или не обидно?

– Да, конечно... Уж если даже Клио зарумянилась, так, должно быть, порядочно-таки вы в этой записке накуролесили. Ну, извините меня, генерал, меня так заинтересовала надпись, сделанная у вас на груди, что если бы вы были так любезны, объяснили ее происхождение, то я счел бы это за величайшее для себя одолжение.

– Увы! это была одна из тех роковых ошибок молодости, которые нередко окутывают всю остальную жизнь человека. Вот он (генерал указал на Прокопа) знает эту грустную историю – когда-нибудь он и расскажет вам ее.

– Ну, нет, я рассказывать не мастер, да и некогда мне, – отказался Прокоп, – а рассказывай-ка ты сам. Нужды нет, что мы знаем твою историю, – мы и в другой раз прослушаем, – всё лучше, чем так-то сидеть, А он вот узнает!

– Хорошо. Я расскажу все по совести, как было, – сказал генерал, – но беру бога в свидетели, что делаю это не ради удовлетворения пустому тщеславию, но единственно ввиду того, чтоб молодые люди, склонные к мечтательности и к благородным подвигам, знали, что даже в области пресечения и предупреждения мечтательность не всегда ведет к той цели, которой они себя предназначали.

Мы все собрались вокруг генерала и приготовились слушать.

Генерал начал:

<.>

ГЛАВА 4 Поехали

Через неделю, в одиннадцать часов утра, я был уже на дебаркадере Варшавской железной дороги. Прокоп был тоже исправен, и в ту минуту, как я подъехал к станции, он уже распоряжался с багажом. Я насчитал до двенадцати сундуков, да кроме того, у него в каждой руке было по чемодану, которые он, вероятно, надеялся провезти бесплатно.

Серая погода преследовала нас, и перед станцией стояло целое море грязи. Неподалеку виднелся закопченный остов фейгинской мельницы, около которого шныряло стадо адвокатов. Казалось, он еще дымился и дух Овсянникова парил над ним. Прокоп, поздоровавшись со мной, мигнул мне по направлению к зданию мельницы.

– Из-за полтинника какую кашу заварил! – по обыкновению, изумил он внезапно мыслью.

– Как так из-за полтинника?

– Известно, из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку – вот он и того... А мельница-то застрахована...

– Ну, нет, это, кажется, ты уж чересчур хватил. Миллионер да будет об таких пустяках думать!

– А ты душу человеческую знаешь?

– Нет, но во всяком случае...

– А я знаю. У нас в Залупске миллионер Голопузов живет, так извозчик у него пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. И разговаривает, и усовещивает: креста, говорит, на тебе нет! И так пешком до места и дойдет! Так вот оно, что душа-то человеческая значит.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
В эту минуту целая масса людей из всех отверстий мельницы высыпала к наружному ее фасу со стороны Обводного канала.

– Ишь! ишь! адвокатов-то что собралось! – произнес Прокоп, – это они слам делят!

– Какой еще слам?

– Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет себе всю тушу, примерно хоть за сто тысяч, – пятьдесят тысяч ему, а другие пятьдесят – на драку!

– Скажи по совести! ведь ты это только сейчас выдумал?

– А если и выдумал – важность какая! Не в том штука, что выдумал, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! Ах, чтоб им пусто было! Ишь-ишь! Белый к стене подошел, штукатурки отколупнул – это у него «совершенное» доказательство будет!

Поезд был невелик, и нам отвели роскошный вагон, в котором, кроме отдельных купе, был еще прекрасный салон. Нас никто не провожал, – нынче как-то и провозать культурных людей ни для кого не интересно, только около Прокопа терся какой-то маленький человечек, да и тот большею частью или молчал, или, по первому манию Прокопа, мгновенно исчезал в пространстве и снова, как метеор, появлялся.

– Кто это тебя провожает? – любопытствовал я.

– А чиновник один... из духовной консистории.

– Как он к тебе попал?

– А так... может, нужен будет.

Кроме Прокопа с семейством, меня и генерала Пупона, было еще пятеро пассажиров: молодой тайный советник, который ожидал к празднику Белого Орла, а вместо того в другой раз получил корону на святых Анны, и в знак неудовольствия отправлялся вояжировать; адвокат, который тоже был обижен тем, что не был приглашен по овсянниковскому делу ни для судебного разбирательства, ни даже на побегушки; старичок с Владимиром на шее (до Эйдкунена), который, по-видимому, ехал за границу лечиться; молодой литератор; пятый персонаж смотрел как-то таинственно; он был одет в восточный костюм вроде халата, а на голове у него была надета ермолка. Войдя в вагон, он занял место в противоположном углу и молча глядел в окошко в противоположную дебаркадеру сторону.

Прокоп, по обыкновению, всем интересовался и приставал ко мне с вопросами: это кто? При этом он, по привычке всех провинциалов, указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту трепетал, что он меня скомпрометирует. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, уверял меня, что видел его, долго припоминал где и наконец-таки вспомнил, что в Муромском лесу.

– Насилу, брат, мы от него удрали! – присовокупил он в виде заключения.

Но больше всего заинтересовал его восточный человек. Он долго вглядывался в него, бормоча про себя: убей меня бог, ежели я его не видал! И наконец-таки вспомнил.

– А ведь это от Огюста татарин! – сказал он, – он! именно он! Я, брат, его знаю! Я и в костюме их видывал. В ноябре они к своему причастию ходят, так этим же манером наряжаются!

И, не дожидаясь моего ответа, обратился к восточному человеку.

– Здравствуй, саламалика! ты как сюда в первый класс попал!

Восточный человек изумленно посмотрел на нахала и чистейшим русским языком отвечал:

– Проваливай мимо.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Наконец поезд пошатнулся и тронулся. Всякий по-своему выразил при этом чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп снял картуз и, перекрестившись большим крестом, громко произнес: с богом! старичок с Владимиром на шею тоже перекрестился, но как-то робко, словно это не входило в круг его прямых обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но печать антихристовая не давала ему. Несколько раз усиливался он сотворить крестное знамение, но, вероятно, «отец лжи» зорко следил за его движениями, потому что, после нескольких попыток, рука его бессильно опустилась вниз. Восточный человек, очевидно, хотел совершить омовение, но, за невозможностью, сотворил брение и помазал им себе волосы. Адвокат долго следил унылым взором за исчезающей в тумане мельницей. Наконец вынул фотографическую карточку Овсянникова и впился в нее глазами, словно заранее оплакивая невинное его осуждение. Литератор, как только тронулся поезд, вынул из кармана газету и уткнулся в нее. Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком, прощаясь с провожавшими его столоничальниками. Наконец, когда поезд уже въехал в самое царство болот, сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Я уверен, что он воображал себя в эту минуту Кориоланом, но, более великодушный, чем Кориолан, он не намеревался привести вольсков для отмщения нанесенной ему обиды,

Мне было не по себе. По мере того как поезд прибавлял ходу, мне казалось, что внутри у меня все больше и больше пустеет. Теперь впервые мне с особенной резкостью представился вопрос: зачем я еду? и впервые же шевельнулось какое-то смутное сознание, что я что-то за собой оставляю. Я – человек привычки, и всякое передвижение меня волнует, так что когда я переезжаю на лето из Петербурга в деревню, меня всегда беспокоит вопрос: что-то будет? и такой же вопрос беспокоит и в то время, когда я на зиму переезжаю назад в Петербург. Теперь этот вопрос беспокоил меня, так сказать, сугубо. Собственно говоря, я оставлял за собой очень мало: смутную тоску о чем-то и смутное желанье чего-то, но в самой этой смутности было что-то привлекательное. Как будто проснулся и ходишь в халате, и не хочется ни умываться, ни одеваться, ни даже к чаю притронуться: все бы ходил взад и вперед да думал. Об чем бы думал? – право, сто против одного можно пари держать, что никто даже сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос не может дать. Так что-то мелькает и исчезает, и опять мелькает, и опять исчезает. То мотив какой-нибудь раздастся и смолкнет, то вдруг образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и усталости даже не замечаешь. Хорошо ли предаваться этой неумывающейся мечтательности – это вопрос другой, но, мне кажется, она представляет собой элемент современной русской жизни. Без ясных сожалений в прошлом и без ясных желаний в будущем. И ко всему этому прибавьте оторопь. Русский человек двигается нехотя, словно боится, что вот-вот нечто разверзнется и поглотит его. Как будто на каждом шагу его ждут сюрпризы, которые перевернут вверх дном его жизнь. Эту же робость, это же недоверчивое ступание по суху, яко по морю, приносит он с собою и повсюду, даже туда, где уже никаких сюрпризов не полагается. Все ему кажется, что или кондуктор его обидит, или засудят его, или вдруг... фюить!

Вот я, например. Правда, я не был за границей, но весь склад моей жизни, все воспитание, все идеалы – все было заграничное. Я и парле-франсе умею, и Наполеона III обругать могу, и об Бисмарке два-три анекдота знаю, и даже некоторые обычаи знаю. Один знакомый мне сказал: там за табльдотом семь блюд подают! другой сказал: если вы в Париже будете в ресторане что-нибудь спрашивать, то не говорите: *je vous prie*, [31] а *s'il vous plaît*, [32] потому что вас сейчас за русского примут. Стало быть, куда бы я ни приехал, везде как у себя дома буду. И за всем тем – все-таки берет оторопь. Вот теперь Эйдкунен через сутки, а все кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы едешь и за неделю дурную отметку на билете несешь. Каковы-то кондуктора там? Обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? Вот Прокоп говорит, что там на этот счет строго: в известный час обедать иди, в известный час восхождение на Риги делай – все равно как арестант. Как я за табльдотом обедать буду? Я привык дома на просторе есть, а тут вдруг поднимешь глаза, а они в немца упрутся. Вдруг он обидится и предложит мне за погибель Франции пить? А я Францию люблю! да, люблю я тебя, Франция, люблю, несмотря на то, что ты в настоящую минуту не Франция, а Мак-Магония. Буду ли я с немцем пить!

Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские люди, шлющиеся на теплых водах! Буду ли я уверять, что мы, русские, – свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни собственности, ни семейства и что вообще порядочному человеку в России нельзя дышать?

Буду ли говорить? – вот странный вопрос! разве я знаю, что я буду говорить? разве я могу определить заранее, что я скажу, когда разговарюсь? Вот если бы я один обедал, разумеется, я бы молчал, да и тогда, может быть, не утерпел бы сказать немцу, что все русские – свиньи, а то за табльдотом – помилуйте! Сто немцев смотрят на тебя, и все как будто говорят: а это ведь русский! Как тут утерпеть! как тут не сказать: господи! не смотрите, что я русский! Я действительно русский, но очень хорошо понимаю, что русские – свиньи!

Покуда эти мысли толпились у меня в голове, Прокоп делал свое дело. Он расхаживал по вагону, приискивая случая завести знакомство с пассажирами. Долгое время он посматривал на восточного человека, который, по-видимому, в особенности его интриговал, но заговорить с ним, однако, не решился, а подсел к адвокату, и между ними произошел следующий разговор:

– Вы адвокат, кажется? – начал Прокоп.

– Имею честь быть таковым! – ответил адвокат.

– Фамилия ваша?

– Проворный, Алексей Андреич.

– Как будто мы с вами встречались?

– Очень может быть.

– В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.

Проворный недоумевающими глазами взглянул на него.

– Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? Еще там ваш, для приготовления адвокатов, кадетский корпус был? – не смущаясь, продолжал Прокоп, – ну, да, впрочем, что тут! ведь вы тамошние места бросили?

– Извините... тут есть какое-то недоразумение... Муромский лес... Булатниково... Я даже никогда не бывал в тех местах...

– И хорошо сделали, что бросили. Там нынче проезжих мало: все на нижегородку бросились. В Петербурге лучше. Нынче в Петербург, на Литейную, Муромские леса переведены. Овсянниковское дело знаете?

– Был приглашаем-с.

– То-то. Я и сам давеча на вас смотрю и думаю: как этакого не пригласить! По этому делу, значит, и за границу едете?

– Нет, я сам по себе. Я в этом деле не участвую.

– В цене, что ли, не сошлись?

– В условиях-с.

– Да, бишь. Прежде спрашивали: какая ваша цена будет? а нынче: какие ваши условия?... Благородно! А как по вашему мнению – поджег он мельницу-то?

– Это зависит-с.

– То есть, как же это – зависит?

– От взгляда зависит. Как посмотреть на дело. С одной точки зрения посмотреть – выйдет поджог, с другой – выйдет случайность.

– То есть и нашим и вашим. Ну, а по настоящему-то, по правде-то как?

– По моему мнению, истина есть плод судоговорения.

– Чай, поджог-то до судоговорения был!

– Был пожар-с, но что было причиной его: поджог, или неосторожность, или действие стихий – это тайна судоговорения-с.

– Стало быть, можно по судоговорению что хочешь доказать?

– Можно-с.

– У меня, например, в Саратовской губернии имение есть – можно доказать, что оно не мое?

– Ежели есть противная сторона – можно-с.

– Вот так судоговорение!

Прокоп испуганными глазами взглянул кругом, как бы ища, нет ли между присутствующими «противной стороны». И действительно, молодой тайный советник, до сих пор относившийся к разговору с молчаливой иронией, счел долгом и свое мнение высказать.

– По моему мнению, господа, – сказал он, – ваш спор сводится к следующему вопросу: что должен преследовать суд: осязаемую ли правду, ту, которая представляется уму в виде непрерываемого факта, или правду юридическую, которая представляется уму не непосредственно, но вооруженная указами и доказательствами? Так, кажется?

– Совершенно так, – согласился адвокат.

Прокоп взглянул в мою сторону, как бы не зная, согласиться ему или нет. Я поспешил кивнуть головой.

– Мне что ж! – сказал он, – по мне, пожалуй.

Меня самого этот вопрос занимал не мало, ибо как начальник отдельной части, я сталкивался с ним почти на каждом шагу.

< >

ГЛАВА 5

Продолжаем ехать

В Луге, по дороге к вокзалу, Стрекоза подхватил меня под руку и сказал:

– Мы, кажется, с вами знакомы?

– Кажется, – ответил я.

– Мы с вами пошли разными дорогами, но надеюсь, что это нисколько не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.

Он сжал своим левым локтем мой правый локоть, а правой рукой пожал мою левую руку.

– С большим удовольствием, – отвечал я.

Стрекоза слегка прищурился и взглянул на меня.

– Вы, кажется, это в ироническом смысле изволите?

– Нет, я без всякого смысла, а так...

– Жаль, очень жаль.

Не покидая моей руки, он засвистал какой-то мотив, и таким образом до самого вокзала мы шли рядом.

– Вы мои последние распоряжения читали? – возобновил он разговор.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Нет, не читал.

– Не интересуетесь?

– Сами по себе они, вероятно, интересны, но для меня – нет.

– Вот если бы вы читали, вы должны были бы сознаться, что были неправы.

– В чем не прав?

– В том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.

– Да помилуйте! как будто вам мой взгляд нужен!

– И даже очень. Вы, может быть, забыли, но я очень, очень многое помню.

И он пожал мне локоть. Неприятно мне это было, а впрочем, с другой стороны, – что же! пожалуй, жми!

– Как хорошо было двадцать лет тому назад! – воскликнул он и даже рот на мгновение полураскрыл, как бы вдыхая невесть какой аромат.

Я не ответил, он еще крепче пожал мою руку – что ж, жми, братец, жми.

– Вы были тогда неправы относительно меня – мы об этом когда-нибудь по душе с вами поговорим. Вы куда едете?

Я назвал ему несколько пунктов.

– Это приблизительно и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?

Я назвал.

– Так эти дамы – его жена и дочь?

Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжав губы, внимательно осмотрел дам, которые в это время кушали цыпленка, словно играя им.

– Интересные особы, – сказал он, – а можно с ними познакомиться?

– Познакомьтесь.

В эту минуту я увидел, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежит к нам.

– Ну, что! не говорил я? не правда моя? – кричал он издали, махая руками.

И, подбежавши, торжественно объявил:

– Науматуллу видел.

– Да ты, по крайней мере, говори толком, – сказал я, едва воздерживаясь от раздражения.

– Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже с нами за границу едет, вот с этим, с нашим... ну, который у нас в вагоне сидит.

– Да мне-то, наконец, что за дело до всего этого?

– Как что за дело! ведь я от Науматуллы узнал про него. Ведь он принц, только инкогнито соблюдает.

– Душа моя! ведь это, наконец, утомительно!

– Чего утомительно? да ты взгляни, а потом и говори! вон они сидят. Науматулла-то уж камергером у него. С Бель-Вю рассчитался.

Я взглянул: действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
шампанское, которое Науматулла, сидевший с ним рядом, наливал ему.

– Ты вот болтаешь, а потом голоден будешь, – сказал я Прокопу, – садись-ка лучше да ешь.

– Нет, я хочу тебе доказать! Хотя я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Псст... псст... – сделал он, кивая головой Науматулле. Науматулла встал, что-то почтительно доложил восточному человеку, потом налил три бокала и на тарелке поднес их нам.

– Принец просит здоровья кушать! – сказал он.

Прокоп принял бокал и, выступя несколько вперед, почтительно поклонился. Я и Стрекоза тоже взяли свои бокалы. Восточный человек, улыбаясь во весь рот, посмотрел на нас. Очевидно, впрочем, что он симпатизировал только Прокопу, а нам уж так, сбоку припека.

– Да какой же, однако, принц? – спросил Стрекоза Науматуллу.

– В Эйдкунен – всё будем говорить. До Эйдкунен – всё будем молчать. Еще шампанского, господа, угодно?

– Да, может, это мятежник какой-нибудь? – усомнился вдруг Прокоп.

– Сказано: в Эйдкунен – всё будем говорить. И больше ничего! – отвечал Науматулла и исчез с подносом в толпе.

Мы остались в недоумении, из которого первый нас вывел Прокоп.

– Как же с ним обращаться? чай, титул у него есть? – сказал он, – Науматулла, признаться, мне сказывал, да ведь этих саламаляк не поймешь. Заблудаций, говорит.

– В Эйдкунене узнаем-с, – отозвался Стрекоза.

– Беглый какой-нибудь! – продолжал Прокоп, – ишь, шельма, смелый какой! и не боится! так с своим обличьем и едет! вот бы тебя отсюда к станovому препроводить – узнал бы ты, как кузькину мать зовут.

– В Вержболове, быть может, так и поступят-с.

– А все-таки, принц! там как ни говори: свиное ухо – а и у них, коли принц, то видно, что есть свыше что-то. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу веру перевел. В Ташкент бы уехали, общими силами налоги бы придумывали, двор по примеру прочих содержали бы...

– Что ты? да ведь Ташкент-то теперь русский!

– А может, царь и простит, назад велит отдать. Мы против России – ничего: мы – верные слуги. Контракт такой заключим. Смотри-ка! Науматулла опять, никак, шампанского несет! Не трогай, я его расспрошу!

Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:

– Второй раз принц приказал здоровье пить! Он здоров и хочет, чтобы вы, господа русские, здоровы были!

– Да кто твой принц? Татарин, что ли? – спросил его Прокоп.

– Не татарин, а заблудаций. В Эйдкунен всё скажем; до Эйдкунен – молчим.

– Пить ли? – как-то сомнительно обратился ко мне Прокоп.

К счастью, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили и поспешили в вагон, причем я на ходу представил друг другу Стрекозу и Прокопа. В вагоне мы уж нашли восточного человека, уже расположившегося на своем месте. Прокоп тотчас же подошел к нему и поблагодарил за внимание, на что восточный

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
человек отвечал, щелкнув пальцами по подушке соседнего места, как бы приглашая его сесть рядом.

Некоторое время Прокоп пытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, выдумал даже какой-то совершенно своеобразный язык для объяснения с восточным человеком.

– Далеко? луан? – начал он, несколько раз махнув в воздухе рукой куда-то вдаль.

Восточный человек засмеялся в ответ и тоже махнул рукой.

– Дела есть? афер иль-я?

Восточный человек продолжал махать рукой.

– И я тоже туда! е муа осси леба! Я без дела! комса!

Но восточный человек, по-видимому, ничего не понимал и только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.

– Не понимаешь? Ну, нечего делать, давай так сидеть; друг на дружку смотреть будем!

И в самом деле начали смотреть друг на друга, и вдруг им сделалось до того по душе, что оба расхохотались. За ними расхохотались и другие, так что даже Надежда Лаврентьевна полюбопытствовала и высунула через дверь голову из своего купе.

– А вот это – ма фам! – как-то совсем неожиданно представил ее Прокоп восточному человеку.

– Наденька! поди к нам!

Надежда Лаврентьевна взошла к ним.

– Вот это – принц! а вот это – ма фам! – продолжал Прокоп.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и конфузилась. Восточный человек быстро вскочил с места, отвернул полу своего халата, порылся в кармане штанов и подал Надежде Лаврентьевне кусок шепталы, держа его между двух пальцев.

– Бери! после выбросишь! – разрешил Прокоп недоумение жены своей. – Принц он! Ишь ведь куда, свиное ухо, гостинцы вздумал прятать! в штаны!

Но как ни весело было восточному человеку, и как ни мало требователен был с своей стороны и Прокоп насчет удовольствий, однако и ему надоело смотреть на принца и смеяться.

– Будет, брат! – сказал он, – после, коли еще захочется, давай опять!

А мне было еще тяжелее, потому что ко мне подсел Стрекоза и все допрашивал, почему я его не уважаю.

– Из чего же вы заключаете это? – оправдывался я.

– Да нет, я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился как рыба об лед, стремясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Наконец, он видоизменил свой вопрос, предлагая его в той форме, какую он однажды уже высказал в зале вокзала:

– Вы мои последние распоряжения знаете?

Но, к счастью, в это время подошел к нам Прокоп, решившийся, по-видимому, расстаться с «принцем», и сказал:

– Черт их знает, эти татары! Вот и смеялся, кажется, а смерть как скучно!

<.>

ПРИМЕЧАНИЯ

СБОРНИК

Шесть произведений, составляющих «Сборник», первоначально печатались за подписью «Н. Щедрин» в «Отечественных записках» с 1875 по 1879 г. в такой последовательности:

1. «Сон в летнюю ночь» – 1875, № 8.
2. «Дети Москвы» – 1877, № 1.
3. «Дворянская хандра» – 1878, № 1.
4. «Похороны» – 1878, № 9.
5. «Больное место» – 1879, № 1.
6. «Старческое горе» – 1879, № 5.

«Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы» (вместе со сказками «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик» и сценой «Недовольные») были включены в книгу: «Сказки и рассказы. Соч. Н. Щедрина (М. Салтыкова)», СПб., изд. кн. В. В. Оболенского, 1878, а все шесть произведений впервые были объединены (в той же последовательности, как они появились в журнале) в книге: «Сборник. Рассказы, очерки, сказки. Сочинение М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)», СПб., типогр. А. А. Краевского, 1881, куда вошли и указанные три сказки, а сцена «Недовольные» исключена. Вторым изданием «Сборник» в том же составе появился в 1883 г. (изд. книгопродавца Н. П. Карбасникова). При каждой перепечатке тексты просматривались и исправлялись автором. Подготавливая девятитомное собрание сочинений, вышедшее посмертно (1889–1890), Салтыков в завещательном письме от 30 марта 1887 г. на имя Л. Ф. Пантелеева просил: «Из «Сборника» исключить три сказки и присовокупить статью «Культурные люди» (см. «Отечественные записки», январь 1876 года)». В шестом томе посмертного издания это распоряжение осуществлено лишь частично: сказки исключены из «Сборника»; однако «Культурные люди» не вошли в «Сборник» и были помещены в четвертом томе.

В отличие от других произведений 70-х годов, объединенных автором в циклы, более или менее связанные тесным сюжетным единством, «Сборник», как об этом свидетельствует само заглавие, представляет собою ряд самостоятельных произведений. При этом «Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы» по первоначальному замыслу должны были послужить началом особых циклов, «Дворянская хандра» обнаруживает прямую связь с «Убежищем Монрепо», «Больное место» – с «Господами Молчалиными» (см. примечания к этим рассказам).

Тем не менее объединение в «Сборнике» шести сюжетно не связанных друг с другом произведений нельзя считать чисто формальным, механическим. В их идейном замысле, жанре, тематике наблюдаются определенные признаки общности.

Широкие проблемы жизни, поставленные в таких основополагающих произведениях 70-х годов, как «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Господа Молчалины», «Убежище Монрепо», нашли своеобразное отражение и в рассказах, составивших «Сборник».

Одна из основных тем «Сборника» – анализ экономического и духовного краха различных групп дворянства, переживавших эпоху исторического упадка в условиях пореформенной действительности. Это, во-первых, новый тип хищников-дворян, воплощенный в собирательном образе «червоных валетов» («Дети Москвы»), символизирующем окончательную нравственную деградацию и вырождение представителей высшего российского сословия; во-вторых, «культурный человек средней руки», владелец «брошенного», разоренного и угасающего поместья, не способный к какой бы то ни было производительной деятельности и бессильный противостоять натиску буржуазных отношений (рассказчик в «Детях Москвы» и «Дворянской хандре»); в-третьих, чиновник, потерпевший крушение бюрократической карьеры и выброшенный из жизни по причине своих умеренно либеральных взглядов («Старческое горе»). В этих же рассказах в тесной связи с темой «оскудения» и вырождения дворянства Салтыков показывает процесс духовного измельчания того поколения либерально-дворянской интеллигенции, которое в 40-е годы проявляло

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru симпатии к идеям Белинского и Грановского и для которого в 70-е годы стали характерны неустойчивость общественных позиций, бессильные вздохи по утраченным идеалам юности.

Основная сатирическая тема 50–60-х годов – разоблачение правительственного механизма самодержавия – продолжена в «Сборнике» изображением чиновников нового типа, отличающихся от старых бюрократов лишь тем, что, по их убеждению, «законные основания только стесняют, а никакой опоры не дают» (первая часть «Сна в летнюю ночь», «Больное место»).

В «Сборнике» сказался принципиально новый подход Салтыкова к основным проблемам общественного движения 70-х годов. Это выразилось в первую очередь в изображении народных масс и создании положительного героя из среды революционно-демократической молодежи («Сон в летнюю ночь» и «Дворянская хандра»). В широком круге идейно-нравственных проблем русской действительности 70-х годов, охваченных рассказами «Сборника», важное место заняло освещение бедственного положения литературы и прессы в условиях цензурных преследований («Похороны»).

В художественном отношении произведения, вошедшие в «Сборник», характеризуются глубоким социально-психологическим анализом, оттеснившим на второй план обычные для большинства произведений Салтыкова элементы публицистичности, резкие сатирические формы, сложную систему приемов эзоповской речи.

Салтыковскому художественному психологизму изначально присущ мотив трагизма жизни подневольных крестьянских масс и преследуемой самодержавием демократической интеллигенции. В произведениях «Сборника», кроме этого, поставлена проблема трагизма пробуждающегося сознания, совести, стыда у отдельных представителей дворянской интеллигенции, бюрократии, либеральной прессы. В этом отношении «Сборник» сближается с создававшимися в тот же период «Господами Молчалиными» и романом «Господа Головлёвы», которые свидетельствуют о блестящих достижениях сатирика в области художественного психологизма.

Когда в 1885 г. у Салтыкова, по его собственному выражению, появилось «наивное желание» видеть свои произведения в переводах на иностранные языки, он выбрал именно рассказы «Сборника» (исключая «Сон в летнюю ночь» и «Дети Москвы», очевидно, из-за их специфически русской злободневной тематики). 14 сентября 1885 г. Салтыков писал Н. А. Белоголовому, принявшему деятельное участие в организации переводов его произведений на французский язык: «Есть у меня книга, именуемая «Сборник», и в ней имеются четыре вещи, по-моему, недурные, и которые были бы вполне понятны для французов. А именно: «Больное место», «Похороны», «Старческое горе» и «Дворянская хандра» <...> Это не «Головлёвы» и для перевода не трудны. И притом они имеют настолько достоинств, что, например, «Temps» или «Revue des deux Mondes» не отказались бы поместить их».

Однако переговоры не увенчались успехом и предполагаемая публикация не состоялась. [33] На французский язык был переведен только рассказ «Больное место». [34]

При появлении в печати рассказы не вызвали значительной критической полемики, что объясняется, по-видимому, отсутствием в большинстве из них острой политической злободневности. Наибольшее внимание прессы привлекли «Сон в летнюю ночь» и «Больное место» (подробнее об отзывах критики см. в комментариях к отдельным произведениям). Выход отдельного издания «Сборника» не был отмечен печатью.

В настоящем издании сохраняется композиция и название, принятые в прижизненных изданиях. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию, 1883 г., с исправлением опечаток и устранением цензурных купюр по предыдущим изданиям и рукописям.

Рукописи произведений, вошедших в «Сборник», хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Впервые – ОЗ, 1875, № 8 (вып. в свет 20 августа), стр. 381–416.

Рукописный материал представлен:

1. Черновой рукописью ранней редакции первой главки, от слов: «юбилей удался как нельзя лучше...» до слов: «...он плюнул направо и растер левой ногой».[35]

2. Полной наборной рукописью «Отечественных записок» рукой Е. А. Салтыковой, с правой автор и первоначальным (зачеркнутым) заглавием: «Благонамеренные речи. XIV».[36]

На полях черновой рукописи имеются наброски, относящиеся к замыслу «Культурных людей» (см. наст. том, стр. 687).

Текст черновой рукописи представляет собой менее распространенную редакцию начала рассказа (отсутствует, в частности, описание «краткого церемониала» юбилейного торжества).

Предвидя возможные цензурные препятствия, Салтыков просил Некрасова в письме от 25 июля (6 августа) 1875 г. напечатать рассказ в восьмой книжке «Отечественных записок»: «Я потому желаю этого, «то 8-й № выйдет еще без Фукса и, следовательно, избавится от лишней придирчивости. Я просил бы Вас, ежели Вы будете в Петербурге, проследить за корректурой, а буде Вас нет в Петербурге, то поручить это Плещееву, которому, впрочем, я и сам пишу <...> Ежели название «Сон в летнюю ночь» не понравится, то можете вместо него поставить «Торжество ревизской души», а не то можно оба названия оставить: «Сон в летнюю ночь, или Торжество ревизской души».

Сличение текста сохранившейся наборной рукописи с текстом «Отечественных записок» позволяет установить, что Некрасов или Плещеев сделали в не дошедшей до нас корректуре следующие изменения, продиктованные явно цензурными соображениями, хотя августовскую книжку просматривал не В. Я. Фукс, а цензор Н. Е. Лебедев.

Стр. 350. Абзац «Никогда не задерживал...». Вместо слов: «три раза сидел в остроге <...> которое в совете судеб предопределено для крестьянина» в ОЗ:

сидел в остроге, был бит... одним словом, в совершенстве исполнил то назначение, которое в совете судеб предопределено.

Стр. 350. В ОЗ отсутствует абзац:

Нынче во всем от начальства притеснение пошло <...> Никогда прежде этого не бывало!

Стр. 351. Абзац «Воспользовавшись...». В ОЗ отсутствует текст:

(впоследствии он был привлечен к делу как пособник).

Стр. 353. После слов: «делали им о той добродетели явное предложение» в ОЗ отсутствует текст:

причем не было ли намерения к поношению предержавших властей, как и был уже подобный случай в газетах описан, что якобы некто, мывшись в бане с переодетым, или, лучше сказать, раздетым жандармом, начал при оном правительстве хулить и [был за сие осужден] получил за сие законное возмездие.

Стр. 354. В ОЗ отсутствует текст:

(впоследствии, когда началось дело о злоумышленниках <...> то в этом виновен).

Стр. 369. Абзац «К сожалению...». После слов: «еще чей-то голос: а, голубчики!» отсутствует:

бунтовать!

Во всех указанных случаях в настоящем издании принят текст наборной рукописи.

Кроме того, в наборной рукописи содержится по сравнению с журналом ряд незначительных сокращений (см. изд. 1933–1941, стр. 578–579).

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
При подготовке изд. 1878 автор также сделал несколько исправлений, главным образом стилистического характера. Среди этих вариантов следует отметить выпуск имени «Михаил» при фамилии «Ведров» (см. стр. 338), сделанный, по всей вероятности, чтобы завуалировать явный намек на Михаила Погодина (см. стр. 705), ставший в отдельном издании не таким актуальным.

В изд. 1881 и 1883 текст просматривался автором, внесшим в него немногочисленные поправки стилистического характера.

«Сон в летнюю ночь» написан в Баден-Бадене в июне – июле 1875 г., когда Салтыков, только что оправившийся от продолжительной болезни, смог приступить к литературной работе, о чем писал Н. А. Некрасову 25 июня (7 июля): «А я было принялся кой-что делать», и 25 июля (6 августа): «С этой же почтой посылаю рассказ «Сон в летнюю ночь», который прошу напечатать в августовской книжке».

Как всегда у Салтыкова, работавшего над несколькими произведениями и циклами, замыслы их тесно переплетались. Работая над «Сном в летнюю ночь», он предполагал включить его в цикл «Благонамеренные речи». Об этом свидетельствует наборная рукопись, в которой настоящему заглавию рассказа предшествует заголовок «Благонамеренные речи. XIV», зачеркнутое, очевидно, непосредственно перед отсылкой Некрасову (нумерация главы – XIV – ошибочна: под этим номером в мартовской книжке «Отечественных записок» была напечатана глава «Отец и сын». Ошибка объясняется, по-видимому, тем, что рассказ писался почти одновременно с главой XVI, «Семейный суд», также ошибочно занумерованной в рукописи и журнальной публикации как глава XIII «Благонамеренных речей»).

В упомянутом выше сопроводительном письме к Некрасову от 25 июля (6 августа) «Сон в летнюю ночь» и «Благонамеренные речи» упоминаются уже как самостоятельные, не связанные друг с другом произведения.

Отказ от мысли присоединить «Сон» к «Благонамеренным речам» был вызван, по всей вероятности, тем, что содержание его не совпадало с основной темой «союзов» и «краеугольных камней». [37] К этому времени у Салтыкова созрело решение сделать «Сон» началом нового цикла. Это намерение высказано и в самом тексте рассказа, который заканчивается желанием повествователя в будущем «подкузьмить» еще какого-нибудь помощника архивариуса или главноначальствующего над курьерскими лошадьми «по части юбилейных торжеств». Впоследствии Салтыков сообщил А. Н. Плещееву в письме от 2 (14) октября 1875 г., что предполагал сделать «Сон» началом ряда параллелей между «культурными людьми» и мужиками. Это намерение Салтыков высказывал в своих письмах неоднократно, в последний раз – 2 марта 1877 г. в письме к П. В. Анненкову: «Помните «Сон в летнюю ночь» – я хотел целый ряд параллелей написать, да и напишу. Нужно до мельчайших подробностей эту путаницу распутать».

Мысль о возобновлении работы над продолжением «Сна» осталась неосуществленной. Это объясняется, по-видимому, тем, что изображение «культурных людей», первоначально предполагавшееся как параллель к изображению «мужиков», стало темой самостоятельного произведения «Культурные люди» (см. наст. том, стр. 687). Однако самый прием противопоставления мужиков «людям культуры» нашел свое отражение в ряде произведений Салтыкова 70-х годов, и в первую очередь в рассказе «Дворянская хандра», также включенном в «Сборник».

Внешним поводом для создания рассказа явилось увлечение разного рода юбилейными чествованиями, подробно освещавшееся газетами того времени. [38] Этой теме посвящена и стихотворная сатира Некрасова «Юбиляры и триумфаторы», появившаяся в августовской книжке «Отечественных записок» вместе с рассказом Салтыкова. Однако насмешка над «юбилейной манией» послужила Салтыкову, так же как и Некрасову, лишь предлогом для постановки вопросов более существенных.

В цитированном выше письме к Некрасову от 25 июля (6 августа) 1875 г. Салтыков сообщил: «Не знаю, хорош ли рассказ, боюсь, чтоб не вышел первый блин комом. Меня заинтересовала собственно идея. Пользуясь господствующей ныне манией праздновать всякие юбилеи, я хотел сопоставить обыкновенному юбилею – юбилей русского мужика. Разумеется, во сне. Мне кажется, что рассказ вышел удачен, особенно вторая половина».

Противопоставление русского мужика привилегированным слоям общества заключено в самой композиции рассказа: две его части демонстрируют два противоположных

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
полюса русской действительности.

В первой части сатирическая зарисовка официального торжества по поводу юбилея незначительного чиновника представляет собой острую насмешку над бюрократическим обществом, охотно чествующим несуществующие заслуги. Вторая часть развивает мысль о том, что «право быть чествуемым» в действительности должно принадлежать народу.

Исследователями неоднократно отмечалось, что «Сон в летнюю ночь» знаменует новый значительный этап разработки темы народной жизни в творчестве Салтыкова. [39]

В «Губернских очерках» (1856–1857) писатель проявил интерес преимущественно к традиционной психологии народной массы. В «Истории одного города» (1870) выражено прежде всего критическое отношение автора к политической пассивности крестьянства. Что же касается «Сна в летнюю ночь», то здесь с наибольшей яркостью воплощено требование писателя воспроизводить «безвестную жизнь масс», спускаться в «таинственные», неизвестные народные глубины, открывать в образе «простолюдина» черты человека.

Изучение основ народной жизни Салтыков связывал с необходимостью подъема уровня народного самосознания, воспитания в крестьянине «чувства самоуважения». Эта позиция определила его симпатии к народническому движению, принявшему массовый характер в середине 70-х годов, в пору создания «Сна в летнюю ночь».

Не разделяя основных доктрин народничества, Салтыков сочувственно отнесся к идее массовой пропаганды в деревне, видя в ней «внесение луча света в омертвевшие массы, подъем народного духа», как он писал впоследствии в «Пестрых письмах».

Первое свидетельство этого – появление в «Сне в летнюю ночь» типа положительного героя из среды демократической разночинной интеллигенции в лице сельского учителя Крамольникова. Это типичная фигура самоотверженного общественного деятеля 70-х годов, работающего непосредственно среди народа. Он один из тех, о ком В. И. Ленин говорил: «...разночинцы – главным образом, учащая молодежь, учителя и другие представители интеллигенции – старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы». [40] Трагические судьбы этих людей Салтыков имел в виду, когда в письме к П. В. Анненкову от 30 октября (11 ноября) 1875 г. резко отзывался о политике преследования народников со стороны правительства, начавшего к тому времени массовые репрессии против них. О таком именно финале деятельности Крамольникова свидетельствует упоминание в конце рассказа о расправе с «бунтовщиками». Фигура Крамольникова, невозмутимо встретившего «усмирителей», приобретает истинно драматический характер и заставляет представить его дальнейшую судьбу подобной судьбе непочтительного Короната из «Благонамеренных речей», который в результате своей деятельности «вынырнул <...> в том месте, где Макар телят не гонял».

Иронический тон, которым порой окрашено описание деятельности Крамольникова, некоторые черты «благонамеренности», приданные ему (например, его убеждение в том, что слова «потихоньку да полегоньку» должны быть написаны «на знамени истинно разумного русского прогресса»), продиктованы прежде всего цензурными соображениями.

Искренний и страстный защитник интересов мужика, Крамольников противопоставлен мнимым друзьям народа, поведение которых олицетворяет священник Воссияющий, и наглым врагам его, представителям официального хамства в лице шпиона и доносчика волостного писаря Дудочкина, который считает, что народ – это «стадо свиней», «не чествовать, а пороть его следует».

Речь Крамольникова на юбилейном чествовании крестьянина – кульминационный момент рассказа и заключает в себе, по указанию самого автора, главную мысль его, соответствующую взглядам на крестьянство и самого Салтыкова.

Крестьянская масса, которая представляется «людям культуры» только «бесконечным муравейником», для Салтыкова – обширный мир явлений, имеющих «свои характеристические особенности, свои требования, свои идеалы». Духовное оскудение «людей культуры» Салтыков прямо связывает с отказом от наблюдений этого мира, изобилующего «отличнейшими подвигами» и «благородными биографиями», подобными жизни старика Ипполита Моисеевича Голопятова. Вместе с тем в соответствии с требованиями революционно-демократической эстетики и собственными

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru убеждениями, что «народ» – настолько сильная личность, что может вынести всякую правду (письмо к И. И. Ясинскому от 15 декабря 1882 г.), Салтыков, изображая крестьян, трезво оценивает неприглядные стороны народного характера, воспитанные веками нужды и бесправия. В сцене деревенской сходки он демонстрирует крестьянскую темноту, политическую пассивность, стремление уклониться от ответственности. В речи Крамольникова к крестьянам обращены горькие упреки, вызванные их взаимной враждой и ожесточением, забитостью их жен и матерей.

Необходимо при этом учитывать прямое указание Салтыкова в его письме к А. Н. Плещееву от 2 (14) октября 1875 г.: то, что в обрисовке крестьян «кажется отрицательным, есть не что иное, как уступка цензурным требованиям». Действительно, из текста рассказа видно, что пассивность и дух повиновения не так уж свойственны крестьянам, как это может показаться на первый взгляд: на сходке они признаются, что «в старину», то есть до реформы, «были бунтовщиками», да и теперь брань и угрозы не столько пугают их, сколько вызывают противодействие (само предложение праздновать юбилей было принято под влиянием «горькой обиды», нанесенной шпионом Дудочкиным).

Салтыков подробно рисует процесс расслоения крестьянства после реформы: антагонизм между беднотой и растущей деревенской буржуазией, процесс «раскрестьянивания» и уход в город на заработки, надзор со стороны церкви, усиление шпионажа, вызванное хождением в народ, – все темные стороны пореформенной действительности, сочетающиеся с еще не изжитыми остатками крепостничества.

В финале рассказа, используя систему эзоповского языка, сатирик провел через цензурные препятствия мысль о полной недоступности для русского крестьянина каких бы то ни было жизненных радостей.

Драматизм изображения судеб народа в контрастном противопоставлении миру эксплуататоров сближает «Сон в летнюю ночь» с такими позднейшими произведениями Салтыкова, как сказки и «Пошехонская старина».

Еще до появления рецензий в печати автор начал получать положительные отзывы литераторов, в частности А. Н. Плещеева и А. М. Унковского, мнение которого высоко ценил. Об этом он сообщал Некрасову 28 августа (9 сентября) 1875 г.: «Сейчас получил письмо от Унковского <...> Но что меня всего более обрадовало – это то, что «Сон в летнюю ночь» понравился ему и даже, как он пишет, произвел потрясающее впечатление. Признаюсь, я не избалован такими отзывами, хотя, сочиняя «Сон в летнюю ночь», я втайне рассчитывал на впечатление этого рода. Я вообще задумал несколько параллелей в атом роде и к декабрьской книжке пришло одну из них».

Есть сведения о восприятии читающей публикой Крамольникова как первого воплощения в литературе образа революционера. Один из читателей «Отечественных записок» писал Н. К. Михайловскому: «... Люди, сочувствующие нашим красным, не могли вывести типов их в литературе. Только и можно Щедрину было изобразить своего учителя Крамольникова в «Сне». [41]

Вскоре появились многочисленные положительные отзывы в газетах. [42] Однако идея рассказа не всеми критиками была понята правильно. Салтыков писал Некрасову по этому поводу 4 (16) сентября 1875 г.: «Между прочим, прочитал «критики» Буренина и Скабичевского по поводу моего «Сна». Буренин – подлец, Скабичевский – глупец. И знаете, подлец мне все-таки показался лучше глупца <...> Он очень серьезно думает, что я против страсти к юбилеям протестую – каков дурачина! Вторая половина статьи так и осталась для него загадкой. Вот Буренин тоже начинает с того же предположения, но он делает это как подлец, и потом все-таки признает, что главная суть статьи – вторая половина ее».

Салтыков имеет здесь в виду статью А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» от 29 августа 1875 г., № 237, «Мысли по поводу текущей литературы», за подписью «Заурядный читатель». Отзыв В. П. Буренина о «Сне в летнюю ночь» не известен. По всей вероятности, в письме Салтыкова имеется в виду отзыв, напечатанный в «Литературной летописи» «С.-Петербургских ведомостей», за подписью В. М., принадлежащий перу фельетониста В. В. Маркова. Возмущение писателя было вызвано, по-видимому, тем, что, дав положительную оценку сатирическому изображению юбилея в первой части рассказа, автор рецензии резко отрицательно отозвался о второй части, особенно о речи учителя, хотя и признал, что она является кульминационным

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru моментом рассказа и «содержит в себе совершенно серьезное, даже трагическое изображение трудовой жизни крестьянина». [43]

Начало рассказа ввело в заблуждение даже И. С. Тургенева и А. Н. Плещеева, также не увидевших в нем ничего более как осмеяние юбилеев. По этому поводу Салтыков писал П. В. Анненкову 12 (24) сентября 1875 г.: «Тургенев до крови обидел меня, сказавши, что это рассказ забавный: едва ли он дочитал его. Из Петербурга тоже пишут: прекрасная мысль – представить в смешном виде юбилей. Право, у меня не было намерения ни забавным быть, ни юбилеи изобличать. А если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства».

А. Н. Плещееву 2 (14) октября 1875 г.: «Очень Вам благодарен за сочувственный отзыв об «Сне в летнюю ночь». Только мне кажется, что Вы не совсем правильно тут видите протест против юбилеев. Вся эта статья задумана ради 2-й ее части, т. е. речи учителя...»

В 1885 г. Л. Н. Толстой обратился к Салтыкову с предложением принять участие в работе издательства «Посредник». Это предложение, по свидетельству В. Г. Черткова, одного из организаторов издательства, «произвело на него сильное впечатление». [44] Салтыков намеревался, кроме новых произведений, отдать в «Посредник» «Сон в летнюю ночь», считая этот рассказ наиболее подходящим для издательства, предназначенного, по словам Толстого, для нового круга читателей, огромного, «которого надо считать сотнями тысяч, чуть не миллионами». [45] Салтыков писал В. Г. Черткову 5 декабря 1885 г.: «Я мог бы указать Вам на одну мою вещь, которая, как мне кажется, как раз подойдет к Вашему предприятию. Это – «Сон в летнюю ночь», напечатанный в «Отеч. зап.» 1875 г. и потом перепечатанный в особом издании «Сборника». Содержание этой вещи отчасти бюрократическое, отчасти крестьянское».

Рассказ, однако, не был принят, очевидно, именно из-за его острой социальной направленности, которая противоречила программе «Посредника», предусматривавшей, как сообщал Салтыкову Толстой, «исключение некоторых направлений». [46]

Стр. 335...департамента «Всеобщих Умопомрачений»... департамента «Препон». – См. прим. к стр. 34 и 107.

Стр. 337...вот уж два дня, как наш прекрасный конотоп горит. – «Отечественные записки» в статье «Десятилетие русского земства» сообщали об эпидемии пожаров, ежегодно истреблявшей 1/24 часть деревянной России: «в 24 года выгорела вся Россия» (ОЗ, 1875, № 4, стр. 298–313). Об этом же сообщали и газеты: «Телеграммы и корреспонденции в каждом номере газет и поднесь только и наполнены, что известиями о громадных пожарах, свирепствующих по городам и весям матушки-России» («Биржевые ведомости», 1875, 29 августа, № 273).

Стр. 338...к хвостам коих великая княгиня Ольга... привязала зажженный трут... – Имеется в виду летописное предание о мести киевской княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа, князя Игоря.

...вспомните тропарь, который 11 июля поют... – Тропарь – церковное песнопение, панегирик какому-либо святому. 11 июля ст. ст. пелся тропарь в честь великой княгини Ольги, канонизированной православной церковью.

...подписал Ведров... – Салтыков намекает на многочисленные труды историка официального направления М. П. Погодина. Фамилия Ведров напоминает известный памфлет Герцена, направленный против Погодина: «Путевые заметки г. Ведрина» (1844).

Стр. 344...не слыхав ни стихов Майкова, ни прозы Погодина. – По-видимому, имеются в виду стихи А. Н. Майкова, посвященные членам царствующей фамилии, а также исторические труды М. П. Погодина, содержащие в себе апологию самодержавия.

Вам показывают разные запустелые шлоссы... – то есть замки (от нем. Schloss).

Стр. 345. Рабочее тягло – при крепостном праве единица обложения барщинной повинностью или оброком; состояла обычно из двух взрослых работников – мужа и жены.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Становой пристав – полицейский чиновник, ведающий станом, одним из участков уезда.

Стр. 351. Крапивное семя – ироническое прозвище мелких чиновников.

Стр. 353. Табельные дни – праздники.

Стр. 355. Помочь – совместная работа нескольких крестьянских семейств на чьем-либо поле во время страды. В трактовке Салтыкова помочь выступает как средство закабаления беднейшего крестьянства деревенским кулаком.

Стр. 356. Сотский – полицейский надзиратель, выборный из крестьян.

Стр. 361. Приказные – мелкие канцелярские чиновники.

Стр. 363. Вы, вероятно, слышали от священника вашего о лепте вдовицы. – По евангельскому преданию, при взносах в сокровищницу иерусалимского храма Христос противопоставил щедрым дарам богачей, жертвовавших от избытка, приношение бедной вдовы, внесшей все свое достояние – две лепты, мелкие монеты (Марк, XII, 42; Лука, XXI, 1–4).

Стр. 363–364. Древле Авраам, по слову господню, готовился принести в жертву сына своего Исаака. – Имеется в виду библейская легенда о жертвоприношении Авраама (кн. Бытия, XXII, 1–19).

Стр. 364. Да будет забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме – неточная цитата из псалма 136, ст. 5 («Псалтырь»).

Мясоед – промежуток времени между предписанными церковью постами, когда разрешается употребление мясной пищи.

Стр. 365...ни при первом крике петела, ни при третьем. – То есть всю ночь, от первого пения петуха в полночь, до третьего, на заре.

...кто-то крикнул: едут! едут! – Сновидение «в летнюю ночь» заканчивается картиной наезда полицейских властей и их расправы с защитником крестьян Крамольниковым.

ДЕТИ МОСКВЫ

Впервые – ОЗ, 1877, № 1 (вып. в свет 23 января), стр. 181–212.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В изд. 1878 Салтыков внес в текст очерка некоторые исправления, главным образом стилистического характера.

Была исключена следующая концовка очерка.

Поэтому, извиняясь перед читателем за настоящее, чересчур длинное предисловие, приступаю к рассказу о подвигах «червонных валетов» (само собой разумеется, что мои «червонные валеты» будут не вполне те, которым суждено в недалеком будущем фигурировать на скамье подсудимых в московском окружном суде), с обязательством впредь не входить в отыскивание причины, тем больше, что, по уверению Глумова, тут и причин никаких нет, а просто есть препровождение времени.

Судя по этой концовке, рассказ был задуман как вступление к целому циклу, в котором Салтыков намеревался раскрыть сущность явления, воплощенного в понятии «червонные валеты», и продолжить разработку основной темы очерка – темы экономического вырождения и духовного краха российского дворянства в пореформенную эпоху.

Зарождение тематики «Детей Москвы» восходит к более раннему периоду творчества Салтыкова. Некоторые сатирические ситуации рассказа впервые намечены в январско-февральской хронике «Наша общественная жизнь» (1863) и особенно в незавершенном цикле «Московские письма» (1863), напечатанном в журнале «Современник», где он предполагал «писать <...> о московской науке, о московской народности, о московской праздности, о московском обжорстве...» (см. т. 5 наст. изд., стр. 159).

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
В течение последующих десяти лет Салтыков неоднократно возвращался к обличению той идеологии, которая после реакционного перелома в общественном движении 1862–1863 гг. надолго превратила Москву из центра передовой русской мысли, каким она была в 30-х годах, в «главный оплот реакционного патриотизма». [47]

Одним из аспектов полемики сатирика с московскими идеологами был вопрос о роли и значении дворянства в политической и в экономической жизни страны.

Взгляд на дворянство как на главенствующее сословие в государстве, представляющее «важнейшие интересы целой страны», активно пропагандировавшийся «государственной» или «юридической» школой историков во главе с Б. Чичериным и публицистами катковского лагеря, Салтыков подверг резкой критике еще в публицистических хрониках 1863–1864 гг. и в «Истории одного города». [48]

Салтыков неоднократно выступал против этой концепции, в противоположность ей выдвигая мысль о том, что «сословные несовершенства» дворянства в процессе исторического развития «отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план» (см. т. 9 наст. изд., стр. 381).

Однако исторические концепции интересовали Салтыкова лишь в той мере, в какой они помогали прояснить современные проблемы общественной жизни. Поэтому, подвергнув осмеянию апологию исторических привилегий «питомцев славы», наследников «исторических преданий» России, главный удар сатирик направляет в «Детях Москвы» против консервативной московской публицистики, возлагавшей особые надежды на главенствующую роль высшего сословия в государственном управлении пореформенной России. Салтыков решительно отвергает взгляд на дворянство как на силу, способную вывести страну из путаницы пореформенных противоречий, и утверждает, что «дети Москвы», то есть представители той части дворянства, которая, опираясь на «исторические предания», считала себя оплотом отечества, на деле продемонстрировали свою полную неспособность противостоять натиску укрепляющихся буржуазных отношений, основой которых выступает безудержное «всесословное хищничество».

Параллельно с дальнейшей разработкой типов хищников буржуазной формации («Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо») Салтыков в «Детях Москвы» возвращается к изображению хищников «дворянского родопроисхождения», чтобы продемонстрировать их вырождение в прямых мошенников, вполне освободившихся от всяких моральных норм, – «червонных валетов».

Это название подсказано сатирику нашумевшим уголовным процессом клуба «червонных валетов», который слушался в московском окружном суде в феврале – марте 1877 г. [49] Следствие показало, что «червонные валеты» совершили более пятидесяти уголовных преступлений. В обвинительном акте зафиксировано громадное количество мошеннических деяний: составление подложных векселей, получение залогов за наем служащих на несуществующие должности и т. п. Среди обвиняемых преобладали прокутившиеся молодые люди из дворян: разорившийся помещик И. М. Давыдовский, воспитанник Лазаревского института восточных языков дворянин А. А. Протопопов, исправлявший должность уездного предводителя дворянства Н. И. Дмитриев-Мамонов, отставной поручик К. Е. Голумбиевский, князь Долгоруков и др. «Большинство обвиняемых обладает изящными манерами, имеет нафабранные усы, английские проборы посредине, прекрасно накрахмаленные воротнички, говорят очень литературно», – сообщал о них хроникер «Новостей» и затем добавлял, что «на всех деяниях лежит оттенок легкомыслия и отсутствия единства в действиях». [50]

Процесс продемонстрировал полное ничтожество и моральное разложение выходцев из высшего сословия российской империи и дал повод сатирику для постановки вопроса о деградации всего дворянского сословия как закономерном следствии его паразитического существования.

Несколько позднее, в «Убежище Монрепо», рисуя «сладкое умирание» дворян-помещиков средней руки в своих разоренных поместьях, Салтыков назовет их «руинами, готовыми ежеминутно превратиться в «червонных валетов».

Рассказ вызвал разноречивые отзывы прессы. Некоторые критики упрекали автора в художественной незавершенности произведения. Это мнение наиболее резко выразил С. А. Венгеров, назвавший рассказ «небольшим и, с точки зрения художественной,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мало удавшимся отрывком».[51] Отрицательно отозвался о нем и И. С. Тургенев: «Прочел я «Детей Москвы» Салтыкова; признаюсь, ничего особенного в них не открыл. Довольно дешевое и довольно тяжелое, часто даже неясное глумление».[52]

Однако многие критики оценили рассказ положительно, отмечая блестящий анализ вырождения «питомцев славы», «детей Москвы, хранительницы исторических преданий Руси» и «того положения, в которое поставлено наше общество всеми мастерами легкой наживы, от финансистов до «червонных валетов». Рецензент «Кронштадтского вестника» писал также: «Имя «червонного валета» надолго сделается у нас определением нарицательным, конечно, в смысле гораздо более широком, чем тот, который мог быть ему придан процессом прокутившейся московской шайки».[53]

Стр. 370. В каком ты блеске ныне зрима... – отрывок из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» (1795).

Здесь я получил первые впечатления бытия... – Салтыков вспоминает детство и годы своего учения в Московском дворянском институте (1836–1838). В «Недоконченных беседах» он писал: «Публичное воспитание я начал в Москве, в специальном дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке «питомцев славы».

...начальные основания русской грамматики по Востокову. – В XIX в. большой популярностью пользовались учебники академика А. Х. Востокова «Сокращенная русская грамматика», СПб. 1831, и «Русская грамматика, по начертанию сокращенной грамматики полнее изложенная», СПб. 1831.

Это слово, изданное Карамзиным в двенадцати томах... – Имеется в виду двенадцатитомная «История государства российского», в которой Н. М. Карамзин выступил защитником идеи самодержавия. Здесь и ниже Салтыков иронизирует над официозной историографией, превратившейся, по его словам, в прославление «княжений», историческая роль которых оценивается с точки зрения «военной славы», то есть политики завоеваний, и противопоставляет истинные идеи патриотизма ложной «славе», добытой путем захватов.

...вроде коллежского регистратора и отставного корнета... – Коллежский регистратор – чиновник 14-го класса, низший гражданский чин в России. Корнет – младший офицерский чин в кавалерии.

Стр. 371...имел свидание с Иоанном Цимисхием. – Намек на поражение князя Святослава Игоревича в битве с войсками византийского императора Иоанна I Цимисхия при Доростоле в 971 г. (ср. в «Письмах о провинции» – т. 7 наст. изд., стр. 325).

...вольную продажу вина... – то есть акцизную систему взамен откупной, отмененной согласно положению от 4 июля 1861 г. (см. об этом т. 3, стр. 780 и т. 7, стр. 190 наст. изд.).

...царя Иоанна III – за оказанную им распорядительность относительно Новгорода. – Салтыков имеет в виду конец Новгородской вечевого республики и подчинение Новгорода Москве в 1471–1478 гг. при Иване III.

...царя Иоанна IV – за то, что он покорил Казань и принял под свою державу богатую Сибирь. – Речь идет о взятии Казани Иваном Грозным в 1550 г. и покорении Сибири Ермаком в 1583 г.

...«Богатая Сибирь, наклоньшись над столами...» – цитата из произведения Г. Р. Державина «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила».

Киев... омрачил себя, подпав под иго иноверца... – Имеется в виду татаро-монгольское иго.

Москва! как много в этом слове // Для сердца русского слилось! – неточная цитата из седьмой главы «Евгения Онегина».

Стр. 371–372...а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника. – Привилегированные учебные заведения в царской России давали окончившим их право на получение гражданских и военных чинов. В частности, императорский Царскосельский (позднее – Александровский) лицей, где в 1838–1844

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
гг. учился Салтыков, давал возможность получения чинов от низшего 14-го
(коллежский регистратор) до 9-го (титулярный советник).

...порфиноносной вдовы... – то есть Москвы (выражение из «Медного всадника» Пушкина).

Всесвятское – старинное-село вблизи Москвы.

...с точки зрения маневров Ходынского поля – то есть с точки зрения милитаристской идеологии самодержавия. Ходынское поле под Москвой было первоначально местом военной лагерной стоянки, затем военным учебным плацем.

Грозные полки идут... – Эти стихи у П. П. Ершова не обнаружены. Возможно, Салтыков цитирует здесь строки из солдатской походной песни.

...все это не мешало мне в то же время и «заблуждаться»... – Салтыков иронически использует фразеологию реакционного лагеря, называя «заблуждениями» освободительные идеалы 40-х годов.

Стр. 373...когда под стенами Севастополя совершилась искупительная жертва... – Имеется в виду поражение русских войск под Севастополем и заключение невыгодного для России мира в Крымской войне 1854–1856 гг.

...витязей, которые, менее полувека тому назад, побывали в Париже... – Речь идет о взятии Парижа русскими войсками в 1814 г.

...ведь это лишь новый вариант на тему «разумейте языцы»... – Салтыков цитирует манифест Николая I от 14 марта 1848 г. по поводу революционных событий в Берлине, Вене и Париже. Здесь и ниже он намекает на то, что либерально-дворянские круги ожидаемые реформы воспринимали националистически, как еще один «луч... к солнцу славы» России.

Сперва – воля крестьянам, потом – воля вину, затем – начатки самоуправления <...> и, наконец, открытые настежь двери в суды... – Салтыков перечисляет основные реформы, на которые возлагали надежды либералы: крестьянскую реформу, отмену откупной системы, введение земских учреждений, установление суда присяжных (см. об этом в т. 7 наст. изд., стр. 599).

Стр. 374...я... начал изображать «славу» в несколько смешном виде. – Намек на то, что либеральные идеологи дворянства, зная истинную цену официальным «святыням», втихомолку глумятся над ними (ср. упоминание о «древних авгурах» в гл. 1 «Дневника провинциала в Петербурге» – т. 10 наст. изд., стр. 272).

...кабатчика Антошки Стрелова с лабазником Осипом Ивановым Деруновым. – Персонажи цикла «Благонамеренные речи» (см. т. 11 наст. изд.).

...како на обухе рожь молотить! – Выражение восходит к поговорке: «На обухе рожь молотить, зерна не обронить», обозначающей крайнюю степень ловкости.

Стр. 375. Дальнейшим испытанием моих представлений о «славе» явились выкупные свидетельства. – Выкупные свидетельства – процентные бумаги, выпущенные в ходе крестьянской реформы 1861 г. в качестве платежных документов за отходившую к крестьянам землю. Образ помещика, проедающего свои выкупные свидетельства, часто появляется на страницах произведений Салтыкова (см. «Благонамеренные речи», «Дневник провинциала в Петербурге», «Убежище Монрепо»).

Подоплёка – см. прим. к стр. 146.

Кадетские корпуса – средние военные учебные заведения для детей дворян и офицеров.

...с нами бог! никто же на ны! – Призывом «С нами бог!» завершился Манифест Николая I от 14 марта 1848 г., изданный в связи с началом революции 1848 года в Европе. Выражение восходит к Библии, а также к христианской молитве: «Аз есмь с вами и никто же на ны».

...с бубновым тузом на спине... – см. стр. 671.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Эти первые эмансипационные рюмки... – Ирония над торжественными обедами по случаю отмены крепостного права.

Ни взятие Хотина, ни сражение под Синопом не производили таких восторгов. – Ироническое сопоставление с патриотическим подъемом после взятия турецкой крепости Хотин в 1739 г., воспетого Ломоносовым в оде «На взятие Хотина», и победы русского флота над турецким при Синопе во время Крымской кампании (1853).

...слепые прозрели, чающие движения воды взяли под мышку одр... – Восходит к евангельскому преданию об исцелении Христом слепого и расслабленного (Лука, V, 14; Иоанн, V, 3–12, IX, 1–7). «Возьми одр свой и иди» – слова, сказанные Иисусом Христом при исцелении расслабленного. Чающие движения воды – ожидающие исцеления, перемен к лучшему.

Стр. 376. От «хладных финских скал до пламенной Колхиды»... – см. стр. 682.

Стр. 377. Вор есть член особенной касты, имеющей резиденцией: в Петербурге – в доме Вяземского, в Москве – в доме Шипова. – Речь идет о дешевых ночлежных домах.

Стр. 380. Даже новое слово «хищник» придумали... – Хищник – сатирическое наименование нового буржуазного типа эксплуататора в пореформенной России (см. «Признаки времени», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Пестрые письма»).

...упраздненные иомудские и каракалпакские принцы (их развелось так много благодаря успехам русского оружия)... – Речь идет о правителях занятых Россией среднеазиатских земель, которым были сохранены их громкие титулы. В «Помпадуррах и помпадуршах» Салтыков называет «иомудским принцем» также персидского шаха Наср-Эддина, путешествовавшего по России в 1873 г. (см. т. 8 наст. изд., стр. 471, 528).

Стр. 383...испросить себе «ангела верна»... – Выражение из православной молитвы: «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у господа просим».

...рождены для вдохновений <...> в мир «сладких звуков и молитв» – перифраз из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Стр. 384. Член торговой полиции – полицейский чин, следивший за выполнением требований гигиены и точностью мер и весов в торговых заведениях.

Стр. 385...весть о крушениях московского банка... – В 1877 г. состоялся процесс о крупных злоупотреблениях директоров московского коммерческого ссудного банка, в котором были замешаны многие высокопоставленные лица. Директора банка Ландау и Полянский, а также петербургский первой гильдии купец Струсберг были приговорены к лишению прав и ссылке в Томскую и Олонецкую губернии (этот процесс упомянут в «Отголосках» – «На досуге»).

...Баймакова, Лури... – петербургские банкирские конторы «Баймаков и КО» и Лури, объявившие себя несостоятельными в декабре 1876 г. По этому поводу «Недельная хроника» газеты «Судебный вестник» от 22 декабря 1876 г., № 280, сообщала, что контора Ф. П. Баймакова незаконно продала государственному банку 3000 билетов внутреннего займа, заложенных в конторе разными лицами, и что сообщение о крушении конторы произвело сильное впечатление на общество, так как «в этой несостоятельности по преимуществу затронуты интересы лиц <...> потерявших не капиталы <...> а сбережения, скопленные часто продолжительным, тяжким трудом, составлявшие все наличные средства целых сотен семейств, оставшихся после этого краха чуть не нищими».

Стр. 386...через миг покажется из-за угла медузина голова... – Голова Медузы Горгоны (греч. миф.), одной из сестер-чудовищ, со змеями вместо волос, взгляд которой обращал людей в камни; здесь символизирует совокупность общественных явлений, лишаящих человека уверенности в безопасности своего существования.

Стр. 387. Синодальные лавки – подведомственные Синоду, торговали церковными принадлежностями.

...плевелы... плевелы... плевелы... – Евангельская притча повествует о плевелах,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
выросших на пшеничном поле, которые не следует уничтожать до жатвы, чтобы не
повредить пшеницу (Матф., XIII, 25–29).

Кто устоит в неравном бое? – неточная цитата из стихотворения Пушкина
«Клеветникам России».

Глумов – см. прим. к стр. 136.

Объявиться – объявить себя несостоятельным должником, банкротом.

Стр. 388..ah! ah! Que j'aime, que j'aime milimilimilitairres! – слова из
популярной французской шансонетки.

Тарасовка – долговое отделение петербургской тюрьмы.

Кормовые – оплата содержания заключенного несостоятельного должника, до 1879 г.
входила в обязанность кредиторов.

Стр. 390...действительных статских кокодесов... – иронический неологизм Салтыкова,
образованный из понятий: «действительный статский советник и «cocodes» (франц.)
– хлыщ, щеголь, шалопай.

Стр. 391. Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал... – см. прим. к стр.
385.

...у Ландау денежки есть! – Директор московского банка Ландау обвинялся в том, что
получал от купца Струсберга крупные взятки.

Полянский – тот заплакал... – В отчете о процессе московского банка в «Судебной
хронике» сообщалось, что «во время показания Цветаева Полянский сидел понуря
голову, закрывши лицо руками, и, кажется, плакал» («Судебный вестник», 1876, №
229, 13 октября).

Стр. 392. Куртажные (от франц. courtage) – комиссионный процент биржевому
маклеру.

Постоялое и полежалое – плата за постой и хранение товаров.

Стр. 394...под пьяную руку на Козихе... – Трактиры в Большом Козихинском переулке в
Москве пользовались сомнительной репутацией; там же находились публичные дома.

Излюбленные люди – см. прим. к стр. 9.

Стр. 395...имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами. –
Пушкинский образ Петербурга как «окна в Европу» («Медный всадник») пародийно
использован Салтыковым для характеристики цензурного гнета также и в рассказе
«Похороны»: говоря о цензурных репрессиях 40-х годов, он упоминает, что «в
тогдашнее время эти цензурные проказы назывались «окошками в Европу» (см. стр.
409 наст. тома).

Стр. 396...смотрит на своего собеседника как на «фофана». – Фофан – просторечное
обозначение недалекого, тупого человека, синоним слов «простак», «глупец». У
Салтыкова обозначает бездумного исполнителя чужих предначертаний (ср. «Письма о
провинции» в т. 7 наст. изд., стр. 604–605.).

Стр. 397. Онеры (от франц. honneurs) – почести.

Стр. 398. Портфель – в торговом и банковском деле вексельное покрытие должником
получаемой в банке ссуды.

Баланс – сводная ведомость финансовых итогов предприятия. Акционерные общества и
банки обязаны были периодически публиковать свои балансы.

Стр. 399. Бритнев и Юханцев – кассиры Петербургского общества взаимного кредита,
крупные растратчики, процесс которых нашумел в 1876–1877 г. (см. «Русский мир»,
1877, № 21, стр. 2).

Стр. 398...Левушку Коленцова... в Семиозерск не еду... – См. «День прошел и слава

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
богу».

ПОХОРОНЫ

Впервые – ОЗ, 1878, № 9 (вып. в свет 18 октября), стр. 245–247.

Рукописный материал представлен: 1) черновой рукописью первой редакции (главы 1–4 и 5, первая половина, от слов: «Мы молча шли за траурными дрогами...» до слов: «...не мог различать степеней либерализма и безразлично работал то там, то тут»), относящейся, по-видимому, к июню – июлю 1878 г.; [54] 2) полной наборной рукописью «Отечественных записок», написанной, вероятно, в августе 1878 г.. [55]

На полях черновой рукописи имеются следующие наброски, относящиеся к развитию сюжета:

Я помню, как он изумился, когда Корш объявил, что наше время не время широких задач.

Однажды он пришел радостный: не прошло. А какую, братец, я мерзость написал. Спасибо старикам, прихлопнули. И присовокупил: ах, однако ж, как гнусно жить! Но чем больше время шло, тем меньше его кусали блохи.

Горлов и его посвящение.

Бросился ее целовать и потом упал в обморок.

Менандр, Коршунов, пригласил.

Клохчущая курица.

Большинство из этих набросков получили развитие во второй редакции рассказа. Особый интерес представляет первая запись, раскрывающая прототип Менандра Прелестнова.

Ниже приводятся наиболее значительные варианты черновой рукописи:

К стр. 406. Абзац «В то время...». Вместо: «Напротив того <...> уже достаточно трезвым»:

Действие литературы [в большинстве случаев производило только вред] ограничивалось только взрывом хохота и только в редких случаях производило нечто похожее на пробуждение и первый шаг к самопознанию. Но для того, чтоб оценить это последнее действие, нужно было и самому быть пробужденным.

Стр. 407. Абзац «Все существование...». Вместо: «понюхивающего с Булгариным табачок»:

понюхивающего с Булгариным и Шевыревым табачок.

Стр. 407. Абзац «Не надо забывать...». Вместо: «сегодня кажут кукиш в кармане, а завтра раболепствуют»:

Сегодня бы раболепствовал, а завтра казал кукиш в кармане.

Продажа газет распивочно и навынос не допускалась, но зато погоня за лишним пятаком не подавляла мысль. Читатель вообще был немногочисленный, но известный и к которому можно было обращаться с некоторою уверенностью. Чиновник читал «Пчелку» и услаждал свои дни бароном Брамбеусом; люди, начинавшие познавать самих себя, благоговели перед Белинским и его сподвижниками. Это было ужасное и вместе с тем дорогое время.

Стр. 409. Абзац «Как бы то ни было...». Вместо: «Три четверти этого существования <...> туманной петербургской осени»:

Три четверти этого существования было наполнено вопросом: пройдет ли? Остальная четверть ответом: нет, не прошло. Но иногда вдруг случается что-то чудесное: прошло. Это были такие же редкие минуты, как редки солнечные теплые дни у туманной осени. Какое зато ликование! Как просветлялось лицо! Какая самоуверенность замечалась в походке этого человека, спешившего поведать всем,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
кому ведать надлежит: прошло!

О, Крылов! Ты, уснащавший путь писателя терниями, ты же по временам был источником истиннейших и беззаветнейших восторгов. «Прошло!» – сколько сладости в этом слове, которое ныне так неуклонно заменяется целю фразой: Слава богу! цензурный срок кончился и страх ареста миновал! Вот как хорошо, а были и тогда – хорошие минуты, но только нужно было много и сильно страдать, чтобы вполне оценить эту сладость. Разумеется, недостатка в этих страданиях не было.

Стр. 411–412. Абзац «– Так-то так...». Вместо: «...очень признателен начальству <...> поздравить Пимена с успехом»:

...очень признателен начальству, и не могу не быть ему благодарным. И приглашения его делать экскурсии в область живой жизни настолько любезны, что даже я сам намерен воспользоваться ими, в качестве газетного передовика. Да, намерен, потому, во-первых, что и у меня, как и у других, плоть немощна, а во-вторых, и потому, что хоть я и отвык от жизни, но ведь вопросы-то, о которых идет речь, таковы, что, право, и курица может без труда написать об них целый пуд руководящих статей. Но признаюсь, одно обстоятельство пугает меня.

– Но что же тут может пугать?

– Боюсь я: гаду в литературе нашей много заведется. До сих пор он был сметен к сторонке, а теперь, с этой «практической ареной», по всем стойлам его расшвыряют, так что и не разберешься потом.

Я помню, я в то время не только не согласился с ним, но даже прямо назвал его чудаком. Мне казалось странным, каким образом из протеста в пользу Чацкого и Горвица и из защиты г-жи Толмачевой могут со временем образоваться какие-то «гады». Я думал, что русская литература вступила именно на тот путь, который ей приличествует после стольких лет езоповского лицемерия: на путь самобичевания, анализа и самопознания. Однако меня радовало уже и то, что Пимен понемногу и сам освобождается от старых пут, которые задерживали развитие его мысли, что он без особых затруднений выполняет обязанности газетного передовика и беседует в своих статьях о «возникшем и постепенно усугубляющемся движении общества» настолько самоуверенно-плавно, что самый взыскательный читатель мог только сказать: чего же еще надо!

Но вместе с тем я должен сказать, что даже с возрождением он не утратил старой привычки трепетать. Вопрос: пройдет или не пройдет? ни на минуту не оставлял его, что было тем более странно, что, по собственному его сознанию, такие передовые статьи, какие он поставлял для своей газеты, любая курица могла писать пудами.

Стр. 413–415. Абзац «Разумеется...». Вместо: «Но тут произошло нечто неслыханное <...> в действительные статские советники»:

Но тут случился с ним казус: когда хозяин представил его м-ше Растопыриус и когда последняя заявила, что счастлива познакомиться с таким знаменитым публицистом, то с Пименом вдруг сделалось дурно. Оттого ли это произошло, что он не был приготовлен к встрече с м-ше Растопыриус, или оттого, что лесть м-ше Растопыриус взбудоражила его затаенное самолюбие, – неизвестно. Но на этом попытка сближения с статскими советниками и кончилась, и фрак уже больше не выходил из шкапа, куда Пимен его повесил по возвращении с раута.

Вообще, несмотря на то, что Пимен довольно ходко принялся писать статейки и по вопросу о том, «необходимы ли для городских свистки?», и по вопросу о том, что пригоднее, «оставить ли пожарную часть в городах в ведении полиции или же предоставить устройство ее на волю самих городских обществ?» – в поведении его я, по временам, замечал довольно значительную странность. Иногда прочтет, бывало, статью и вдруг схватится за голову:

– Ах! это ужасно! это ужасно!

И убежит, не объяснив, в чем состоит ужасное. И что всего страннее, убежит прямо в типографию, где сейчас же возьмут его статью и примутся набирать.

Но главное, что не сходило с его языка, это гады.

– Гаду много!

Стр. 418. Абзац «– Слушай!..». Вместо: «Куда теперь идти?»:

Куда теперь еще идти? в дом терпимости – больше и дороги никуда нет!

Стр. 419. Абзац «И от кого...». Вместо: «...и даже брезгливости <...> не дают Менандру спать»:

...и даже брезгливости! И что ж! оттуда-то именно, из предполагаемого вместилища старинной литературной брезгливости, и полилась грязь!

Стр. 420. Вместо «Вот кабы ты <...> отлично!»:

Знаешь ли что? пробовал было я повествовать: поступи-ка ты на железную дорогу, сначала, разумеется, помощником кассира, а потом, бог милостив, увидит твое усердие, и настоящим кассиром определят. А вот как на будущий год в Монрепо на лето поедем, так ты нам протекцию окажешь, кондуктору шепнешь, чтоб вагончик попокойнее отвел. Право, так, а!

Фамилия умершего литератора в черновой рукописи – Любомудров.

Наборная рукопись за некоторыми исключениями идентична печатному тексту.

Основная тема рассказа – положение литературы в пореформенном русском обществе – неоднократно затрагивалась Салтыковым (см., например, «Напрасные опасения» – 1868, «Насущные потребности литературы» – 1869, в т. 9 наст. изд.).

В «Похоронах» Салтыков возвращается к мысли о том, что реформы, по существу, не уничтожили условий, в силу которых развитие литературы «стесняет сама жизнь, пропитанная ингредиентами крепостного права». Не ослабился цензурный гнет, вынуждающий демократическую прессу прибегать к «сложному маскарадному обряду», к «нескончаемому езопству» и лишаящий писателя нормального общения с читающей публикой.

Наиболее трагическим представляется Салтыкову резкое понижение идейного уровня печати, затронувшее не только либеральную прессу, дошедшую до полного «литературного распутства» и продажи своих прежних идеалов за «полтинник», но даже тех литераторов, которые некогда были верны высоким освободительным идеалам и «не допускали ни компромиссов, ни эклектизма». Вместе с тем он считает, что если либеральные оппортунисты типа Менандра Прелестнова сами повинны в своем идейном падении, то демократическая журналистика в состоянии высоко держать свое знамя, но вынуждена идти на компромиссы с наступающей реакцией под натиском цензурно-административных репрессий.

В образе литератора «средней руки» Пимена Коршунова представлена судьба бедного и честного литературного труженика, который и жил и умер «словно украдкой». Смерть и забвение – итог его многолетнего литературного подвижничества.

Трагический колорит повествования в значительной мере объясняется условиями, в которых пришлось работать в 70-х годах самому Салтыкову. На глазах умирал Некрасов, преследуемый всеми видами цензурных неистовств. Письма Салтыкова этого времени, переполненные жалобами на свое крайне тяжелое положение в литературе, прямо перекликаются со многими мотивами «Похорон». «Бывали времена хуже, подлее – не бывало», – пишет он А. Н. Жемчужникову 8 октября 1876 г., имея в виду положение литературы, а 20 января 1877 г. повторяет ту же мысль в письме к А. Н. Энгельгардту: «Находясь между цензурным бешенством, с одной стороны, и бесталанностью – с другой, мы должны испытывать самые мучительные ощущения». Несколько позднее, в автобиографических главах «Круглого года» и в отрывках «Когда страна или общество...», «Говоря по правде, положение русского литератора...», развивающих ту же тему, наконец, в очерке «Имярек» и в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» Салтыков возвращается к своим размышлениям о положении и задачах современной ему литературы, о судьбе передового русского писателя.

Критика, единодушно отметив силу сатирического изображения в рассказе «Похороны» «незавидного положения русской литературы и ее труженика – писателя»,

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вынужденного прибегать к «кутанью мысли» до такой степени, что она становится непонятной и читателю, [56] не проявила, однако, достаточного понимания идейной глубины произведения.

В. П. Буренин назвал его «юмористической иллюстрацией банального сюжета об исключительном положении русской литературы», [57] рецензент газеты «Новости» В. П. Чуйко утверждал: «...конечно, с г. Щедриным нельзя не согласиться: благодаря «возрождению», «гаду» много развелось, в особенности в таких изданиях, как, например, газета «Чего изволите?» или «И шило бреет», но выводить из этих примеров общий тип литературного положения – воля ваша, слишком смело». [58]

Сам Салтыков, по воспоминаниям Н. К. Михайловского, очень ценил «Похороны» и значительно позднее отозвался о них как об одном из лучших своих произведений. [59]

Стр. 400. Скучно жить на свете, господа! – неточно переданная заключительная фраза из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

Литературный фонд – Общество вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым, основано в Петербурге в 1869 г. Салтыков был деятельным членом Литературного фонда, с 1871 г. – членом комитета, в 1877 г. – товарищем председателя.

Стр. 401. На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство... – Петербургский цензурный комитет помещался в доме № 3 по Театральной улице Спасской части (ныне улица Зодчего Росси).

...отслужили литию... – молитву об умершем при выносе из дома.

Предварительная цензура – по цензурному уставу 1865 г., должна была рассматривать издаваемые сочинения в рукописи, в отличие от цензуры карательной, налагавшей административные взыскания на издания, освобожденные от предварительной цензуры.

Митрофаниевское кладбище – петербургское кладбище, расположенное в конце Большой Митрофаньевской дороги, ведущей от Обводного канала.

...напоющая оцтом и желчью... – Оцт (оцет, церковнослав.) – уксус. По евангельской легенде, уксус, смешанный с желчью, дали пить Христу перед распятием (Матф., XXVII, 34).

Стр. 402...положить душу за други своя... – евангельское изречение (Иоанн, XV, 13).

Стр. 405. Домовина – гроб.

Стр. 407...область ангельская резко отличалась от области аггельской. – По церковной терминологии, аггел – дух зла, противоположный духу добра и света – ангелу.

Стр. 408...был беден, как Ир. – Ир – персонаж «Одиссеи» Гомера, его имя – обозначение крайней нищеты.

Конечно, никто не считал, его «разбойником пера»... – Намек на кличку «разбойники печати и мошенники пера», данную газетой «Московские ведомости» либеральным газетчикам. Это наименование Салтыков полемически переадресовывал представителям реакционной прессы (см. «Письма к тетеньке», «Круглый год»).

Когда Мусин-Пушкин был назначен попечителем учебного округа, то многие цензора содрогались... – Граф М. К. Мусин-Пушкин, известный своим вспыльчивым и взбалмошным характером, состоял попечителем С.-Петербургского учебного округа с 1845 по 1856 г. В 1852 г. он запретил публикацию статей в похвалу Гоголю по случаю его смерти. За неподчинение этому запрету был отдан под арест, а затем сослан на жительство в орловское имение И. С. Тургенев.

Стр. 409. «Верую во единого» – начальные слова православной молитвы («символа веры»).

Подчасок – караульный, назначавшийся на смену часовому в случае необходимости.

Будочник – низший полицейский чин, часовой, наблюдавший за порядком на улицах.

Квартальный надзиратель – полицейский чин, подчиненный частному приставу.

Стр. 410...лес проснулся... – цитата из стихотворения фета «я пришел к тебе с приветом...».

...Г. Валентин Корш... – Журналист В. Ф. Корш, типичный представитель либерального оппортунизма, неоднократно высмеивался Салтыковым под именем Менандра Прелестнова (см. «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа ташкентцы», «За рубежом», «Благонамеренные речи», «Помпадуры и помпадурши»).

Стр. 412. Могиканы – здесь: последние представители отживающего течения. Название заимствовано из романа Фенимора Купера «Последний из могикан».

Стр. 417...уже мелькает чуть не фаланстер (были же военные поселения!)... – О фаланстере (форме социалистического общежития в утопическом проекте Фурье) Салтыков писал Е. И. Утину 2 января 1881 г.: «Фурье был великим мыслителем, но от теории его остались только неумирающие общие положения, а прикладная часть оказалась более или менее несостоятельной». В этой «прикладной части», в организации фаланстера, Салтыкову виделись элементы «казарменности», которые позволили ему сатирически сблизить идею фаланстера с реакционной практикой военных поселений. См. также т. 8 наст. изд., стр. 524.

Стр. 419. Поверь, что лавры оппортуниста Гамбетты не дают Менандру спать! – Салтыков крайне резко отзывался о политике Гамбетты, французского либерально-буржуазного деятеля, проповедовавшего идею «нерасторжимого союза работников с владеющим», то есть эксплуататоров с эксплуатируемым. Сопоставление Менандра с Гамбеттой подчеркивает отрицательное отношение писателя к «оппортунизму» либеральной журналистики.

Стр. 421...в самые горькие дни пленения вавилонского. – Имеется в виду библейское предание о пленении иудеев в Вавилоне.

Стр. 423. В Аспазии она к нашему Периклу готовится. – Аспазия – афинская гетера, возлюбленная Перикла (V в. до н. э.), крупнейшего государственного деятеля Древней Греции, покровителя наук и искусств.

«Таинства мадридского двора» – лубочный роман из придворной жизни Г. Борна.

Стр. 424. Покровительственная система – направление внешней торговой политики в интересах поощрения отечественной промышленности, при котором дешевые импортируемые товары облагаются таможенной пошлиной в таком размере, чтобы при ввозе в страну они не могли продаваться дешевле товара отечественного производства.

СТАРЧЕСКОЕ ГОРЕ

Впервые – ОЗ, 1879, № 5 (вып. в свет 29 мая), стр. 213–256.

Рукописный материал представлен черновой рукописью ранней редакции глав 1 и 2 (начало, от слов: «Про Каширина все говорили» до слов: «...служил самым прочным основанием заведенных им связей») с первоначальным (зачеркнутым) заглавием «Старческий грех». [60]

Черновая рукопись представляет собой более сжатую редакцию, но имеет и некоторые варианты, не вошедшие при переработке в окончательный текст рассказа. Приводим наиболее существенные из них:

Стр. 431. Абзац «в университете...»: Вместо: «ведомство Предвкушения свобод»:

ведомство государственных имуществ.

Вместо: «ведомство Плаваний и Внезапных открытий»:

морское ведомство.

Вместо: «ведомство Дивидендов и раздач»:

цензурное ведомство.

Стр. 438. Вместо: «Выше было сказано, что Каширин был либерал»:

Я сказал выше, что Каширин, как ученик и друг Грановского, был либерал.

Отличия текста рассказа изд. 1881 от текста «Отечественных записок» за одним исключением незначительны. Это исключение следующее:

Стр. 431. Абзац «Воспитание Филип Филипыч...». Вместо: «подаренный Гарибальди одному из его друзей, а от последнего перешедший к нему» – в «Отечественных записках» было:

подаренный ему Гарибальди.

Как видно из приведенных вариантов, рукопись раскрывает некоторые зашифрованные в окончательном тексте места (указываются, например, настоящие названия либеральных министерств 40-х и 50-х годов, в которых Каширин начал свою карьеру), более резко подчеркивает контраст между либеральным прошлым Каширина (был не только учеником, но и другом Грановского, получил в подарок платок от самого Гарибальди) и его дальнейшей идейной деградацией (по первоначальной редакции – кончил службой в цензурном ведомстве, в окончательной редакции цензурное ведомство заменено ведомством «Дивидендов и раздач», то есть Министерством финансов, которое в конце 60-х годов стало оплотом бюрократического либерализма).

Вследствие замен идейная эволюция Каширина, центрального персонажа рассказа, выступает в окончательном тексте менее резко. В молодости, слушая лекции Грановского и находясь в некоторой близости к литературному кружку Белинского, он приобрел вкус к изящному и утвердился в намерении идти по стезе честности и благородства. На переходе от реформаторского к реакционному курсу даже такой либерализм, к тому же с годами поыветрившийся, стал казаться подозрительным. Отстраненный от службы, Каширин погружается в «мир обманутых надежд и упований», оказывается «в полном и безнадежном отчуждении», превращается в прихлебателя и, наконец, доживает свои дни в провинции всеми забытый.

Таким образом, Салтыков приемами детального психологического анализа показал жалкую судьбу представителей либерального молчалинства, пытающихся устроиться между двух противоположных лагерей.

Рассказ был встречен сочувственно, хотя и не вызвал многочисленных отзывов прессы. Рецензент «Саратовского справочного листка», например, отмечал, что «Старческое горе» написано «в характере цельного, законченного рассказа и обладает, помимо вообще присущих автору достоинств, еще несомненную художественную форму сатиры». [61]

Стр. 431. Кипсеки – роскошно изданные книги, альбомы изящных рисунков с текстом или без него.

...для «Отечественных записок» времен Белинского... – В. Г. Белинский сотрудничал в «Отечественных записках» с 1839 по 1846 г.

Стр. 433. Фалалей – самодовольный невежда.

Стр. 434. Формализироваться (от франц. *formaliser*) – обижаться.

Кююлирующую (от франц. *cuire*) – совмещающую, объединяющую.

Стр. 439. И вдруг времена созрели. – Речь идет о моральном кризисе героя, осознавшего невозможность жить по-старому.

...присутствование в комиссиях «не терпит суеты». – Использована строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» – «Служенье муз не терпит суеты».

Дивиденды – часть общей прибыли какого-либо коммерческого предприятия, получаемая пайщиками в зависимости от вложенного капитала.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 441. Колтовские – Малая, Большая и Средняя Колтовские улицы на Петербургской стороне близ Малой Невки (ныне Пионерская и Средняя Колтовская), населенные в то время преимущественно мелким чиновничеством. См. стр. 641.

Амфитрион – гостеприимный, хлебосольный хозяин.

Стр. 446. Тайный советник – чин 3-го класса, один из высших гражданских чинов в царской России, классом выше чина действительного статского советника.

Стр. 447. Доход неокладной – то есть не облагаемый налогами.

Стр. 448...о мерах, предлагаемых в... «записке» земского деятеля Пафнутьева... – Пафнутьев – собирательный образ представителя дворянской оппозиции, выведенный в очерке «Завещание моим детям» (1866, см. т. 7 наст. изд., стр. 7), а позднее в «Письмах к тетеньке».

Стр. 451. Пощечиться – поживиться.

Клапшотсы, карамболь – термины бильярдной игры.

Стр. 456...тирадами из барковских трагедий. – Ироническая характеристика творчества И. С. Баркова, прославившегося порнографическими стихами.

Стр. 464. Шмандткухен (от нем. Smandtkuchen) – сливочное пирожное.

Медок – красное вино, бордо.

ДВОРЯНСКАЯ ХАНДРА

Впервые – ОЗ, 1878, № 1 (вып. в свет 25 января), стр. 285–308.

Рукописи не сохранились.

История создания очерка неизвестна. Упоминание в тексте обстоятельств похорон Н. А. Некрасова (см. стр. 476–477) позволяет отнести время создания очерка к январю 1878 г. [62]

Текст журнальной публикации содержит цензурную купюру, от слов: «Ничего не знать, ничего не мочь...» до слов: «...выдвигается... гроб» (стр. 480–485). В официальных бумагах цензурного ведомства этот инцидент не отражен. Салтыков рассказывал о нем А. А. Краевскому в письме от 20 января 1878 г.: «Я было заходил сегодня к Григорьеву <...> но не застал его и от безделья зашел в Цензурный комитет. Слыша великое гудение в комнате присутствия, я вызвал Ратынского, который выбежал в больших попыхах, сказал только: дураки читают вашу статью, – и убежал. Должно быть, там что-нибудь нездорово».

Позднее, 28 марта 1877 г., Салтыков сообщал А. М. Жемчужникову, что цензура «из статьи, помещенной в январской книжке, выдрала 9 страниц, то есть всю внутренность».

В журнальном тексте цензурный пропуск обозначен тремя строками точек. Рецензент газеты «Обзор» писал об этом: «Пересматривая нумерацию страниц, мы заметили, что в статье г. Щедрина не хватает, по крайней мере, страниц пять, замененных летучими цифрами». [63]

Купюра устранена в изд. 1881, что подтверждается сравнением текста с копией изъятых страниц в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». [64]

Не пропущенная цензурой «внутренность» рассказа – это глава, в которой автор обобщил свои наблюдения над эволюцией общественных настроений либерально-дворянской интеллигенции «за последние двадцать лет».

Салтыков рассматривает эти два десятилетия как путь от «всеобщих сований» в годы демократического подъема 50-х годов и «восторгов» по поводу «обновления» в период реформ до возвращения к крепостнической «практике заплечной философии», пресекающей насильем всякую попытку протеста против господствующего режима.

Возрождению принципов «заплечной философии» способствовал своим либеральным оппортунизмом («повадливостью»), а подчас и прямым политическим предательством

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«современный дворянский человек», который, осознав всю неприглядность прежних основ жизни, только внешне отказался от крепостнического мирозерцания, на деле же продолжает держаться за него.

Среди либералов разных оттенков, выведенных Салтыковым в ряде произведений 70-х годов, герой «Дворянской хандры» ближе всего к типу Провинциала из «Дневника провинциала в Петербурге» (1872) и рассказчику из «Убежища Монрепо» (см. например, главу «Монрепо-усыпальница» в т. 13). Это «стадный человек» из дворянско-либеральной среды, воспитанный на идеалах 40-х годов и застигнутый врасплох наступлением реакции. Разочарованный беспочвенностью и бесплодностью своих прежних «сований», не считая возможным содействовать властям в их реакционной политике, он находит выход в полном удалении от общественной жизни и отправляется доживать дни в свое оскудевшее родовое поместье, как в «гроб», где только и можно найти «настоящее, заправское забвение».

Исторически обреченным обитателям «дворянских гнезд» противопоставлена картина крестьянского поселка, заключающего в себе «разгадку всех жизненных задач», «ключ к разумению не только прошедшего, но и настоящего и будущего».

Социально-экономическую основу непреодолимого противоречия между фрондирующим на покое дворянином и «адскими мучениями» трудового крестьянина автор видит в том, что реформы не отменили принципиальной противоположности в материально-правовом положении помещиков и крестьян. Салтыков употребляет здесь термин «досужество» как символ привилегий дворянства, основанных на эксплуатации чужого труда (ср. этот термин в рецензии на «Новые стихотворения А. Н. Майкова» – 1864, и аналогичное понятие «досуг» в статье «Напрасные опасения» – 1868). Отсюда и расхождение коренных жизненных интересов – вопроса «о недостатке так называемых «свобод», волнующего привилегированное сословие, и вопроса «о недостатке еды», составляющего «один, самый высший интерес» эксплуатируемой крестьянской массы.

Одна из тематических линий рассказа связана с раздумьями Салтыкова над судьбами освободительного движения. Он видел, что темная и задавленная нуждой крестьянская масса еще не стала общественной силой, способной к восприятию революционных идей. Об этом свидетельствует эпизод экзекуции, произведенной «честным миром» над деревенским агитатором «из фабричных».

«Дворянская хандра» создавалась в то время, когда слушался громкий политический процесс «193-х» (октябрь 1877 – январь 1878), один из тех процессов, о которых Салтыков писал П. В. Анненкову 1 ноября 1876 г.: «Политические процессы следуют один за другим <...> и кончаются сплошь каторгою.. Подумайте только, как мало нужны нам люди и как легко выбрасываются за борт молодые силы – и Вы найдете, что тут скрывается некоторый своеобразный трагизм».

Цензурные условия не позволили писателю печатно высказать свое отношение к жертвам политических судилищ. Намек на их трагические судьбы звучит лишь в упоминании о внуках Ивана Михайлыча, с которыми «случилось что-то загадочное». Однако противопоставление разочарованным либералам в лице рассказчика и старца Ивана Михайлыча образа Юленьки, полной веры в светлое будущее, прозвучало смелой демонстрацией политических симпатий автора.

Критика единодушно высоко оценила трагическую силу второй части очерка, отмечая это как новую сторону творчества писателя, в которой, по словам рецензента «Русской газеты», он «является настоящим мастером, отыскивая в человеке такие драматические и даже трагические элементы, которые немногие даже величайшие художники сумели усмотреть». [65]

Стр. 470...поползновения по части так называемого слияния... – Иронически используется один из лозунгов либерального дворянства периода крестьянской реформы о «слиянии сословий». Тема «слияний» развита Салтыковым в «Глуповском распутстве» (1862), апрельской хронике «Нашей общественной жизни» (1863) (см. тт. 4 и 6 наст. изд.).

Стр. 471. Выкупные свидетельства – см. прим. к стр. 375.

Купель силоамская – по Евангелию, купальня Силоам в окрестностях Иерусалима; умывшись в ней, по слову Христа, слепорожденный прозреет (Иоанн, IX, 7). В переносном смысле – средство исцеления.

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 475...Он кануны соблюдает – предписываемое христианской религией воздержание от мирских удовольствий накануне религиозных праздников.

Стр. 476. Не очень давно тому назад умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». – Имеются в виду, вероятно, обстоятельства похорон Н. А. Некрасова (похоронен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря).

...служащий в департаменте Возмездий и Воздаяний... – См. прим. к стр. 107.

Стр. 477...суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений... – Салтыков имеет в виду изображение ужасов «адских мучений» на иконах суздальской школы живописи, использовавшей народные традиции письма.

Стр. 478. Мертвые срама не имут – выражение, приписываемое князю Святославу Игоревичу перед битвой с византийским императором Иоанном I Цимисхием при Доростоле в 971 г.

Стр. 479. Предилекция – привычка, склонность.

Стр. 481...целая философская система... – Имеется в виду философия Гегеля.

Стр. 483. Не вдруг!.. – формула, характерная для дворянского либерализма. «Вдруг» – одно из эзоповских иносказаний Салтыкова, для обозначения революционного, не реформистского характера радикальных преобразований общественных порядков.

Я пламенел не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея)... – Речь идет о подъеме либерального движения накануне реформ 60-х годов.

Стр. 486. Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе – см. т. 8 наст. изд., стр. 493.

Стр. 489. осложнения (от франц. complications) – осложнения.

Стр. 495. Закхеева смоковница – в переносном смысле – средство спасения. По евангельскому преданию, Закхей, будучи мал ростом, влез на смоковницу, чтобы увидеть Христа (Лука, XIX, 4).

...нас возвышающих обманов – реминисценция из стихотворения Пушкина «Герой».

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Впервые – ОЗ, 1879, № 1, стр. 229–236 (вып. в свет 20 января).

Рукописи и корректуры не сохранились.

Мы не располагаем точными документальными сведениями о времени и истории создания «Больного места». По-видимому, рассказ написан в конце 1878 – начале 1879 г., но замысел его мог возникнуть значительно раньше.

Заглавие и проблематика «Больного места» сформулированы в заключительных строках шестой главы «Господ Молчалиных» (см. наст. том, стр. 291–292).

Главный герой рассказа Разумов представляет собою разновидность молчалинского типа. Это неглупый, добросовестный чиновник, вместе с тем бессознательно проживший жизнь, подобно герою «Господ Молчалиных», с обагрёнными кровью руками. «Он смешивал две различные вещи: свое личное отношение к «делу» и то, что составляло содержание этого «дела», именно – политические преследования, оканчивавшиеся многочисленными тяжёлыми жертвами. [66]

Вынужденный неожиданно уйти в отставку по капризу начальства и впервые оказавшийся перед необходимостью разобраться в причинах своего «несчастья», Разумов постепенно приходит к сомнению в справедливости «дела», которому он служил «по сущей совести» в продолжение тридцати пяти лет.

Мучения пробудившегося сознания сопровождается разлад с горячо любимым сыном, увлекшимся теми самыми «заблуждениями», против которых была направлена

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
карательная деятельность отца. Непримиимый конфликт между беспредельной взаимной любовью отца и сына и их противоположными идейными устремлениями разрешается катастрофой: устыдившись профессии отца, всей его преступной деятельности, сын кончает жизнь самоубийством. «Просияние», пришедшее к Разумову «через сына», – это символ заслуженного возмездия, не освобождающего, а усиливающего мучительное сознание лжи и преступности прошедшей жизни.

Семейная драма раскрывается в рассказе как отражение драмы общественной. Сознание того, что он был лишь слепым орудием в руках Отчаянных или Зильбергрошей, что «все так жили», «все» шли этой дорогой, приводит Разумова к выводу: «Атмосферу надо изменить, всю атмосферу – вот тогда, может быть...» Таким образом, нравственный конфликт Салтыков связывает с мыслью о необходимости коренных преобразований в самых основах современного общества.

«Больное место». – это первое произведение Салтыкова, «изображающее трагедию человека, пришедшего через личные потрясения к сознанию, что вся его жизнь, казавшаяся прежде праведной, была, в сущности, преступлением против человечности». [67] В дальнейшем эта тема будет продолжена и углублена в заключительной главе «Господ Головлевых» и рассказе «Счастливец» из «Мелочей жизни».

«Больное место» выделяется среди произведений Салтыкова тонкостью и глубиной психологического анализа, сближающего его с психологической прозой Л. Н. Толстого. По проблематике и характеру изложения рассказ можно рассматривать как один из литературных источников повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». [68]

Эту новую сторону таланта Салтыкова отметила уже прижизненная критика, К. К. Арсеньев называл «Больное место» одним из кульминационных пунктов творчества Салтыкова, считая его «законченным и образцовым» произведением, где «психологический анализ согрет глубоким чувством и освещен глубокою идеей», и утверждал, что наряду с «Господами Головлевыми» этот рассказ ставит Салтыкова «в ряд наших первых беллетристов». [69]

С. А. Венгеров подчеркивал, что «Больное место» – «не сатирический, но чисто психологический этюд», «истинная, глубоко потрясающая драма». [70] Многие рецензенты отметили обобщающее значение проблематики рассказа. «Больное место» представляет собою один из вариантов того рокового, трагического явления, которое в продолжение двадцати лет не перестает являться одним из существенных признаков нашего времени – именно разлада отцов и детей», [71] – писал А. И. Скабичевский. В. П. Чуйко заканчивал свой отзыв утверждением, что «эскиз г. Щедрина – так сказать, патология современного общества и русского современного человека». [72]

Стр. 517. Повинны беша работе – обязаны были работать (старослав.).

Стр. 518. Белые нигилисты – по Салтыкову, охранители самодержавия.

ЧУЖУЮ БЕДУ – РУКАМИ РАЗВЕДУ

Впервые – отдельной брошюрой: Н. Щедрин, Чужую беду – руками разведу, Genève, Elpidine, 1880, 32 стр.

Сохранилась наборная рукопись, обрывающаяся словами: «...закурили папиросы и начали беседовать». Переписанная частично самим Салтыковым (лл. 7–8), частично его женой (лл. 1–6), рукопись содержит ряд дополнений, исправлений и вычерков. Однако эта правка касается большей частью стиля произведения и не вносит серьезных изменений в его содержание. Наиболее значительным является вычеркнутый Салтыковым фрагмент, следовавший после слов: «...постоянно как будто разнемогаешься» (стр. 555):

«Как бы то ни было, но и в самом хохоте, в деле оценки явлений, не подходящих к уровню общепринятого дурачества и бездельничества, мы можем различить три момента. Во-первых, хохот инстинктивный, во-вторых, хохот, мотивированный оплеванием, и, в-третьих, хохот, мотивированный раскровенением. Я знаю, что эти юридические тонкости очень унижительны; что практика заставляет не только различать среди этих тонкостей, но и сравнивать и предпочитать. Инстинкт самосохранения (в этих случаях он вполне заменяет здравый смысл) говорит прямо: да, как ни нелеп инстинктивный хохот, но суд, заключающийся в нем, есть суд снисходительный, мягкий; равным образом и хохот, мотивированный одним

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оплеванием, тоже представляет форму суда, хотя и не столь снисходительную, но все-таки сносную; тогда как...»

Рассказ написан в январе 1877 г. и набран для февральской книжки «Отечественных записок». Однако 15 февраля по требованию цензурных властей Салтыков вынужден был изъять его из номера. «Я собственно написал было рассказ, навеянный на меня «Новью», – сообщил он 2 марта 1877 г. П. В. Анненкову, – но должен был, по обстоятельствам, отложить его до более благоприятного времени. И так как этот переполох с моим рассказом вышел уже 15 февраля, то я вынужден был в два вечера написать другой рассказ...» Сначала писатель надеялся напечатать запрещенный рассказ в одном из очередных номеров журнала. «Когда будет потеплее, – писал он 15 марта 1877 г. тому же П. В. Анненкову, – поеду хлопотать и, разумеется, сделаю уступки, изменения и проч. Может быть, в мае и помещу». Хлопоты, подробности которых неизвестны, закончились, вероятно, безрезультатно: цензура требовала не частичных уступок и изменений, ее не устраивал общественный смысл произведения, его идейно-художественная концепция. К концу 1877 г. Салтыкову стало ясно, что опубликовать рассказ в его первоначальном виде не удастся, и он напечатал начальные страницы («Я – человек отживающий <...> должно умолкнуть резкое слово осуждения») в качестве первой главы рассказа «Дворянские мелодии», а в 1880 г. в «Отечественных записках» была помещена подцензурная редакция произведения под заглавием «Чужой толк» (см. стр. 682), отличающаяся от первоначальной смягчением наиболее опасных в цензурном отношении мест и некоторыми сокращениями. В полном виде очерк был напечатан отдельной брошюрой М. Эллидиным в Женеве в 1880 г., а десять лет спустя, в 1890 г., там же вышло его второе издание. небрежно изданные и содержащие большое количество ошибок и искажений, эти брошюры, однако, представляют собою единственный источник полного текста очерка.

В настоящем издании очерк «Чужую беду – руками разведу» печатается по тексту второго женеvского издания (1890) с исправлением искажений, опечаток и ошибок по сохранившейся рукописи, а также по фрагментам очерка, опубликованным в составе других произведений. Реальный комментарий к указанным фрагментам, данный в соответствующем месте, здесь не повторяется.

Стр. 555. Пускай умру – печали мало... – первая строка стихотворения Н. А. Добролюбова.

Стр. 559. «La fille de Dominique» – одноактный водевиль П. Левассера.

Стр. 579...единовластие, ничем не ограниченное – см. прим. к стр. 76.

КНИГА О ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ

Впервые – ЛН, кн. 13–14, М. 1934, стр. 30–35 (публикация И. И. Векслера).

Сохранилась черновая рукопись, являющаяся единственным источником текста.

«Книга о праздношатающихся» является первоначальной редакцией незавершенного цикла «Культурные люди». Имея в виду автограф этой редакции, Салтыков 7 (19) января 1876 г. писал Некрасову: «Потрудитесь также распорядиться, чтоб 1-ю книжку журнала мне выслали в день ее выхода, потому что черновая у меня осталась очень неполная, и, в случае продолжения «Культурных людей», мне будет необходимо иметь первые пять глав».

Готовя рукопись для публикации, кроме дополнений и введения в текст пропущенных на первоначальной стадии работы эпизодов, Салтыков провел большую стилистическую правку и сделал ряд сокращений. См. выше прим. к циклу «Культурные люди».

Примечания

1

«за» и «против».

2

Стихи эти принадлежат покойному поэту Ершову. Не могу, впрочем, сказать наверное, дословно ли правильно цитирую я эти стихи, но ежели и есть неточность, то она совершенно ничтожна. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

3

Здесь: субъект преступления.

4

о! о! как я люблю! как я люблю военных!

5

Между нами будь сказано.

6

не стеснять ни в чем свободы.

7

изящным слогом.

8

изящным слогом.

9

протезе (подопечному).

10

механическое пианино.

11

прихлебателя.

12

красавица мадам.

13

меню.

14

малиновый (от франц. amarante).

15

опустившихся людей.

16

для светских разговоров.

17

сударыни.

18

стрелку.

19

дорогая! он великолепен в самоотвержении.

20

дорогой мой!

21

образ жизни.

22

светской беседы.

23

«Дочь Доминика».

24

Да будет пухом тебе земля.

25

на первых ролях.

26

См. «Эксперсии в область умеренности и аккуратности», в разное время печатавшиеся в «Отеч. записках». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

27

мой милый.

28

чувства общности интересов.

29

позвольте мне выйти.

30

Залупск! что такое Залупск?

31

прошу вас.

32

пожалуйста.

33

См. С. Макашин, Материалы для библиографии переводов сочинений Щедрина на иностранные языки и критической литературы о нем за 1864–1933 гг. – «Литературное наследство», кн. 13–14, М. 1934, стр. 673–698. Переводы «Сборника» не зарегистрированы и в более поздних библиографических материалах.

34

См. комментарий С. А. Макашина к воспоминаниям П. Д. Боборыкина в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников, ГИХЛ, 1957, стр. 706.

35

См. Л. М. Добровольский и М. И. Малова. Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. Научное описание. – В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Пушкинского дома», вып. IX, М. – Л. 1961, стр. 44, № 148.

36

Там же, № 149.

37

См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 382.

38

См., например, «Биржевые ведомости», 1875, № 273 от 29 августа.

39

Проблематика и художественные особенности рассказа «Сон в летнюю ночь» подробно проанализированы в работах: Я. Эльсберг, Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, М. 1953, стр. 353–366; А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1959, стр. 134–155; А. Бушмин, Народ в изображении Салтыкова-Щедрина («Сон в летнюю ночь»). – В кн.: О русском реализме XIX в. и вопросах народности литературы. Сб. статей, М. – Л. 1960, стр. 274–311.

40

В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 333.

41

Цит. по кн: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 269.

42

– кий. Журнальное обозрение. – «Новороссийский телеграф», 1875, 200, 13 сентября; Петербургские письма. – «Иллюстрированная неделя», 1875, № 351, 7 сентября; Экс <А. П. Чебышев-Дмитриев>, Письма о текущей литературе. – «Новое время», 1875, № 241, 20 сентября; Русская литература. – «Сын отечества», 1875, № 209, 11 сентября.

43

«СПб. ведомости», 1875, № 229, 29 августа. Псевдоним раскрыт Л. М. Добровольским в кн.: Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине, М. – Л. 1961, стр. 51, № 398.

44

«Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина», вып. 6, М. 1940, стр. 71.

45

Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, М. – Л, 1934, стр. 307.

46

Там же, стр. 308.

47

А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, Изд-во АН СССР, М. 1959, стр. 206–210.

48

См. об этом в кн.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 25–36.

49

Материалы следствия подробно освещены в «Судебной хронике» за подписью XYZ в газете «Судебный вестник», сентябрь – ноябрь 1876 г.

50

«Новости», 1877, № 40, 11 февраля.

51

«Русский мир», 1877, № 41, 13–25 февраля («Литературное обозрение», подпись W).

52

И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. I, стр. 91.

53

«Кронштадтский вестник», 1877, № 58, 4 (16) мая.

54

См.: Л. М. Добровольский и М. И. Малова, Рукописи литературных произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», вып. IX, л. 1960, стр. 51, № 177.

55

Там же, № 178.

56

Русская литература. – «Сын отечества», 1878, № 255, 29 сентября.

57

В. П. Буренин, Литературные очерки. – «Новое время», 1878, № 929.

58

В. Ч. <В. П. Чуйко>, Литературная хроника. – «Новости», 1878, № 255.

59

Н. К. Михайловский. Памяти Щедрина. – В кн.: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 320.

60

«Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома», стр. 52, № 179.

61

Библиографические заметки. – «Саратовский справочный листок», 1879, № 134, 28 июня.

62

См. комментарий И. Векслера в изд. 1933–1941, стр. 583.

63

«Обзор», Тифлис, 1878, № 41, 12 февраля.

64

Сборник. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Дворянская хандра». Рассказ М. Е. Салтыкова. Не пропущенный цензурой отрывок в
кн. I «Отечественных записок» 1878 г. – Знакомые. Альбом М. И. Семевского,
редактора-издателя журнала «Русская старина» 1867–1887, том I, стр. 306 (Ирли).

65

Журнальные заметки. – «Русская газета», 1878, № 23, 2 февраля.

66

См.: Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 313–315.

67

А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1959, стр. 132.

68

Е. Покусаев, Психологический анализ в рассказе Салтыкова-Щедрина «Больное место». – «Вопросы изучения литературы XIX–XX веков», М. – Л. 1958.

69

К. Арсеньев, Русская общественная жизнь в сатире Щедрина. – ВЕ, 1883, № 3, стр. 340.

70

С. Веди <С. А. Венгеров>, Литературные очерки, – «Русский мир», СПб. 1879, № 24, 26 января.

71

Заурядный-читатель <А. И. Скабичевский>. – Мысли по поводу текущей литературы. – «Биржевые ведомости», 1879, № 25, 26 января.

72 в. ч. <В. П. Чуйко>, Литературная хроника. – «Новости», 1879, № 85, 6 апреля.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!